1978





Молодая гвардия



Н. Л. Бабасюк ПЕРВЫЙ ДЕНЬ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический журнал ЦК ВЛКСМ



11
1978

Основан в 1922 году

В НОМЕРЕ:

Первая страница обложки: гравюра В. Лукашова.

Наш адрес:

125015, Москва, А-15, Новодмитровская ул., д. 5. Телефоны редакции: приемная — 285-88-58; отдел прозы — 285-80-55; отдел поэзии — 285-88-40; отдел очерка и публицистики — 285-80-26; отдел критики — 285-88-59; отдел «Товарищ» — 285-89-66; секретариат — 285-80-16.



НАВСТРЕЧУ VII ВСЕСОЮЗНОМУ СОВЕЩАНИЮ МОЛОДЫХ ПИСАТЕЛЕЙ

Василий КОЗЛОВ

ДОВЕРИЕ

ПОЛУПАЛЬТО ИЗ БРАТОВОЙ ШИНЕЛИ

Мне холодно в пальто
демисезонном,
Жалея, что другого не купил,
На улице, снегами занесенной,
Я вспомнил, что когда-то я носил
Полупальто из братовой шинели.
Какие б ни стояли холода,
Какие бы метели ни гудели,
Но в нем не замерзал я никогда.

И все ж терзался я заботой
жалкой:
Хотел иметь я модное пальто,
Чтоб черный цвет, чтоб воротник
был «шалкой»,
Какие нынче редко носит кто.

...В кладовке, где на свет,
проникший в щели,
Пылинки по лучу летят, скользя,
Полупальто из братовой шинели
Снимаю с заржавелого гвоздя.

Оглаживаю полы осторожно
В порыве нежности и даже торжества...
Жаль, застегнуться стало невозможно.
Жаль, коротки мне стали рукава.

* * *

Я в бригаде строительной был
Вроде мальчика на побегушках:
Для рабочих я воду носил
И железную печку топил
В типовой, на колесах, теплушке.

Я колол вдохновенно дрова,
Мерз и мерзлые чурки ворочал.
Ветер зябко вползал в рукава
Телогрейки рабочей.

Помню: в темном проеме окна
И сочувственно, и несмело
Улыбнулась мне как-то одна
Ученица малярного дела.

В грубом ватнике, в шапке мужской,
С челкой, сбившейся к правому глазу...
(Ах, как жаль, что мы в парк городской
Не сходили на танцы ни разу!)

...Дома я засыпал на полу,
Телогрейка — вместо подушки.
И не слышал, как звали к столу,
Согреваясь во сне, как в теплушке.

И мне снился восторженный бал,
И хлопушки рвались, как снаряды.
И я вальс до утра танцевал
С ученицей малярной бригады...

* * *

На каком языке говорят меж собою деревья?
На каком языке говорят они с небом, с ручьем?

Я в лесу поселился, пытаюсь войти к ним в доверье,
Я пытаюсь понять: по ночам они шепчут о чем?

Мне, прошедшему курс средней школы в сибирском поселке,
Оказалось непросто — хоть с виду задача легка —
Отличить голосок вдохновенной работницы пчелки
От пустого жужжания крыльев лесного жука.

И возможно ль открыть в эти шорохи дверь, в эти звоны,
В эти улицы темные просек, тропинок, дорог?..
Останавливаюсь, неуверенный и пристыженный,
Словно в школу иду на невыученный урок.

ПЕСНИ ВОЕННЫХ ЛЕТ

Бьется в тесной печурке огонь...

А. Сурков

Если ваши погаснут костры,
Если ваши палатки промокнут, —
Пойте песни военной поры,
И, я верю, они вам помогут.

Нам суровая память дана,
Мы, победы беспечные дети,
Помним песни хорошие эти,
Знаем, как их рождала война.

Из промерзших окопов они,
Как бойцы, поднимались в атаку...
Нестареющим песням войны
Я б медали давал «За отвагу».

* * *

Поля, размытые дождем...
И мы по слякоти идем
Нестройно,

Медленно,
Не в ногу;
За часом час,
За шагом шаг —
Несем дорогу на плечах,
Несем уставшую дорогу.
Нас ждут привалы.
А пока —
Грязь,
Глина,
Тяжесть сапога
И крутость слов —
Не по уставу.
И цели нет у нас иной:
Дорогу чувствовать спиной
И вынести на переправу...





Андрей БЛИНОВ

УДАР МОЛНИИ

Роман

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Лобанов остался ночевать в мастерской, чтобы с утра пораньше снова взяться за работу и закончить натюрморт.

Он не любил писать натюрморты, но этот начал легко и увлекся. Сюжет вроде незамысловатый. Чистота и хрупкость весенних голубеньких незабудок, недолговечность, которая в них угадывалась, вызывали в нем тихую грусть, приходившую к нему всегда, когда он внезапно вдруг ощущал зыбкость всего живого. Брошенные на сосновую некрашеную столешницу с янтарно-желтыми прожилками цветы медленно умирали.

Цветы он купил на рынке по пути в мастерскую, занимавшую мансарду старого трехэтажного дома из красного, потемневшего кирпича. Дом стоял в узком переулке, в стороне от многолюдного Тополиного бульвара. Цветы, измученные дальней дорогой, подвянувшие, вызывали у Лобанова сострадание. Чувствуя сладковато-сырой травянистый запах, он не отрывал от них пристального взгляда. И когда он почувствовал на полотне нечто схожее с первым ответным чувством, ему захотелось поделиться с Линой. Это же здорово — холст заговорил!

Дочь Анна, разбуженная звонком, сонным голосом сообщила, что мамы еще нет дома и что она не звонила.

«Нет дома и не звонила...» Но в этом для Лобанова не было ничего необычного. Лина могла задержаться в театре или уехать к родителям. Почему же не позвонила?

Он вернулся к мольберту. Грустно синели с полотна ранние, нездешние цветы. Взглянул на стол: грудка жалкой жухлой травы лежала на нем...

К черту натюрморты... К черту мертвую природу... Натюрморты — блажь Лины. Это она выдумала, что к ним у него талант. «Дружок, Сереженька, — говорила она. — Серьезную картину ты пишешь два-три года, а то и больше. А купят ее или нет, кто скажет наперед? А натюрморт — это сам знаешь что». Да, он знал. Просто-напросто заработок, честный заработок. Жена торопила с натюрмортом, хотя знала, что картина «Десант на Мысхако» стоила ему трех лет работы и взяла много

сил. И договор давно просрочен. Черт с ним, с договором, но что скажешь жене?

«Ах, Лина, Лина! Как же я опростоволосился... Доверился короткой красоте цветов. Жаль, что не могу ничего выдумывать», — подумал он, виноватясь и забывая недавнее раздражение против нее.

Лобанов любил жену. Это была мучительная любовь. После пятнадцати лет совместной жизни он не мог спокойно слышать ее контральто, не мог сказать «нет» там, где это надлежало.

Впервые он встретил Лину в сорок девятом, в мастерской художника Константина Дорогова. Это был «крестный отец» Лобанова, с которым свела его на легендарной Малой земле трудная моряцкая судьба. Знакомство с Дороговым помогло Лобанову поступить в художественный институт в класс профессора Полторанова. Лина, его племянница, училась в театральном и имела склонность к живописи, часто бывала в мастерской Дорогова, давнего друга ее дядюшки. Рослая гибкая девушка в черном свитере, кольчугой обжимающем ее невысокую грудь, она была красива. На бледновато-смуглом продолговатом лице неспокойно горели крупные цыганские глаза. Смоляные волосы были густы и даже на вид тяжелы и жестки. Она двигалась по мастерской между картин, мольбертов и мебелью грациозно и бесшумно, будто в сказке. От ее короткого имени — Лина — веяло чем-то далеким и чуждым, казалось, оно больше шло белокурой девчонке с голубыми глазами, чем ей. С первой встречи она стала относиться к Лобанову легко, просто и чуть покровительственно.

«Матрос, а матрос, — говорила она низким голосом, — ты напишешь с меня портрет? Ах, дядюшка! Он ведь неисправимый пейзажист. А Костя боится. — Она усмешливо взглядывала на скромно молчавшего Дорогова. — Костя вообще боится меня. А ты?» Лобанову нехорошо было от этого голоса и этих слов. «И ты трусишь?» — подначивала девушка. «Не трушу, — бросил он. — Просто считаю вашу красоту излишней. Неинтересно». — «Излишней? Ох, уморил. Сереженька! Неинтересно?»

Лина взглянула на того и другого с нескрываемым сожалением, будто извиняла за то, что ему никогда не понять ее. Ей было в то время двадцать лет...

Вспомнив все это, Лобанов отложил палитру и стал слоняться по мастерской, вытаскивать и расставлять по

стенам то, что когда-то было начато, да так и заброшено. Такими работами были забиты все углы его мастерской, длинного узкого помещения с низким, как бы ломаным, как у всякой мансарды, потолком. Мастерская была, конечно, не ахти, но о чем лучшем можно было мечтать в те скупые на комфорт послевоенные годы ему, тогда совсем молодому художнику? Да и получил он ее благодаря стараниям Дорогова. Дорогов и привел его сюда дождливым осенним вечером, когда на Тополином бульваре падали мокрые листья, липли к плечам, к рукам. Электричества на мансарде не было, они постояли в мастерской, будто в блиндаже на Малой земле, где когда-то встретились. «Ничего, — сказал Дорогов, по привычке протирая очки даже в потемках, — вот разбогатеет город, отвалит новую мастерскую». Прошли годы. Рано, очень рано умер Дорогов. Новую мастерскую Лобанов так и не получил. Признаться, иные его товарищи не имели и этого, а у него ведь есть еще дача, пусть маленькая загородная хижина, где он работал летом. Да он и не представлял себе, как бы мог он расстаться с бульваром, с его тополями и рынком, с его старыми домами в узких горбатых переулках, с магазинами, подновленными толстым шлифованным стеклом в безрамных окнах, и стекляшкой-чебуречной, куда он иной раз забегал перекусить. Вот он, этюд, который он когда-то писал в чебуречной. За стеклянной стеной — бульвар в куржаке. Узкие полоски снега на железных переплетах. Столик, исходящие паром золотистые чебуреки в тарелке.

Голубые цветы и золотистые чебуреки...

Он вдруг почувствовал в этом какое-то противоречие. А драматизм замысла, даже совсем маленький, всегда увлекал его.

Утром он начнет все заново.

Он уже работал, когда громкий стук в дверь прервал его занятие. Он схватил тряпку и, вытирая руки, пошел к двери. Досадуя, открыл и узнал силуэт жены, стоявшей на крутой лестнице. Еще чья-то тень.

— Сереженька, это просто чудо: ты здесь! Мы так устали, ноги гудят, хоть плачь...

Лина повернулась, запрокинула голову, и Лобанов в слабом свете увидел ее лицо, непривычно осунувшееся, похудевшее.

— Вадим! — крикнула она тому, кто был внизу. — Смелее, трап надежный.

Заскрипели деревянные ступени.

«Вадим? Кто же это?» — попытался вспомнить Лобанов.

— Сереженька, встреть, — сказала жена и прошла в мастерскую.

Неожиданный гость поднимался по длинной крутой лестнице. Лобанов вспомнил: одноклассник Лины, теперь военный врач, служит на Тихоокеанском флоте, белокурый и высокий старший лейтенант в очках. Сергей был знаком с ним по прежним его приездам. Моряк был не женат, хорошо воспитан, учтив, немножко увлекался живописью. Не нравилось в нем лишь то, что он терпеливо сносил покровительственное, будто к маленькому, отношение к нему Лины. Приветствуя хозяина, гость поклонился, щелкнув каблуками. От этого неожиданного стука обоим стало неловко, будто от неудачной выходки матроса-салаги, захотевшего показать свою не отшлифованную еще выучку. И чтобы сгладить неловкость, Лобанов взял его под руку, ощутив ладонью ворс шинельного сукна и острый локоть под ним, проникся к гостю нежным чувством, как к своему: моряк! Не придавая особого значения словам, сказал, успокаивая:

— Все хорошо...

Что он хотел сказать этими словами? То ли прощал за неожиданное вторжение, то ли снимал неловкость встречи, то ли не допускал, что между гостем и Линой что-то могло быть. Вадим вошел в темный тамбур, перед ним открылась дверь, и он шагнул в мастерскую. За ним вошел и Лобанов.

Распахнув лимонного цвета плащ, Лина стояла перед полотном, мокро блестевшим свежей краской.

— Недурно, Сереженька, недурно. Как ты это придумал? Ведь традиционно, признайся? А смотрится. Что я говорила? Натюрморт — это твое.

Она взглянула не на мужа, а на Барышева, как бы приглашая его сказать свое слово. Но гость лишь щурился и длинными бледными пальцами неторопливо доставал из кожаного футляра очки. Не дождавшись, пока он наденет их и взглянет на холст, Лина, вздохнув, договорила:

— Вот если бы ты, Сереженька, не держал кисть в узде, дал бы ей волю...

— Я тебя не понимаю! — ответил Лобанов, насупившись.

Гость разглядывал картину, то и дело двигаясь, выбирая нужную точку. Наконец выбрал, постоял немного, сказал с решительностью заядлого коллекционера:

— А мне нравится! В натюрморте драматизм... Нет, это не традиционно. Не уйду без него! Нет, не уйду!

— Похвально! — восхитилась Лина. — Цени, я тебе и покупателя нашла, — сказала она мужу. — Понимаешь, вчера забежала в зал на последний акт — сценка одна мне нравится в нашем спектакле, — по привычке оглядела ряды: «Как воспринимают?» И споткнулась: знакомая длинная голова. Вадим! Понимаешь, в классе я сидела позади него, так что насмотрелась на его затылок... Оказывается, он с поезда — и в театр.

«Пошел в детский, а не в оперу. Конечно, искал встречи с Линой», — подумал Лобанов.

— Натюрморт уже запродан, Вадим Николаевич! Да и сырой еще.

— Это окончательно?

— Да, комбинат ждет. И видите: второй план не проработан. И много другого, по мелочи.

— Оставь второй план! Все на месте. Каждую ветку не выпишешь! — почему-то вспылила жена.

Лобанов помолчал, стараясь объяснить себе причину такого поведения Лины.

— И не умею продавать с рук. Бывайте у нас почаще, напишу что-нибудь для вас, Вадим Николаевич.

— Лови его на слове! Он слову верный, — посоветовала она гостю. И мужу: — А ты, дружочек, бываешь упрям.

Лобанов пожал плечами.

Они проводили Барышева на вокзал, Вадим Николаевич после научной конференции морских медиков в Ленинграде снова отправлялся на Тихоокеанский флот. Он любил Лину, в этом Лобанов не ошибся. Любовь, очевидно, была давней, несмелой и поэтому скрытной. Редкие встречи на какое-то время делали его счастливым, и потому в это утро он был оживлен, и Лобанов видел, как он ловил каждый взгляд Лины и старался показать необыкновенное умение владеть собой. Сергею стало жаль его, ему захотелось, чтобы жена была с гостем чуть поласковее.

— Ну, не обходите нас, — сказал он, не сразу подбирая нужное слово. Ему была приятна похвала Барышева, оценившего его работу. Приятна на госте родная морская

форма. К тому же Барышев доверительно сказал, что натюрморт — его слабость, что в его небольшой живописной коллекции этот жанр на первом месте. Доктора тоже тянуло к художнику, угрюмоватому, немногословному человеку, хотя он должен был бы ненавидеть, ревновать к Лине, любимой, необыкновенной женщине. Она же в это время досадовала и на мужа за его странную привязчивость, свойственную провинциалам, и на Вадима, у которого сейчас не было для нее ни одного значительного слова.

Приходили и уходили электрички. Потоки людей омывали со всех сторон вокзал, напоминающий декорацию к старому-старому спектаклю. Лобанов и Барышев говорили о выставке Родена, которую оба посмотрели. Лина на выставке не была, потому не могла включиться в разговор и еще больше злилась.

— Что ж, прощаемся, Вадим Николаевич! — прерывая их разговор, сказала она и подала Барышеву руку. Тот понял, что забылся, быстро повернулся, и очки его колюче блеснули на утреннем солнце, но отблеск тотчас же рассыпался. Лобанов оглядел темный асфальт, будто надеясь увидеть на нем упавшие блестки. Но их не было.

2

Вадим Николаевич исчез, как раньше. Но нет, не как раньше. Раньше он проваливался, точно сквозь землю, по крайней мере для Сергея. Сейчас же он то и дело напоминал о себе. Иногда это была моряцкая форма, не так уж часто мелькающая на улицах их сухопутного города, иногда человек, подчеркнуто учтивый, как морской доктор. И Лина сделалась какой-то нервной, раздражительной. Может, и раньше все было так же, только он не замечал? «Уж не ревную ли? Какая ерунда!» — отмахнулся он, берясь за кисть. На мольберте снова появился «Десант на Мысхако». Картина работалась мучительно, и потому последний год был для Лобанова на редкость напряженным. Он должен был написать ее, не мог не написать. Далекие дни и ночи обороны Новороссийска, участником которой он был, не уходили из памяти, а делались как бы живее. Но то, что было обычным в ту все не потухающую пору, теперь приобретало новый смысл, время делало его более значительным. Именно это и созда-

вало для Лобанова непонятные трудности. Ему казалось, что все, что он пишет, было, было! Лина не могла смотреть на картину иначе, как только на своего врага, да и Сергей не знал, куда от нее деться. Шесть раз он начинал ее. Хотел сдать к двадцатилетию Победы, не успел. И вот прошел еще год. Кроме нескольких этюдов и натюрмортов, он не написал ничего. И те, можно сказать, вырвала у него жена. За несколько дней до того, как он взялся за «Увядшие цветы», картина была подписана. Как раз начался отбор произведений на первую выставку художников — ветеранов войны, и Лобанов намеревался ее показать. Но после встречи с Барышевым он снова вернулся к картине. У немца-артиллериста на втором плане на бледном лице провально темнели очки. Фигура смазывалась, уходила не в глубину, а вдаль. Немало помучился Лобанов, пока очки немца не вспыхнули отблеском близкого взрыва. Это было легко сделать: навсегда запомнился ему блеск очков Барышева у вагона дальневосточного поезда...

Когда еще раз была закончена картина, у Лобанова был день рождения. Гостей звали разве что в круглые даты. Но Виктора Федоровича Полторанова звали каждый раз.

И конечно, после телятины с грибами по-вятски, блюда, которое Лина научилась готовить у матери Сергея, и двух рюмок чесночной настойки, которую он обожал, его потянуло на воздух. Они побродили по проспекту Ленина, а когда пошел дождь, остановили такси и поехали на Тополиный бульвар, в мастерскую Сергея.

— Мне у тебя всегда нравится, сударь. Почему у меня не было такой мастерской? Это же прелесть! Именно в таких вырастают гении.

Виктор Федорович снял мокрый плащ. Поискал вешалку, не нашел — бросил на стул. Смахнул со шляпы влагу, осторожно положил сверху.

— Ну-с, что у тебя на мольбертах?

При первом взгляде на полотно у него сбилось дыхание — естественность, жизненность материала, композиции сразу бросились в глаза. Но он ничем не выказал своего волнения, лишь приложил узкие ладони к вспыхнувшим щекам, потом потрогал щеточку коротких усов, пригладил длинными пальцами пепельно-рыжие виски, как бы облегчая головную боль.

— Ну-с, сударь, наконец-то! Поставил точку?

Лобанов был настороже н. Что-то не понравилось ему в поведении своего учителя. Он любил его, верил ему, видел в нем тонкого художника и щедрого педагога и знал, чего он ждет от него.

— Да разве узнаешь, где точка?.. — сказал Сергей неопределенно, но был искренен в своих словах.

— Что ж, одни считают, что совершенству нет предела, а я думаю иначе. И ты это знаешь.

Да, Лобанов знал мнение Полторанова на этот счет. Он еще в институте слышал: всякая работа имеет свое начало и конец, почему же картина или скульптура должна выходить из общего ряда? Если сказал все, зачем еще мучить себя? Он всегда знал, где и когда поставить точку.

— Так, — произнес Полторанов, снова потирая виски. — Значит, роковая обреченность зла и мужественная красота подвига? Дай-ка свет. Все же тебе пора сменить мастерскую. Не хлопочешь, что ли?

Широко и глубоко развернуто пространство, хотя полотно и невелико — наверно, метр восемьдесят на два. Но какая насыщенность! Справа туманное поутру море, красный от горящих судов туман колеблется, видно, как колеблется, слева — развалины города, развороченный бетон и удивительно тихие горы, как бы равнодушные ко всему земному. Центр картины почти пуст. Горящий полузатонувший катер, последний матрос, очевидно, из команды, прыгает в красную воду, раненые и убитые на берегу, наши и немцы, а бой откатился уже в глубину. Но и здесь не утихли страсти. Фашист с искаженным от страха и боли серым лицом старается дотянуться до автомата и не спускает глаз с летящего матроса, второй уползает, извиваясь, за опрокинутое орудие. А тут братишка, широкоплечий, в рваном на спине бушлате, встал, качаясь, пытается сделать шаг вперед, поднимая на штыке вместо знамени свою проколотую бескозырку. Чуть дальше еще катаются по земле в непримиримой схватке два врага — тусклая зелень немецкой шинели и окровавленная полосатая тельняшка.

— Ты много знаешь о войне, — сказал Виктор Федорович, потирая виски, — очень много. И память у тебя остра. И хотя мазок грубоват, а я не люблю этого, но в пластике ты кое-чего достиг. Я не вижу, куда ранен ползущий немец, но чувствую — в правое плечо. По движению тела. И очки вон те — неожиданны. Как будто про-

зрение перед смертью. И компоновка крепкая, ни одного статиста ни среди фигур, ни в пейзаже. Выставляй не раздумывая.

— Да я уж надумал... — сказал Лобанов.

От Полторанова не ускользнула нерешительность Сергея:

— Чем недоволен?

Лобанов не стал кривить душой. Ему кажется, будто он у кого-то списал.

— Это ужасно, — закончил он.

— Ни у кого ты не списал, — весело проговорил Виктор Федорович. — Разве что у себя.

— У себя?

Сергей попытался вспомнить, что перешло сюда из других его картин. Нет, не фигуры, не позы! В пространственном решении и колорите он старался найти новое.

— Ты, Сергуня, этого сейчас еще не поймешь. Нужен новый гребень мышления и чувствований. В каждой картине должно быть не столько прошлое, сколько будущее. Разве я не говорил вам этого? Для вас в те поры это было абстракцией, своевольством профессора. Да, да, не дергай плечами! Я только что из Ленинграда. Какая выставка в залах Русского музея! Смотрел Петрова-Водкина. Вот кто стал неожиданно долговечен. А ведь искал, ошибался, не был понят.

— Долговечность — это талант.

— Да, посредственность не видит будущего. Она копошится в сегодняшнем дне. Только выдающийся ум озабочен предстоящим, ближним и дальним. А картину выставляй. Из того, что мы с тобой видели, это, пожалуй, самое крепкое. — Он помолчал. — Не скажу, что самое зрелое, но самое крепкое. Мастерства нынче достигают раньше, чем обыкновенной человеческой зрелости. А это должно быть неразделимо.

«Они стихийно идут вместе», — подумал Лобанов, хотел сказать, но не сказал, вспомнив, что еще в институте ученики Полторанова пользовались этим аргументом, когда спорили с профессором, не признававшим стихийности. Однажды он даже пообещал доказать, что такое «заряд будущего» в художественном произведении. Мастер пейзажа, он через год выставил на вернисаже жанровую картину «Раздумье». На распутье дорог — одна вела к белеющему на горизонте городу, другая в ветхую

деревушку за нешироким бурьянным полем — сидел солдат, огромный и нескладный, как обломок скалы. Он сидел спиной к солнцу, лицо его было в тени. Может, потому оно было так выразительно-печально, что художник по темному прописывал светлое. Во всем — и в притушенности красок, и в одинокости темной фигуры, и в пробивающемся мерцании глаз, и отблеске солнца на щеке, единственном отблеске, — чувствовалось, что вот-вот накатится что-то. Правда, Лобанов увидел это несколько позже, вначале он воспринял картину чисто житейски и был несколько смущен, когда его учителю присудили Государственную премию и вскоре избрали действительным членом Академии художеств.

До сих пор эта картина, ставшая понятнее, но все же не до конца понимаемая, волновала Сергея и в то же время удивляла своей непритязательностью.

Полторанов «вышел» из Федора Васильева. В юности подражал не только его кисти, но и внешности: носил такую же прическу, такие же усики. В этюдах и картинах Полторанова так и проглядывал «Мокрый луг» — картина тонкая, с поразительной глубиной и тщательностью отделки. Но, обретя себя, Полторанов вместо узкой полоски усов оставил лишь кисточку под носом, а в живопись его пришла своя, серебристая, цветовая гамма, сделавшая прозрачно-холодноватый воздух его пейзажей признаком утонченного восприятия мира. Когда Лобанов поступил в институт, в класс Полторанова, тот в живописи был уже самостоятелен.

Полторанов не воевал. Он бывал на передовой наездами, по командировкам, о войне написал мало и, может быть, потому с необыкновенным увлечением занялся подготовкой к первой в их городе выставке художников — ветеранов войны, чтобы этим как-то оплатить свой долг. Выставку намеревались открыть к двадцатилетию Победы, но не сумели. Кое-кто из руководства отделения художников не принимал идею в принципе: какие еще ветераны? Особенно ярым противником был Нил Горбаткин, однокашник Лобанова по институту. В его доводах был резон: обособляться, делить искусство на закутки? Открывать лазейку для непрофессиональной работы? Среди художников-фронтовиков действительно были такие, которые не кончали учебных заведений, кроме художественной студии для инвалидов войны, но обладали несомненным талантом. Пробиться на выставку они, ко-

нечно, лишь мечтали. Полторанов, Сергей и другие активисты потратили не один год, чтобы побывать в мастерских художников-фронтовиков. Всякого насмотрелись: и талантливого и бесталанного, скороспелого и замученного, осмысленного и бездумного. Брали работы на учет, достойные отбирали для выставки, другим давали советы, третьих критиковали. Перед ними прошли десятки трудных судеб, которые не могли оставить их безучастными. Сергей близко сошелся с Иваном Зимневым, художником хотя и без образования, но талантливым и одержимым, с одноруким Савелием Векшиным, интересным пейзажистом и редким трудолюбцем, Степаном Докукой, косторезом, называющим себя «скульптором малых форм», человеком капризным, поступки которого часто нельзя было предугадать.

И сейчас, когда учитель и ученик стояли перед законченной картиной, они вспомнили о талантливых художниках-фронтовиках, чьи работы непременно надо выставить.

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

Лобанов и Зимнев идут по Тополиному бульвару. Иван заехал за другом, чтобы вместе отправиться на первую выставку работ художников — ветеранов войны. В мастерской они повздорили, страсти еще не остыли, и спор то и дело вспыхивал.

— Ты, босяк, размениваешь свой талант на всякую ерунду, как студент свой последний рублик на мороженое. Цветочки пишешь? В «цветоделы» определился? Да разве это твое? — Иван стукнул палкой о землю.

Лобанов пожал плечами.

— Жизнь есть жизнь. И я знаю, что мне делать... — сказал он, чувствуя, что Иван прав.

— Выходит, не знаешь.

— Это в конце концов надоело!

— Я о тебе пекусь, о твоем таланте!

Лобанов шагал вразвалку, широко ставя ноги, как на палубе. Иван раздражал его. Замучил прописями! Маленький ростом и щуплый, Иван был забавен претензией выглядеть солидно: носил широкий костюм и широкополую фетровую шляпу, не снимая ее даже летом, в жару. Черные космы длинных волос лежат на узких плечах.

Большой нос искривлен и придает суровость смуглому лицу. «Вечный спорщик» — окрестили его друзья.

— Если бы у меня были две жизни, я бы писал только героев. И не уставал, не уставал! Их жизнь — это факел, а не подмороженные цветочки. Эх ты, герой-черноморец! Почему тебя в институте не научили, что прекрасное — слепок с героического. Да, да, только героическое прекрасно! Я усвоил на всю жизнь, хотя и не учился у Полторанова.

Лобанов отвернулся, вглядываясь в толпу людей. «Что же меня связывает с ним? Наше военное прошлое? Или я жду от него чего-то? Или он то, чего я не имею права повторять? А может, его неколебимая уверенность в своей вечной правоте? Как легко жить, имея правоту! Почему же легко? Ее ведь тоже надо выстрадать...»

Иван всегда сражался яростно за свои идеи. Бедный Савелий Векшин, по натуре тихий и недрачливый, на обсуждениях вздрагивал при каждом вскрике неуемного товарища.

— Твои морские полотна я приветствую, — между тем говорил Иван. — «Матросской мадонной» восторгался, сам знаешь. И «Десант» пойдет, хотя он мне меньше нравится. Трагично!

Лобанов перестал рассматривать толпу, приостановился.

— В трагизме есть что-то привлекательное. Кто это сказал? Илья Ефимович Репин...

— Вот ты как заговорил? Не прячься за классику!

На повороте к выставочному залу на улице Большая Гора их встретил Векшин. Был он с виду тих, застенчив. Пустой рукав вместо левой руки усиливал впечатление его беспомощности. Не успели они обменяться двумя-тремя словами, как их догнал Степан Докука, высокий и худой, с лицом, побитым оспой, на котором вздернутый короткий нос казался мальчишески задиристым. С Докукой Лобанова связывала еще и дочь Анна, которая увлеклась работой по кости, и, кажется, серьезно. То, что дочь не могла заниматься живописью из-за дальтонизма, сильно удручало отца.

И вот они вчетвером поднимаются в горку к выставочному залу. Молчат. Слишком велико волнение: первая выставка фронтовиков. Только фронтовиков. Зимнев заранее злится: «Илье Федотову» не нашлось достойного места. Лобанов боялся встречи со своим «Десантом». Недоделки в картине во сто крат резче бросаются в глаза именно на

выставке. И странно, выставка еще не открылась, а о картине уже столько мнений. Для Зимнева она трагична. Но какая война без трагедий? Смущал неясный разговор Полторанова о прошлом и настоящем. Значит, в чем-то главном картина ему не понравилась? А в чем? И только Степан Докука был таинственно спокоен. Пока монтировалась выставка, он бывал тут каждый день. Он знал, что «Илья Федотов» оттеснен в самый закуток, кому-то из комиссии работа Зимнева не приглянулась. Видел он и пейзаж Савела, помещен он был хорошо, при верном освещении. Позавидовал и тому, что возле нового полотна Лобанова почему-то задерживались люди, хотя работа по рисунку была жестковата, мрачна по колориту. Правда, Степан и сам не мог пробежать мимо, но сказать об этом Сергею не решился.

У распахнутых дверей выставочного зала толпились оживленные, ярко одетые люди. Бойко шла торговля проспектами вернисажа. Заодно охотно раскупались репродукции. Степан, морща бледные тонкие губы, склонился к Ивану и предупредил, чтобы тот не переживал, когда увидит своего «Илью», запиханного в самый угол. Зимнев взвился, застучал по ступеням палкой. Докука улыбнулся: «Ну, сейчас будет...»

В последнем «отсеке», где висела картина Ивана, было полно народа. Зимнев стоял, откинувшись назад и опираясь на палку.

— Да, да! Я нашел героя, который мне помог сказать людям многое. Сам бог послал мне его. Я создам эпопею о героическом сердце. Мальчик погиб, но душа его светит. Этот свет не погаснет никогда. Милый мой Илья! Бежал от немцев, пристал к пушкарям. Полк принял его как сына. Новая жизнь открылась перед мальцом. Боевая жизнь! Он рядом с солдатами был у орудий, когда на батарею катились лавины «тигров». Понимаете, «тигров»! Я видал, как они прут. Эти звери. Огромные, как крепости, а катятся мягко, будто крадутся. Со стороны вроде бы даже красиво. В первом бою Илье хотелось зарыться в землю, убежать, исчезнуть. Во втором уже любопытно, а в третьем он стал солдатом, подносил снаряды. Потом сам стрелял. И как итог, как повзросление — храбрая смерть.

Иван суетливо стал искать носовой платок, нашел тряп-

ку, которой вытирал кисть, она была в пятнах краски.

— А вот последний бой. Утром, чуть свет — «тигры» прямо на позиции батареи. Бой был неравный. Все полегли, остался один Илья. Орудие, он еще недавно стрелял из него, валялось вверх колесами, полузасыпано землей. Руки у парня перебиты. Прижимая локтями к груди связку гранат, он пошел навстречу «тигру».

Художник замолчал. Чья-то рука воткнула за раму красную гвоздику.

«Это не художнику... Это Илье Федотову», — подумал Докука, успокаивая свою ревность, и отошел.

У входа в зал на столике лежала прошнурованная книга отзывов. Докука присел, полистал. Смотри-ка! Уже успел кто-то высказаться! О картине Лобанова? Ну и ну!

«Говорили, выставка ветеранов — досужая выдумка... И я не выставил ничего. А теперь жалею, как жалею! Большая честь быть рядом с хорошей работой Михаила Сенцова «Особое задание». Отец и сын — хороши. Мальчик написан мягко, доверительно, старик — суров, озабочен. Хорошо работает Сергей Лобанов. Он все решительнее овладевает цветом. Если я вижу всполох разрыва, я слышу звук. Естественно размежеваны силы добра и зла. Все, что имеет будущее, как бы поднимается над землей, обреченное — вжимается, прячется. Это шаг к осмыслению событий войны, а не просто рассказ о событии, чем еще грешат многие из нас. М. Судогдин».

«Знаменитый рыболов! — усмехнулся Докука. — Откуда он взялся?»

Михаил Судогдин с весны до осени пропадал на реках, возвращался с запасами вяленой, сушеной, соленой рыбы, с этюдами речных плесов. На них всегда много солнца, неповторимо разнообразны речные просторы, и даже женщина, которую он много с любовью пишет, тоже всегда неисчерпаемо разнообразна, хотя это все одна и та же — его молодая жена. Докука с неприязнью подумал о счастливчике Судогдине, и запись его, чуть ли не самая первая, показалась слишком поспешной и потому неприятной. Он перевернул страницу и натолкнулся на короткие и решительные строки:

«Не согласен с художником Судогдиным, которого люблю и уважаю. Опять у этого Лобанова братишки, опять кровь, трупы, сумятица разрывов и рукопашных. Устали мы от войны! То ли дело радостные, с настроением полот-

на Судогдина. Не понимаю, чем ему нравится Лобанов? Не может он нравиться! Ю. Караченцев».

Тем временем на подмостках за длинным столом устроились художники-фронтовики, с орденами и медалями на пиджаках.

Лобанов сидел с краю. Он еще ничего не знал о записях в книге. Возле его картины толпилось немного людей, среди них были знакомые и незнакомые. Кто-то поздравил его, кто-то значительно прищелкнул языком, кто-то взглянул пренебрежительно. Лобанов впервые заметил, что центр картины пустоват, а второй план перегружен, — лучше было бы правую группу вынести ближе к матросу, прыгающему с тонущего катера. Расстроенный, он не хотел даже подниматься к столу президиума, пока его не подтолкнул Нил Горбаткин, уверенно ступивший на подмостки и занявший свое место за столом. Его крупная голова величавой посадки, голубовато-серая от седины борода — все это выделяло его из среды смущенных, подавленных событием людей. Нил с привычной уверенностью открыл собрание, поздравил ветеранов с праздником, его речь текла медленно и значительно. Сергей слышал и не слышал его, находясь в странном состоянии. «Не заметил Виктор Федорович и не отругал, а? — подумал он о Полторанове, который не пришел на открытие выставки из-за каких-то неотложных общественных дел. — Докучал туманными рассуждениями о долговечности искусства, а элементарного ляпа не заметил. Пожалел? На него не похоже. И вообще теперь мало пекутся о мастерстве, подавай идею — и будет полный порядок. А я лучше других? — спросил себя Лобанов, почему-то старательно наблюдая, как Нил Горбаткин важно и неторопливо разрезает красную ленту, открывая выставку. — И я не лучше других. Сам давал поблажки, когда рекомендовал работы. Тому же Зимневу. Закрыл глаза на явные слабости...»

Было досадно, что не пришел Полторанов и что выставку открыл Горбаткин, который и руки не приложил к ее подготовке.

Потом Сергей толкался в залах, вяло скользя взглядом по стенам, тесно увешанным картинами, и боясь проходить мимо своего «Десанта». Его приветствовали, он кивал, ему жали руку, поздравляя, он что-то говорил в ответ. Кто-то сказал, что его картина — это декорация, он не смог даже рассердиться на эту явную глупость. Докука утащил его к книге отзывов, по пути рассказывая, что

Мишка взглянул на выставку, оставил след и, должно быть, укатил на Волгу рыбачить и писать свой пленэр. Очень-то ему нужны наши баталии! Лобанов прочитал запись. В неискренности и верхоглядстве он не мог Мишу Судогдина заподозрить, но было досадно, что он, такой мастер композиции, не заметил его просчета. «А ты читай, читай дальше», — настаивал Докука. «Устали мы от войны...» Умеет Докука подбросить дохлую кошку... Окончательно расстроенный Лобанов направился к выходу.

— Сергей!

Лобанов обернулся:

— Виконт!

Это был Юрий Тестов, крановщик из речного порта, парень лет тридцати, с тонкими чертами лица, увлекающийся французской литературой и недавно прочитавший «Собор Парижской богоматери» на родном языке Гюго. У Лобанова друзей в порту не один Юра, прозванный Виконтом, Лобанов всегда льнул к речникам. В юности он окончил ремесленное училище, ходил механиком на буксирах, в войну служил на катерах. Уволившись в запас, стал искать своего брата-речника. Когда учился, подрабатывал на разгрузке, писал портреты стахановцев для доски Почета, картины для Клуба речников. В порту делал он и дипломную работу — коллективный портрет бригады Федора Фомича Вербы. Река, краны, баржи, на парапете группа ребят в оранжевых шлемах, только бригадир Федор Фомич простоволос. Лицо худое, загорелое, с выступающими кругляшами скул, с серыми кустистыми бровями над глубоко запавшими глазами мудреца. Что ж, эту работу не стыдно показать и сейчас — рабочие люди красивы сами по себе, а сколько света, какая сверкающая под солнцем река... Но картину, ставшую для него началом начал, он никогда не выставлял, уже на защите увидев, что он всего-навсего запечатлел кусок жизни в тот короткий непоправимый миг, когда в ней остановилось движение. Профессор часто твердил им об этой коварности бытия, но Сергей, да вряд ли только он, не мог его понять, а понял и увидел, когда надо было защищаться.

Они застали Федора Фомича в зале прикладного искусства. Бригадир стоял, откинув назад голову, разглядывал обыкновенные деревенские полотенца. Ильи Муромцы, танкисты, летчики, пехотинцы перемежались на них с роскошными петухами, павлинами, попугаями, окружен-

ными замысловатым орнаментом. Федор Фомич недоумевал:

— Ну, объясни, Сергуня, что это такое? Ты нам говаривал, что искусство — высокая материя, но моя Дарьюшка первое место захватит, если принесет свои вышивки. А тут: «Собрано в экспедиции», да еще ученой. На каждое полотенце — фамилия!

Сергей повел речников в зал, где висела его картина. В фойе вдруг заметил пепельно-рыжую шевелюру Полторанова. «Пришел все же!» А вот и прямая спина Горбаткина. Большая голова его склонена как бы в полупоклоне. К кому относился этот полупоклон — к Полторанову или Ивану Зимневу, взлохмаченному, тыкающему палкой в сторону лобановских «братишек», трудно было понять.

— Академик Полторанов, — сказал Сергей бригадиру.

До Лобанова долетел голос Ивана. Он что-то говорил о «Гибели Помпеи», о картине Сергея, о цветочках... «Впору сквозь землю», — краснея, подумал Сергей. И тут услышал негромкий, с грустью голос Полторанова:

— Ах, сударь, «Гибель Помпеи» одна, всего одна в русской живописи. Герцен видел в ней грядущие потрясения России. Да! Грядущие! Ну, Лобанов растет, это видно всем. Картина его хорошая, хотя и не без недостатков.

— Самая лучшая! — неожиданно раздался голос Федора Фомича.

Бригадир в войну тоже носил моряцкую форму и тоже воевал, правда, не на Черном море, а на Баренцевом. Но матросская душа одинакова везде, и Сергуня это здорово ухватил. Проклятое волнение, будь оно неладно... Федор Фомич ничего не сумел больше сказать.

Вроде бы забылась дурацкая запись в книге отзывов. Лобанова отвлекли друзья-портовики, да и оценка учителя, высказанная при всех, подняла его дух. Но тут снова вылез Степан Докука. Подслеповато щурясь упрятанными под нависший лоб серыми жесткими глазами, он спросил, как относится академик к записи в книге отзывов о том, что тема войны поднадоела. Сергей увидел: Виктор Федорович резко повернулся, пламенно колыхнулась его шевелюра:

— А вы, сударь, как сами думаете?

— Я — солдат! Как можно меня спрашивать?

— Вы обратились ко мне, значит, что-то недопонимаете?

— Стерва написала, непохороненная стерва...

— Крепко и ясно сказано, — похвалил Полторанов. — Но послушайте, сударь... Если мы будем плохо писать о войне, зрителям надоест наше искусство, и они тогда перенесут это свое чувство и на саму войну. Даже честные люди... — Виктор Федорович помолчал. — Но картина Лобанова не повод для такого разговора.

Он перешел к другой картине, кладя этим конец беседе. Но многие остались у лобановского «Десанта на Мысхако», продолжая разговор и о картине и о войне. И Сергей вдруг почувствовал себя настоящим именинником.

2

Он вышел из электрички в Радонеже, когда кончился сырой апрельский день и над еще голыми дубовыми рощами на западе тихо умирала багряно-золотистая заря.

Радонеж... Он придумал его сам, для себя. Такой остановки не было и в помине на железной дороге, это каждый знает. Не было на карте и поселка с таким названием. Однажды случайно он обронил это слово, когда начинал работать над картиной «Русь в походе», да так и привык к нему. И теперь, всякий раз произнося его вслух или про себя, он испытывал что-то удивительно ясное, свежее и значительное, что переживал обычно при внезапном открытии в человеке или вещи глубоко упрятанного качества, способного обрадовать, восхитить. Может быть, виной тому звуки в слове, от которых так и веяло свежестью? А может быть, сама Русь стояла за ним?

Еще в годы бесквартирья Сергей по дешевке случайно купил крошечный домик с маленьким участком земли и жил тут круглый год, пока не обзавелся семьей и не переехал на проспект Ленина, к жене, тестю-искусствоведу и теще-писательнице.

Хижина. Для лета лучшей мастерской и не надо. Благо, что однажды загостившийся отец, дока и в плотницких и столярных делах, пристроил веранду-светелку, которая и стала мастерской.

Если у него было хорошее настроение, он, возвращаясь ночью в Радонеж, любил взглядом провожать свою электричку. Обычно садился в первый вагон, так было удобнее, выходил прямо к тропе через березняк. И когда он на минуту оставался на платформе, перед ним пролетали все восемь вагонов. Сегодня электричка долго набирала ско-

рость, и вагоны катились перед Лобановым плавно, как бы желая показать ему всех, кого они везли. Люди двигались перед ним в каком-то неземном измерении, отрешенные от всего, утомленно-значительные. А ведь он только что был с ними и думал, какие они все разные, и в памяти вычерчивал их лица и угадывал по их выражению и следам, оставленным на них жизнью, судьбу. Да, каждый — это судьба. Какая она? Что прибавит или убавит еще одна остановка? У каждого своя остановка, своя станция следования. У него тоже своя. У него — Радонеж, которого нет, но который живет и будет жить.

Он не думал о своей судьбе. И что это такое — судьба? Насквозь прошел войну. Трижды тонул и дважды, по сообщениям очевидцев, «погибал». Пропадал без вести и горел. Не это его судьба? Война лишь оставила метины железом на его теле, и все. И вот он с руками и ногами... — жив, крепок мускулами и, говорят, не бесталантен. Правда, жизнь уже сняла с него морской лоск. В шкатулке у жены тускнеют ордена и медали, да пылится на гвозде в прихожей фуражка с крабом, что так надежно и лихо держалась когда-то на его круглой голове. И он — художник. А разве могло быть иначе?

Последний вагон пролетел, как всегда, стремительно, постепенно ушли вниз, к мосту через реку, красные маки сигналов, будто провалились сквозь землю, а он все еще стоял и глядел в темноту. В голове чуть-чуть шумело. Лишку перепало ему сегодня ласкательных слов. «А, не искушайся, — остановил он себя, — хвалили друзья, но это неизбежно на поминках. Герою события уже все равно. Пожалуй, и мне в другой раз прилично пропускать хвалу, если не захочу стать живым покойником. А может, в голове шумело от выпитого вина? Рислинг был холодный и приятный, но от него хмелеют разве что девчонки на выпускных вечерах. Жаль, покрепче ничего не было в буфете. А случай стоил того, чтобы выпить и крепкого, — подумал он, поднимаясь по лесенке с платформы. — Зачем кривить душой, ведь было же приятно посидеть с Фомичом, Виконтом, Димкой-Начальником. А Савел... До чего же он чудной, когда выпьет. Улыбается, трет свой короткий нос и непременно что-нибудь скажет, вроде: «А Рембрандт был сыном мельника...»

Лобанов шагал тропой меж белых берез. Он любил эту тропу и считал, что лучшей дороги в мире нет. Пока идешь, родишься заново, горести и беды никогда не та-

щишь за собой в дом. Дорога к жилью — это ведь половина твоего настроения. Березы... Ночью они светились, разрушая темноту. Он звал их всех по имени. Вот Кривуха, она ближе всего стоит к дороге, кора у нее на высоту человеческого роста корявая, в черных рубцах. Горбатая, она как бы кланяется всем и каждому, кто идет по тропе. Он подошел, погладил ее по впалой груди, где кора, в отличие от горба, была гладкой и ластилась к ладони. А вот Вдовушка. Многие годы росли вместе две березки. В одной, подрубленной, прижилось дупло, и однажды темной холодной ночью ветер сломил ее, оставив подругу сиротой. Неожиданно открылось, что березка выросла однобокой. И не скоро еще выровняется ее крона, пусть даже и освещена она теперь со всех сторон солнцем.

Подойдя к Вдовушке, Лобанов как бы заново пережил день, подходивший к концу. Можно сказать, кончившийся, потому что все, что могло произойти, произошло. Теперь остается только рассказать обо всем Лине.

Сергей не заметил, когда перешел к другой березе — он называл ее Колдуньей. Это было старое, с толстым корявым стволом дерево, с одной стороны покрытое серыми лишайниками и мхом. Полузасохшие, кривые сучья ее торчали в стороны, как огромные усталые руки. Но у нее все еще работали живучие корни, и каждую весну она выбрасывала листву, год от года все более редеющую.

Ночь была тихая. Сквозь редкую листву Колдуньи просвечивались звезды.

— Как все это смешно, — сказал Лобанов березе. — Академик на самом деле чудаковат. Недоволен, знаю, и не смог не сказать: «Картина хорошая. Правда, не без недостатков». А у кого их нет? Немыслимо трудно изобразить даже то, что видел своими глазами. Мы высадили десант на берег, который потом назовут Малой землей. Моя подбитая посудина шла на дно. Я не отрывал взгляда от того, что творилось на земле, а катер все погружался. Ребята по мне снимали бескозырки, а утром увидели в окопе. Доложу тебе, Колдунья, все это крепко засело в памяти. Я взял и рассказал красками. А насчет Помпеи Зимнев говорил ерунду. Это же ребенку ясно. Мне было бы, пожалуй, легче, если бы Полторанов похвалил его. Ему нужна похвала, ах, как нужна. Но картину он не дописал. В ней мало воздуха, герой получился не фигурой, а фигуркой. Потом он увидит это сам.

Сергей зашагал по тропе дальше. Впереди мелькнул огонек хижины. Лина ждала его...

«А странно, господин случай распоряжается нами, — думал он, подходя к хижине и слыша резкий скрип гравия под ногами. — Если бы не подбили мой катер, я не оказался бы на берегу, не встретил бы художника Дорогова, не попал бы в институт. Не стал бы живописцем... Ну, положим, живописцем я бы стал, а может быть, попал бы и в институт. Но с Линой не встретился бы. Это уж точно».

...В окопах, в Станичке, где до немцев не было и двадцати метров, Лобанов воевал не меньше недели. Однажды у себя в окопе, у амбразуры, прикрытой каменной плитой, Сергей увидел человека лет под сорок, в морской форме, сидевшей на нем чуть мешковато. Лицо с мелкими чертами, очки на коротком носу. Он наблюдал за немцами в щель амбразуры и что-то быстро наносил на лист рисовального альбома. Сергей посмотрел через плечо. Тот оглянулся, застенчиво улыбнувшись, и вновь широко и быстро стал бросать по бумаге карандаш. Художник! На его листе вырисовалась Станичка, где засели немцы. На половине между нашими и вражескими окопами — обгрызенное осколками дерево. Кажется, пирамидальный тополь. Он стоял сейчас как обметенный веник, торчащий кверху измочаленными прутьями.

— Похоже? — спросил художник, не оборачиваясь, но чувствуя, что матрос не ушел.

— Похоже! Сколько смотрю на это дерево, а не заметил обломанный с той стороны сук.

— Зачем тебе? Он пока — немецкий, — шутливо сказал художник.

Так он познакомился с художником Константином Дороговым, с начала войны работающим на Черноморском флоте.

— Вы настоящий художник?

— Раз мне поручено воевать моим оружием, выходит, что да. Какой же солдат с ненастоящим ружьем?

— А это у вас неверно, — заметил Лобанов. — У того дома покосилось не правое, а левое окно. Я уж запомнил. Там, у косого, снайпер. Сейчас обедает. Вернется, я его и укокошу. Надоел до чертиков.

— Интересно! Ты хоть видел его?

— Мы — оба злые. Не переживем, если друг друга увидим... Я его вообразил. Вот он какой... — Сергей достал из кармана бушлата небольшой, сделанный из школьной тетрадки альбом, полистал. — Вот!

Художник оторвался от работы, взглянул через плечо, потом повернулся, протянул руку за крошечным самодельным альбомом.

— Интересно! А почему именно такой? Он же у тебя совсем мирный!

— Охотник из Тироля.

— Здорово! А это откуда? Сейнера. Матросы. Торпедный катер. Подожди, да это же «Красный Кавказ», крейсер. Ты что, на флоте был?

— Я и теперь на флоте. Катер наш того... Так что из экипажа нас трое добрались до передовой.

Прощаясь, Дорогов попросил сообщить ему, ухлопает ли он тирольца, и, положив на обломок кирпича крошечный блокнотик Сергея, написал на чистом листке почему-то печатными буквами: «Тов. Лобанов С. С. — художник. Глаз у него верный. Талант есть. Храбрый, закалки боевой. Советую учиться. Константин Дорогов».

На Черном море Лобанову не пришлось еще раз встретиться с Дороговым, но на плакаты его и рисунки во флотских газетах он натыкался не раз. Демобилизовавшись после войны, направился в институт с той запиской и с несколькими замусоленными самодельными блокнотами, которые чудом сохранились, пока он проходил сквозь огонь и воду. С ними и явился в институт.

Лина на даче была не одна. Русоволосый, синеглазый юноша в сильно заношенной куртке, в мятых джинсах, стоял перед мольбертом с палитрой и кистью в руках. Небольшой холст, который вчера Лобанов натянул на подрамник и загрунтовал, был наполовину записан разноцветными квадратами. Лина в голубом спортивном костюме сидела на чурбаке, служившем тут, в мастерской, единственным стулом, и что-то говорила поучающим тоном. Обернулась на шаги мужа, встала. Юноша застенчиво взглянул на Лобанова, повернулся, своей тенью загораживая холст.

— Что дядюшка? Был на открытии? — спросила жена. — Выступал?

— Был, — ответил Лобанов. — Но не выступал.

— Вижу, ты в настроении, Сереженька. Значит, похвалили?

— Угадала. Пропустили мы по маленькой.

— Поздравляю!

— А у вас тут что?

— У нас? Познакомься, Алик Ивушкин. Это его цветовой реализм. Расскажи, Алик, что ты задумал. Довольно любопытно. Только будь благоразумен, Сереженька.

— Ну, ну! Расскажи, Алик.

Молодой человек вдруг смутился. Сбивчиво рассказал он, что окончил художественно-прикладное училище, работает в реставрационной мастерской, восстанавливает древние иконы.

— Что это такое? — Лобанов кивнул на холст, наполовину замаранный.

— Один из фрагментов серии картин «Стена». Лина Леонтьевна заинтересовалась. Я задумал тридцать шесть картин. Никто не подозревает, как богата и разнообразна обыкновенная стена.

— И сколько уже написал?

— Восемь. Эта не в счет.

— Какая же цель? Мысль какая? — Лобанов стал вглядываться в разноцветные квадратики. В глазах зарябило.

— Искусство идет от чувства. Вы это знаете не хуже меня, — проговорил Ивушкин, одергивая короткие рукава куртки. — Старый реализм еще в девятнадцатом веке потерял его, весь ушел в рационализм, то есть в мысль, и потому убил себя. В реалистическом искусстве, как ни странно, не реальная жизнь. Это чуждо психологии нынешнего человека, чувство которого не возбуждают ваши работы. Значит, вы не достигаете цели. Человеку не нужно воспроизводить жизнь, какая она есть. Ему нужен толчок, чтобы он сам вообразил ее.

— Что же будет его возбуждать? Эта цветовая неразбериха? — Он кивнул на холст.

— Да!

— Как дешево ты хочешь купить нашего ценителя искусств! Уму непостижимо: стена! Да, это уж точно: ни один метод, кроме абстракции, еще не спасал бесталанность.

Тут в разговор вмешалась Лина:

— Дружочек, ну что ты напал на парня? Пусть пробует. Это же лучший способ проверить себя.

— Мне-то что? Пусть проверяет. Но сколько на это уйдет краски?

Когда Алик ушел, Лина с укором сказала мужу:

— Какой ты невнимательный, Сереженька! Это же жених нашей Анюты.

Лобанов подавленно пробормотал:

— Отец всегда узнает последним... Ну, Лина! Девочке четырнадцать, и — жених.

— Ну и что? Если ты о ней совсем не думаешь, не мешай это делать мне.

— Ладно, ладно! — уступил Сергей. Ему не хотелось разрушать настроения дня. Выйдя из хижины в сырую лесную ночь, Лобанов думал о дочери и ее незадачливом женихе с его цветным реализмом, о Лине.

Он прекрасно знал, что «Матросская мадонна», прославившая его, пришла вместе с Линой. После того как он встретил ее в мастерской Дорогова и по-мальчишески легко сказал о ее «излишней красоте», он уже не знал сердечного покоя. За внешней простотой, легкостью общения, может быть, несколько развязной непринужденностью («Эй, матрос!») таилось что-то глубинное, которое не смог увидеть Дорогов и вряд ли сумеет открыть он, Лобанов. А началась картина с дурачества. У Лины было странное пристрастие к морской форме. Иной раз она напяливала на себя Сергеев бушлат, бескозырку и слонялась по мастерской Дорогова, где часто бывал и работал Лобанов. В этом маскараде и «увидел» ее Сергей. Потом, став «матросской мадонной», Лина обошла полсвета. Решена картина была просто... На берегу голубой бухты, на фоне дальних сиренево-охристых гор, на белых камнях-голышах, обкатанных волной и похожих на черепа, написал он сидящей в глубоком горе Лину в черном матросском бушлате с распушенными, не по-армейски длинными волосами. Печально ее смугло-белое прекрасное лицо, печальны полуприкрытые черные большие глаза. У ног ее, у кирзовых сапог, — сумка медсестры, которую она забыла закрыть. А рядом, чуть позади, в ее тени — убитый матрос на камнях. Лицо его закрыто бескозыркой, виден лишь большой упрямый подбородок.

Потом в живописи появилось еще много разных мадонн, но «матросская мадонна», или, как называли близкие друзья, «мадонна Лина», оставалась одна.

Лобанов услышал за собой шаги.

— О чем ты думаешь? — спросила жена.

— О тебе.

— Сердишься?

— На что? Анютой надо заниматься. Боюсь, жених навяжет ей свой «цветастый реализм». Уж лучше бы с Докукой занималась, хотя и это мне не нравится.

— Злой ты стал, Сереженька. Алик — мальчик тонкий. Безобидный.

— Мальчик... Мазня его небезобидна.

— Мазня! Взял бы парня под защиту. Пусть бы натюрморты писал. Возишься с бездарностями вроде Зимнева.

— Зимнев талантлив, не греши. Кстати, где Анна?

— Разъехались с Аликом: она в город, он — сюда. — Жена помолчала. — Все же ты недоволен чем-то. Что там произошло, на выставке?

— Я же говорил...

— Не все, я чувствую.

— Иди в хижину. Что ж не оделась? Я сейчас.

— Чай подогреть?

— Не надо. Но если ты хочешь...

— Давай почаевничаем, а?

«Озадачен чем-то... Если дядюшка Витя — так Лина звала Полторанова — хвалил, что ему еще надо?» — думала она, разогревая на плитке чайник. Однажды дядюшка сказал ей, что самый обещающий его ученик — это Сергей Лобанов. Она поверила ему, потом стала убеждать себя, а после «Матросской мадонны» убедила. Но идет время... Нил Горбаткин, которого в те годы ругали, сделался одним из ведущих художников, лауреат Государственной премии. Миша Судогдин с лауреатским значком, а Сережа все еще чего-то ищет. «Может, дядюшка Витя попридерживает его, хочет чего-то особого?..»

Когда они сели за плетеный столик, на котором стояли две чашки чаю, Лина спросила:

— Дядюшка Витя, он что — сверхзадачами донимает?

Сергей не донес чашку до рта, рассмеялся:

— Угадала! Он хочет, чтобы я шел ко вселенским решениям. Что значит его тезис: «Нет настоящего, есть только прошлое и будущее»? Когда я начинаю об этом думать, рука теряет уверенность. Так однажды я брошу писать, вовсе брошу...

— Пей, пей! — сказала она ему. — А ты не молись

на академика. Он ведь, знаешь, пишет всякий раз ново, но мыслит старомодно. Смотри, как Нил ушел из-под его опеки. Хоть и клянет его дядюшка, но рано или поздно признает.

Сергей глотнул чаю, обжегся, затряс головой.

— Ну, зачем, зачем мне Нилова свобода? Виды иноземных городов! Это что — его своеобычье? Просто напал на ширпотреб...

— Не любишь ты своего старого дружка.

Сергей хотел что-то сказать, но споткнулся. Не стоило говорить, что Горбаткин никогда по-настоящему не был его другом. Ведь он, кажется, дружил с ней, Линой. Неизвестно, когда и почему они раздружились, но жена нет-нет да и вспоминала о нем, больше для того, чтобы уколоть мужа.

И Сергей сказал, сводя все к шутке:

— Если друг удачливее меня, за что его любить?

Он не сказал: «Талантливее», и жена это отметила.

3

На другой день Савелию Векшину позвонил знакомый из МИДа и сказал, что был на выставке ветеранов, видел его пейзаж, и попросил разрешения приехать в мастерскую. К обеду в мастерской Векшина собрались друзья. Савелу хотелось посоветоваться, что показать визитеру, а друзьям было просто любопытно.

Бутылка коньяку и яблоки в вазе стояли на столике. Но никто к ним не притрагивался. Хозяин взял со стеллажа какую-то книжку, раскрыл, стал читать.

Нет, не пейзаж меня влечет,
Не краски жадный взор подметит,
А то, что в этих красках светит
Любовь и радость бытия.

Он повалял кулаком единственной руки свой короткий нос (такая у него была привычка), хитровато взглянул на пейзаж, стоящий на мольберте, — золотисто горело широко распахнутое небо, полное неизъяснимого чувства ожидания, спросил, скосив глаза в сторону Лобанова:

— Слушай, Сергей. Когда я прочитал эти стихи, меня всего покоробило: как так, его не пейзаж влечет?

— Тут все верно, ты же видишь, — ответил Лобанов, из дальнего угла мастерской глядевший на картину. —

Да, это пейзажная картина, что пока так редко, даже для Векшина, у которого талант, как говорят, от бога.

— Что за пейзажем, за красками?

— Мысль, обобщение, что превращают этюд в картину. Незаметно, но верно, — разве не этому нас учил Аполлинарий Васнецов?

— Этому и еще кое-чему.

— А чему?

— Ну хотя бы... — Савел смущенно помял нос, — видеть за красками чувство. Как это у Бунина.

— Вот мы и расходимся, — засмеялся Лобанов.

— Чтоб сойтись на том, что то и другое верно.

— Ладно, не наше дело играть словами. Покажи, что еще предложишь. Запасники твои ломятся.

— Плодовит, как крольчиха, — сказал Иван Зимнев. Он сидел, забыв снять широкополую шляпу, в кресле, нахохлившись, как старый усталый ворон. Не признавал он пейзажа, хотя и сам иногда баловался и получалось у него недурно. «Это так, для отдохновения, — говорил он... — Но посвятить всего себя пейзажу? Нет, друзья мои, не за тем Зимнев родился». Однако работа Савела «Ждут гостей» волновала его, вызывая такие по-детски ясные ассоциации, что он незаметно для себя оказался в ее власти и даже чуть-чуть завидовал другу.

Савел, промолчав на замечание Ивана, усмехнулся, хитровато сощурив серые проницательные глаза, снял с мольберта картину, поставил другую. Лобанов вскинул голову, так и застыл, пораженный новой, на этот раз озабоченной, мыслью художника. Хмурый серый лес, влажность воздуха и запах преющих в воде корней чувствовались осязаемо. И вода, глубокая по тону, мокрая и тоже задумавшаяся. Старая береза с обломанными толстыми сучьями, седая и мудрая. Нестройно толпятся чуть поодаль средневозрастные березы: одни прямые и стройные, другие — склоненные, будто застыли в беге, не успев выпрямиться. И елочки-елочки по поляне, будто озорные девушки в сарафанчиках с приподнятыми подолами. Шишкинская эпическая мощь. Но здесь, у Векшина, — берущая за сердце тревога. О чем думал этот хитроватый однорукий человек вовсе не богатырского склада?

Мастерская Савела была на бойком месте на Большой Горе, в доме с широкими окнами, похожем на заводской корпус, на втором этаже. Никто не удивился, когда дверь тихо открылась и появился старик с худым лицом, вис-

лым носом и впалым ртом, отчего чисто выбритый подбородок казался слишком крутым. Старик был в поношенном дорогого сукна пиджаке, в белой рубашке и галстуке, похожем на размочаленную веревочку. Это был художник Гривцов.

— Алексей Ипполитыч! — обрадованно встретил старика Савел. — Прошу, прошу! И вы узнали, что у меня сегодня гости?

— Я ведь любитель шастать по мастерским, — Гривцов таинственно улыбнулся, но, взглянув на пустой мольберт, обронил грустно: — А я думал, хвастаешься!

— Да чем же? — замялся Савел.

— Ну, коль так, извини, — сказал старик, — зайду потом. — Он пристально взглянул на Лобанова, узнал, подал руку. Взглянул на Ивана — они были незнакомы, спросил: — С кем имею честь?

Услышав фамилию, он промолчал и снова — к Савелу:

— Поди, обидели тебя мужики? У нас с тобой сердцато открытые, без защиты. А иное слово похлеще пули...

— Ипполитыч, я воробей стреляный. — Савел вдруг повеселел: внимание мастера пейзажа, каким был для него Гривцов, обрадовало.

— Поставь «Седые березы», — попросил Лобанов. — Ну, поставь же!

Гривцов насторожился:

— Значит, глядели?

Савел вытащил «лесной этюд», поставил на мольберт, отошел. Старик глянул, брови его взлетели на лоб, сказал:

— Дотошно пишешь, ох дотошно! Натура прилипает к твоим рукам. А краски думают и волнуются. Вы, кажется, не согласны? — неожиданно обратился он к Зимневу.

— Ах-ха-ха! — прогремел тот. — Писать, но не списывать же с природы!

Ему никто не ответил, и, пока художники рассматривали новые работы Векшина, Иван сидел сердитый, нахохлившийся и молчал. Странным ему все это казалось: березки, елочки. Ну, старик Гривцов, тот сроду чокнутый, а эти-то двое — фронтовики? И как могут они об этом забыть?

Едва ушел Гривцов, в дверь кто-то осторожно постучал. Вошел высокий, молодящийся мужчина в коротком заграничном пальто и кожаной шляпе с узкими полями. Лицо его было серьезно-почтительно. Крупные морщины на лбу

и щеках выдавали его возраст. Но мужчина все же выглядел молодцом.

Савел засуетился, стал обмахивать тряпкой стул, приглашая гостя сесть.

— Нет, нет, Савелий Матвеевич, я на минутку: дела, дела! Доложу: мне поручены контакты с художественной интеллигенцией. Вот! — И он вручил всем визитные карточки. На узкой твердой бумажке значилось: «Бураков Александр Иванович».

Савел ставил на мольберт один пейзаж за другим. Александр Иванович, не пожелавший раздеться в пыльной мастерской и лишь снявший шляпу, то и дело кивал головой, восторгался, а под конец сказал, что придут люди из соответствующего отдела и кое-что закупят.

— В Африке открывается много наших представительств. По себе знаю, как приятно видеть на стене кусочек Родины где-нибудь в далекой Нигерии или в Мавритании, — сказал Александр Иванович и откланялся.

После его исчезновения художники долго молчали. Скорее всех опомнился Иван.

— Пижон! — бросил он зло.

Лобанов задумчиво проговорил:

— А усекли: «кусочек Родины»? Это на самом деле надо пережить где-нибудь в джунглях.

— Загребут твои этюдики, похоронят на стенах-могилах, — продолжал Иван. — Зато зима у тебя обеспечена. Можешь поплевывать в потолок.

Савел усмехнулся:

— Плюй уж ты! А у меня...

— Что опять у тебя? Говори! — Лобанова всегда забавляло детское пристрастие Савела к маленьким тайнам.

Векшин сообщил:

— Договор! Еду в колхоз. Новый Дворец культуры. Сами понимаете...

— Да-а! — протянул Лобанов. — С договором как с женой: либо разводись, либо закабаляйся. — И позавидовал той легкости, с какой живет Савел.

4

Поезд увозил Векшина за Котлас, в республику Коми, где в деревне Нюр, в колхозе «Путь Ленина», его ждала работа. Он считал, что ему повезло. Дворец он распишет,

дело нехитрое, разве это первая его поездка? Он торопился, чтобы в дни запоздалой северной весны ухватить особенный свет утра над звонкими от ночного заморозка лугами, холодные тона пронзительно синего неба и под беспокойный шум прохладного предлетья всласть поработать над этюдами. Север он любил. Недаром объехал и Беломорье, и Вологодчину, и Карелию. А теперь вот он доехал до Нюра, большой, по-северному голой, без единого тополька деревни в излучине свинцово-серой реки, еще не улегшейся в берега. Железная дорога огибала излучину, как бы давая Савелу возможность сквозь серую муть дождя оглядеть Нюр с конца до конца. И он, оглядывая ее, видел, где складывалась новая сердцевина деревни — два двухэтажных кирпичных широкооконных здания школы, чуть поодаль — четыре пятиэтажки, поставленные вкривь и вкось, как и полагается при так называемой свободной застройке.

У крыльца двухэтажного деревянного здания стоял «газик» с мокрым от дождя брезентом. Председатель колхоза Андроник Викентьевич Попов отправлялся в дальние бригады и давал последние указания агроному, маленькой женщине в зеленой куртке на «молниях», когда подкатил грузовик, из кабины осторожно спустился однорукий человек в городском пальто, в приплюснутом на голове мокром берете.

В дороге у Векшина разболелась левая рука, та самая, которую еще в сорок третьем отсек осколок немецкого снаряда. Долго и мучительно отмирали нервные центры... Боль — с ней могла посоперничать разве что зубная — шла от плеча, которого не было, доходила до пальцев, которых тоже, конечно, не было. И то, что он благополучно добрался, не радовало его. Он невесело взглянул на стоящих у «газика» людей, принял от шофера чемодан, рюкзак и этюдник. Андроник Викентьевич тотчас догадался, что перед ним художник, которого он так ждал, но радость на его лице не вспыхнула, потому что он ждал, по крайней мере, человек трех, а явился один, и то увечный. А выражение лица такое, будто человек приехал не по своей воле. Савел тоже заметил безрадостное настроение председателя. На лице его, цвета темной меди, с крепким вздернутым носом, округлым приметным подбородком, было огорчение, маленькие глаза, отяжеленные мешками век, смотрели холодновато. «Какое прекрасное лицо, — вдруг восхитился Савел, — ужас!» Он уставился в лицо

председателя, зная, что это бестактно, но взгляда оторвать не мог. Странно, вдруг прошла боль, и Савел впервые за последние дни улыбнулся. Андроник Викентьевич тоже улыбнулся ответно, открыто, и синевшие глаза его потеплели.

По широкой деревянной лестнице они поднялись в контору. Андроник Викентьевич помог Векшину раздеться, укоряя его за то, что тот не послал телеграмму, встретили бы чин чином, машину на станцию пригнали.

— Да как я мог послать? — снимая берет, ответил Савел. — До последней минуты не был уверен, уеду ли, а в дороге загадывал: на какой станции сойти, чтобы обратно...

— Что же так? — удивился председатель. — Никакого у вас обязательства? Ну хотя бы перед собой.

— Перед собой — да. Есть обязательство. Но другое ведь тянет к себе, молит — не забывай нас!

— Кто? Дети? А может...

— Нет, и не женщины. Картины!.. Картины не отпускают. Если не дописал, они делаются несносны. Вечно напоминают о себе.

Почувствовав, что излишне пооткровенничал, Савел замкнулся, стал ходить вдоль стен, разглядывая гербарии культур, произрастающих на этой холодной северной земле, образцы почв в пробирках, диаграммы роста урожайности и доходов животноводства. Интересно, прочие доходы — лес, дары леса — дают не меньше всего остального. Андроник Викентьевич сидел за конторкой на вертящемся стуле, следил за художником. Ему хотелось поговорить о предстоящей работе его, найти с ним общий язык, но вон он какой обидчивый: вдруг на все пуговицы! Спросил, что для художника самое близкое из всех жанров.

— Пейзаж... — бросил Савел, оборачиваясь к председателю.

— А портрет? А графика?

— Нет, нет. Пейзаж!

— Да... — Андроник задумался. — Однако пейзажист, может, и лучше. Под Шишкина, под Левитана дворец распишете?

— Ни под Шишкина, ни под Левитана. Я вижу природу сам... А что, во дворце много работы? — заинтересовался он.

— Много. И музей. И кафе. — Андроник замолчал. —

Кафе уже расписано. Приезжали ребята из Москвы. Думал: пусть, молодежь лучше понимает, что для нее надо. А они на две стены разместили чудище. Лежачий Демон с жабрами и рыбьим хвостом. Голубой такой... Нет, не рассказать словами. Увидите... Мы положились на их вкус, а они, пока не закончили, нас в кафе не пускали. Разбойники.

— Разбойники! — подтвердил Савел. — Посмотрю, узнаю кто. Доберусь до них!

— А вы в традициях работаете? Да? Это нам подходит. Доверенностью Худфонда, надеюсь, запаслись? Теперь все в ваших руках, Савелий Матвеевич. Но учтите сроки! К седьмому ноября будущего года. Пятьдесят лет Октября. Надо!

— Надо... — повторил вслед за ним Векшин.

— А рука ваша единственная? Выдюжит?

— Единственная... ничего. А та, что похоронили под Смоленском, еще не отболела. Пальцы ломит...

— Пальцы?

— Да... Ну а насчет сроков... Как пойдет. И опять же объем.

— Посмотрим, все посмотрим. Отвезем вас в гостиницу. Пообедаете. Отдохнете. И я вам все покажу.

— Если можно, я огляжу сам.

— Дворец посмотрим вместе. Работы обговорим.

После того как Савелу показали Дворец культуры, его больше никто не тревожил, и он бродил по колхозному центру, охваченный противоречивыми чувствами. Нынешнюю деревню он не знал, вернее, знал, но не ту. Сестра его жила неподалеку от поселка Хвойный, на Псковщине. Ее деревня умирала. От нее, когда-то большой и богатой, оставался десяток домов. Здесь же совсем не то. Такую деревню он еще не видел. На фермах красно-пестрые коровы... Их бы на летний зеленый луг. Когда-то академик Яковлев написал «Колхозное стадо» — великолепная картина, что-то фламандское. Но Савел нашел бы свое.

Побывал он и в двух школах — средней и восьмилетней, они ничем не отличались от городских. Потолкался в спортивном зале, где шли тренировки — колхозные спортсмены готовились к республиканским соревнованиям. Тренер, девушка с мужской походкой и растрепанными белыми волосами, кивнув в сторону широкоплечего парня в голубом тренировочном костюме, сказала: «Бронзовая медаль первенства страны». Побродил художник и по ма-

шинному двору, забитому разной техникой. И пока он бродил с видом экскурсанта, в голове его беспрестанно боролись два желания: пожить здесь, сколько потребуется, сделать все, что просят, забыть недописанную картину «Солнце в березах», которая ждет, или пойти к Андронику с повинной, сдать такие удобные сапоги.

«Да, большие деньги могут отвалить, — прикидывал Савел. — Работы на год, не меньше. Чрезмерный задник для сцены. А сцена как в Большом театре. Для музея портреты первых председателей, Героев Социалистического Труда и нынешних ударников, героев Отечественной войны. Да еще знатные земляки — академик медицины, народный артист и поэт. Сделаю, потом три года спокойной работы в мастерской. — Но тут вспомнил блеск красного солнца в березах, глаза ослепли от света, нехорошо заныло под ложечкой. — К черту деньги! Домой, домой! Найдутся умельцы, за два месяца намалюют Андронику все, что скажет».

Утром, перед тем как отправиться к председателю с отказной, Савел зашел в кафе. Голубой демон нахально разлегся перед ним на двух стенах. Официантка принесла завтрак, поклонилась. Все тут относились к нему уважительно, все чего-то ждали. Это смущало Савела, особенно поклоны. Не доев, встал и начал ходить вдоль стен.

«Андрей Векшин», — вдруг попала подпись на картине. — Андрей, сын...»

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

В вагоне электрички Сергей встретился с Виконтом, Юрием Тестовым.

— Серж, уж не к нам ли? — спросил Виконт с хорошим французским прононсом.

— Вот чудило! — обрадовался Сергей. — Пожалуй, махну к вам. Два дня ездил в лавру. Как увижу ваш зоопарк с того берега, так сердце и кувыркнется.

— Зоопарк, значит? — перешел Виконт на русский. — Ну, ну! Жирафы с шеями-стрелами, слоны с хоботами?

— Ох, как точно! — засмеялся Сергей. Он вдруг понял,

что рад встрече, что Виконт что-то изменил в его мыслях, еще неизвестно что, но изменил.

— Что еще осталось неизображенным в лавре? — спросил Виконт. Они пробивались к выходу. — Люблю лавру. Но нам хватает одной встречи в год.

— У меня встречи — работа. Она требует постоянства.

— Картину задумал?

— Уже давно!

Они вышли из вагона. Юрий Тестов заговорил об увлечении художников историческими темами. Лобанов доказывал, что так было во все века, Виконт горячился: только современность дает имя художнику, да и писателю тоже.

— Золя, Мопассан, Бальзак писали о своих современниках.

— Сдаюсь! — засмеялся Лобанов, когда они вышли из вокзала. — Роден, Мане — тоже современность. Ты прав. Еду к вам в порт, к современникам. — Он наконец понял, что случилось с ним после встречи с Виконтом: не захотелось ехать в лавру, скучно стало. Значит, не созрела еще тема, не готов он к ней. Который раз откладывает «Выступление князя Дмитрия». Так когда-то он называл будущую картину. Заявлял ее как дипломную работу, но Полторанов отговорил: «Слишком сложно. Напишешь, когда созреешь. Эту тему портить нельзя». И вот он снова уходит от нее. Но что его ждет в порту? «Современность — это миг между прошлым и будущим. В прошлом найти черты будущего и изобразить их. Уж не это ли будет современность?» — так думал Лобанов, рассеянно слушая Виконта, рассказывающего о новой книге Роже Шатоне «Светлячки и пламя», которую ему недавно достали. Вот это современно! Рабочий класс. Реализм! А нынешнее французское искусство модернизма — это что... За окном автобуса мелькали старенькие дома, новостройки за высокими заборами, монтажные краны. А Лобанов все думал: «Как это увидеть будущее в прошлом? Как увидеть в войне? А в сегодняшней непременной встрече с Фомичом? А что же означает сегодняшнее, если его нет? Полторанов что-то путает, отрицая сегодняшнее». И спросил:

— А Фомич что, будет на работе?

— А как же! Поднял меня с постели. Я в вечернюю работал. Кричит: «Срочный груз, какого черта прохлаждаешься?» Ну, комик!

Виконт заторопился на причал. Лобанов остался один. С этюдником на ремне, он стал бродить по порту, наслаждаясь утренним оживлением. На реке кружил задымленный катерок. К причалу тяжело жалась огромная серая баржа. На ее приплюснутых надстройках крутились по-детски беззаботные ветряки. Вдоль бетонного причала, исполосованного нитями рельсов, вытянув шеи подъемных стрел и широко расставив прямые ноги, застыли портальные краны.

Услышав взволнованные голоса, Сергей пошел в ту сторону, не понимая, почему кричат и напряженно смотрят вверх люди. Тут на стреле одного из кранов увидел поднимающегося вверх человека. По тому, что движения его были осторожны и красивы, точно у рыси, догадался, что это была женщина. Сделав два-три шага вперед, она останавливалась, прижимаясь к ограждению. Лобанов, считая храбрость и страх нормальным состоянием человека, не мог понять, почему так волновались люди. Встал рядом с мужчиной в синем комбинезоне, сразу узнав в нем Федора Фомича.

— Фомич! — позвал он тихо. — Кто это там, на стреле?

Бригадир повернулся, и Лобанов увидел крупные серые от седины брови, обиженно приподнятые, толстые, добрые губы, скованные судорогой; они хотели улыбнуться, но не улыбнулись, будто одеревенели.

— Трос с блока слетел. Она убьет меня! Себя и меня убьет... Мария, что ты со мной делаешь?

— Понятно! — Лобанов снял с плеча ремень, поставил этюдник на асфальт. — А как это делается в нормальных условиях?

— С Луны свалился! — пробормотал Фомич. — Где они, нормальные-то? Срочный груз, а для нас радостная работа. Механика вызвал, да разве его дождешься?

— Скажи, чем ей помочь?

— Да чем поможешь? Выпороть только, да высоко, не достанешь.

Мария тем временем добралась до конца стрелы и встала на площадке. И хотя площадка была ограждена, работать на ней человеку без сноровки и специальной выучки было страшновато.

— А где же механик? — возмутился Лобанов. — Разве это дело женщин?

— Механик! — огрызнулся бригадир. — А ее кто про-

сил? Сидела бы, так нет, надо лезть. А если сорвется? — И Фомич снова запричитал своей скороговоркой: — Кто мог подумать, что ее черт понесет? А я, старый дурак, видел ведь, как она грейфер на землю кинула, троса высвободила. Мог же, мог догадаться, упредить! — Взяв себя в руки, бригадир скомандовал: — Марш по местам! Оградить опасную зону. — И, вскинув голову, крикнул в небо: — Слушай меня! Трос закусило или нет?

— Нет! — упало сверху.

— Тогда привяжись — и легонько ломиком. Прихватила ломик?

— Прихватила!

— Только не торопись! Поднимай его на блок. Постепенно, по шажочку. Слышишь?

— Слышу!

Вверху залязгал металл. Федор Фомич вздрагивал, втягивал шею, будто на него валились осколки камней.

— Мария, держись крепче! Не спеши, Мария!

Лобанов и Виконт отошли. Сергей вспомнил голубоглазую молодую женщину с тугой косой цвета спелого рыжика, с выгоревшими бровями на оливковом от солнца лице. Она всячески избегала встреч с ним, не желая ему позировать для дипломной работы.

— Она, — кивнул Виконт.

Мария не видела, что происходило внизу. Вцепившись левой рукой в скобу и крепко сжимая правой ломик, она плоским концом его старалась поддеть лоснящийся черной смазкой стальной трос, чуть-чуть приподнимала его, но он срывался и снова падал на прежнее место. В вытянутой руке не хватало силы просунуть ломик дальше, а подойти ближе к краю площадки она боялась. И все же она еще подвинулась и вновь подцепила ломиком. Рука немела от напряжения. Только бы не ослабли ноги.

Ломик лязгнул, и трос наконец лег в желобок блока.

И тут она взглянула вниз, на землю. В отдалении от крана стояли четверо. Она откинула в сторону ломик, услышала, как он жалобно звякнул о рельсы, и стала медленно спускаться.

Распрямившись и держась за ребристую кабину, Мария сделала, точно по льду, два последних скользящих шага и ухватилась за дверь кабины. Фомич испустил гортанный звук, и бледное лицо его медленно стало розоветь. Лобанов видел, как вначале вспыхнули выпуклые скулы, затем впалые щеки, и вот он уже как вареный рак.

— Что она со мной делает? Вы только посмотрите... — Толстые мокрые губы его расползлись, точно у пьяного. — Что ни день, то какой-нибудь фокус. И все на мою бедную голову, все на мою.

— Неблагородно! — Виконт скривил губы и саркастически прищурил беззлобные глаза.

— Хватит! — оборвал его Фомич. — Да, а ты что тут торчишь? Разве твоя смена?

— Тьфу! — сплюнул Виконт. — А кто поднял меня с постели, кто?

— Ах, да! Тогда что же ты тут? Вон кран — осмотри и подключайся.

Обиженный Виконт зашагал к крану, стоящему за поворотом.

— Хорош парень, да если бы больше на мужика походил, — сказал Фомич и махнул рукой.

— Что так? — удивился Лобанов.

— В свое время проворонил Марию, из-под носа увел Гришка, баламут страшенный. А с Юркой Тестовым, то есть с Виконтом, ей было бы в аккурат. Натура у нее самостоятельная, а разве Гришке покажешь ее?

И Фомич опять сбился на плаксивый тон, запричитал:

— Сколько бед из-за этой ее самостоятельности? В самый первый день, как она поднялась на верхотуру, чуть не загнала меня в гроб. Полезла баржу разгружать. Скорей, видишь ли, ей надо сделаться крановщицей. А кран не велосипед, у него габариты, груз на стреле. Десять тонн, а для нее все равно что игра. Разбила рулон бумаги. Финской! Ужом я изворачивался, чтоб на реку списать.

Лобанов спросил, можно ли ему подняться наверх, в кабину Марии.

— Валяй, ежели не турпет. Только, пожалуйста, Сергей, не отвлекай. Работа срочная.

Мария молча плакала. Он увидел, как руки, лежавшие на баранке подъема, дрожали, вытянутые длинные ноги напряжены, будто мышцы навсегда сжались и никогда уже не расслабятся. Она ответила на приветствие, быстро провела ладонью по лицу, повернулась и, строго глядя исподлобья мокро блестящими ярко-голубыми глазами, спросила:

— Я включаю лебедку...

— Все вышло, как надо. Зачем слезы?

— Как надо... — передразнила она. — Ноги свело, не могу достать педали... От страха.

Глаза ее высохли, в напряженных плечах и вытянутых к педалям ногах просыпалась уже уверенная сила. Лебедка напряженно зазвенела, троса легко заходили вверх-вниз. Все тело Марии теперь жило в резком нервном ритме. И когда кабина вслед за стрелой пошла влево, краны, здания складов, дальний берег реки и сама река поплыли назад и переметнулись в головокружительном броске, Лобанов увидел профиль Марии, упрямый уголок рта, малиновую мочку уха, в глазах ее отражался солнечный блеск воды. Под бетонным берегом краны быстро расклевывали баржу. Сергей вдруг почувствовал, как обостряется его зрение, а в груди болезненно холодит. Этот миг пробуждения в нем художника всегда был мучительным и радостным. Мучительным потому, что вынуждал его мгновенно перестраиваться, тогда как в нем непременно что-то сопротивлялось. И если он осилит это сопротивление, то к нему придет радость открытия. О радости он узнает потом, когда натура захватит его и он перестанет ощущать и время, и самого себя.

Странно, как он все увидел сейчас... И убегающий вправо и назад порт, и эту женщину с летающими руками и золотистыми завитками волос из-под бордовой косынки, и коричневые брюки, сильно натянутые на бедрах, и босоножки, в которых только бы ступать по речной белой гальке.

Вдруг кран стал. Мария оглянулась. Лицо художника было бледно, глаза как у сумасшедшего. Она усмехнулась: «Ну и морячок, без качки укачался, — и испугалась: — Трахнется с верхотуры...» И, открывая боковое стекло — пусть хватанет свежего воздуха! — сказала успокаивая:

— Это пройдет. Спускайтесь.

А он все смотрел и смотрел на нее не отрываясь и будто приближался к ней.

— Вы мне попозируете? Когда?

— Я занятый человек. Да и ни к чему все это...

— Портрет напишу, вам подарю. Смотреть станете.

— На себя? — удивилась она. Удивление ее прозвучало до того естественно и искренне, что он не нашелся что ответить.

У портала крана Лобанова встретил Федор Фомич.

— Что, спустила вниз головой?

— Как видишь...

Брови бригадира вскинулись на лоб.

— Присядь, покурим.

— Я ж не курю, Фомич. И ты об этом, кажется, знаешь?

Они присели на балку, дрожащую тяжелой железной дрожью.

— Знаю, знаю... Да ведь нонешний народ слабоват на выдержку. Бросают по три раза на день. А тебя не тянет...

— В сильном волнении.

— Ну вот! — Он облегченно вздохнул. — У меня всю жизнь сильное волнение. Бесполезно бросать...

Расставшись с бригадиром, Лобанов еще долго бродил между кранами с нераскрытым этюдником. Перед его глазами косо летели порт, краны, река — все, что неожиданно увидел он из кабины Марии Владычиной.

2

Сверху Мария каждый день видела Лобанова: то на корме баржи-самоходки, то он раскладывался со своим треножником прямо на пирсе, и Фомичу стоило немалого труда выдворить его из опасной зоны; то на портовом катере уходил на острова и днями пропадал там. Мария скоро привыкла к нему и теперь уже не пряталась. Какое он имеет к ней отношение? Правда, раньше она его побаивалась. Ей казалось, что узнает о ней что-то такое, чего не надо было ему знать!

Вместе с Виконтом она побывала на художественной выставке. Мария смотрела на картины, во множестве развешанные по стенам, и все они ей нравились. Но вскоре она стала проходить мимо одних, а перед другими останавливалась: к ним протягивалась от нее своя дорожка. Хмурый лес вокруг обрушенной землянки. Невеселая картина, а смотрится... Партизаны на поляне в телогрейках, с автоматами. Парнишка с ними. Обеспокоенный, должно быть, в разведку идет... А вот худая баба доит худую корову в ведро. В траве автомат. Раненый на телеге. Это понятно... Вот женщина в белом — то ли медсестра, то ли врач — полевые цветы к груди прижимает: васильки, колокольчики, луговые гвоздики. Эту картину Мария повесила бы у себя дома: светлая, радостная... Но от страшной картины Лобанова Мария убежала: матрос, все лицо в крови. Показался он похожим на ее погибшего батьку. Сколько раз он снился таким — с красной струей через

все лицо. Когда пришла в себя, удивилась: откуда художник все это знает? Где столько разных людей видел? И как угадывает, у кого какое лицо должно быть?

В тот день Лобанов утром приехал в порт. Мария видела: побродил между кранами и куда-то скрылся. И она забыла про него.

Вечером на профсоюзном собрании вручали премии. Получила премию и Мария. Обрадовалась. Какие-никакие, а деньги. Про себя укладывала: дочке Вике купит сарафанчик-раздуванчик, видела такие в детском магазине. Егорке — соломенный картузик: волосенки совсем выгорели, голова побаливает по вечерам. В тени бы играл, так нет, непременно на солнышко все, на солнышко. «Грише рубашку куплю», — подумала она о муже. И оттого, что она принесет всем подарки, на сердце стало приятно, и она улыбалась, выходя из порта. Толстушка Лена, сменщица, догнала ее, схватила за рукав платья, защипнула тело.

— Продай! — Голосок у Лены тоненький, детский.

— Ой! — ужаснулась Мария. — Синяк оставишь. Гриша...

— Больно ты о нем...

— Наживешь, тогда посмотрим.

— Не наживу, очень-то нужен. Да не спеши ты! Пойдем в «Космос».

— Что я там забыла?

— Премию обмывать... Фомич говорил...

Премии всегда «обмывали», такое уж правило.

У ворот порта в автобус сели. Промелькнул дом Марии на Портовом проезде, кинотеатр «Победа», кафе «Ярославна».

— Надумала? — Лена оживилась. — Молодец! — Но Мария вышла раньше, объяснила:

— Премия еще не уплыла, забегу в магазин.

Повезло: купила рубашку Грише, Вике — сарафанчик. Егорке-то как? Нет нигде соломенной кепочки.

Федор Фомич, как увидел ее, обрадовался, брови так и разъехались от удовольствия: садись за наш столик, зовет. Села Мария. Выпили — шумно стало. Глянув на часы, Мария ужаснулась: десять ровно! Дядя, захмелев, как всегда, стал выступать, речи произносить, а Виконт с девчонками танцевать пустился. И Марию пригласил дважды. Какой-то он не мужик, весь изошел танцами да вздохами, вроде сказать хочет: «Полюби меня!» «А кто лю-

бовь выпрашивает, дурачок?» — думала Мария, наблюдая, как танцует молодежь. Нехорошо на сердце, ох как нехорошо. Закралось в душу упрямое: не видела и не видит она жизни. Вся ее жизнь — дом, кран да продуктовые магазины. Она и веселиться разучилась.

У выхода ее ждал художник, испугалась: может, он мысли ее прочитал, что она удирать собралась? Но художник мыслей ее, видно, не читал, стоял хмурый.

— Что это вы, Мария, друзей покидаете?

— Муж, дети, — сказала она. — Без хозяйки дом сирота.

Художник идет рядом, молчит. Ей неловко и страшно с ним.

— А вы премии получаете? — спросила она, чтобы не молчать.

— Нет, у нас премии редки.

— А зарплату? Тоже нет? Как же без нее? Велика, мала ли, а все ж два раза в месяц. И охота так вот, наугад, жить?

Он тихо засмеялся. И скоро отстал, не сказав больше ни слова. Женским сердцем поняла Мария: нехорошо у мужика на душе... И сама забеспокоилась пуще, заторопилась домой.

Перед домом темно, деревья разрослись. А давно ли сажены? Остролистые клены, они бойко тянутся. Первый этаж закрыли начисто. Пока бежала до крылечка, вспомнила, как въезжали в новую квартиру. Стыдно теперь, какой жалкий скарб тащили за собой с брандвахты, где прожили три года. Квартиру дали ей, она заработала. Живут в доме портовики, каждый друг друга знает как облупленного. У Мавриных свет. Тень мелькнула на кухонной занавеске. Холодильник запором кляцнул, как рубильник на кране. Старый «ЗИЛ», а вот они с Гришей новый холодильник купили, не стреляет вот так-то. Откроешь и закроешь, как руку в воду опустишь и вынешь. У Шевчуков темные окна. Поссорились, наверно, и улеглись рано. Шевчуки — немирная семья. А они с Гришей — мирные. Еще их зовут — любящие...

Она звонила долго. Квартира отвечала тишиной. Егорушка и Вика — им хоть из пушки пали, не услышат, в дальней комнате спят. А Гриша? Где Гриша? Его нет дома? Она села у дверей на пустую корзину и, готовая заплакать, зажала лицо в ладони. Щеки горели. Стыдно-то как! Дети легли голодные. Обревелись, поди, пока уснули.

Постучала, потом все сильнее и сильнее. Вот и шаги, легкие, детские. Сонная Вика встретила мать.

— А папы еще нет.

— Как это нет?

— Ждал тебя, а потом встречать пошел.

Григорий пришел поздно, лег спать отдельно, на диван. Жена пыталась заговорить — отмолчался.

С того вечера что-то сломалось в любящей семье Владычиных... А недели через две в выходной день Григорий стал куда-то собираться. Мария заметила, встревожилась:

— С кем же я оставлю Егорку, Гриша? Садик не работает, знаешь.

— Взрослый парень. Осенью в школу... Ну, дела на заводе. Аврал. С планом дрянь.

— И мне на работу велено, я согласие дала. Фомич умрет от расстройства, если не выйду. Подменять некем.

— Что мне твой Фомич? Тоже мне власть. Какое у него право семейную женщину да еще с ребенком без выходного оставлять?

— Баржи стоят... Овощи для Москвы ранние.

— Баржи, баржи... Тебе-то что?

— Да ведь овощи... И ты обещал остаться. Ежели бы ты не сказал...

Григорий пожалел жену: и на самом деле замотанная с ребятами, а начальство с этим не считается. И что обещал остаться на выходной дома, тоже верно. Но как вспомнил невыносимый укор в глазах Лерочки, заводского экспедитора, вспомнил, как она с молчаливой готовностью отправляла на стройки щербатые плиты и ставила в накладной первый сорт и как он всегда обещал ей за это интересную рыбалку с ухой и жареными окуньками, так тошно ему сделалось, совестно. К тому же Лерочка явно не умела скрывать своих чувств к нему. Он-то видел, как преображалась, когда он появлялся в ее конторке: веселела сразу, куда девалась ее вечная угрюмость! Да и бабьи глаза-доносчики, разве сумеют они скрыть чувства?

Вчера, когда была отправлена большая партия бракованных плит, а строители что угодно примут, только бы не простаивать, Григорий, заместитель начальника крупнопанельного цеха, еще раз пообещал Лерочке рыбалку, и не позже, чем завтра. Отступить он не мог. Не мог, и все, если он еще не перестал уважать себя как мужчина. Он, конечно, признавался себе, что поступает гнусно, что Лерочка вовсе не волнует его как женщина, но ведь надо

же расплачиваться за добро, а чем с ней расплатишься? Рыбалкой? Как бы не так! Двадцатитрехлетняя разведенка, известно, чего она ждет от мужчины.

Да, жалко было Марию, строг он с ней. Но и как без строгости удержишь бабу в порядке? И ревность у него в последнее время законная, не придуманная ради чего-то: слишком много у Марии ухажывателей в порту. Да и художник этот — кусок мимо рта не пронесет.

А тут вот он сам сознательно идет на отступничество.

Бедная, бедная Мария... Как она изменилась сразу, как расстроилась, когда он стал собираться на рыбалку. Плечи опустились, как под грузом, и глаза без слез заплакали. Ну ее к черту, Лерочку!.. Отмахнулся было, но как вспомнил, что послезавтра опять пойдут нестандартные плиты и опять он к ней сунется, улыбаться станет, искать ее взгляд и набиваться с рыбалкой, так тошен сделался сам себе, что забыл про печальное лицо жены и, не позавтракав, выбежал из дома. «Сама виновата, — обозлился он. — На кой черт отвезла Вику в пионерлагерь?»

Встретив Леру за портовыми складами, там, где и уславливались, увидев ее обрадованно-глупую улыбку, он чуть не взвыл от той тоски, которая подкатила к сердцу...

Они сели в лодку и вышли на главный фарватер. Большая вода. Солнце. Старательная работа мотора. Легкий бег дюралевой лодки. Плавное движение — все это вдруг захватило их, как праздник.

3

Портовый катер высадил Лобанова на зеленом берегу за городом, неподалеку от шлюза. Река была здесь неузнаваемо широкой, чем-то напоминала лиман, но лишь там, где должно было угадываться море, изумрудно зеленели луга, забрызганные золотыми веснушками одуванчиков. Удивительно было утреннее солнце. Река мокро блестела, над берегом едва различимо колебался разогретый воздух. Пресный запах воды и горьковато-пряный запах травяного берега напоминали далекое детство, раздольные вятские луга с серебристыми кустами краснотала и треском невидимых стрекозиных крыльев в воздухе.

Катер развернулся и ушел, след на воде погас, и только там, далеко-далеко, где река делала крутой поворот, к

берегам еще тянулись упругие канаты волн и поверхность воды посередине казалась чуть прогнутой.

Бросив на траву зонт и этюдник, Лобанов лег на спину, подложив ладони под голову. Не хотелось ни о чем думать. Ни о том, что ты художник, ни о том, что тебе чего-то нужно от этой воды, травы, неба. Ни о том, что кто-то от тебя ждет открытий или хотя бы обыкновенного этюда. Может быть, первый раз он позавидовал тем, кто идет к природе просто так — насладиться, получить отдохновение. Или хотя бы вот так поваляться, бездумно и легко.

Он расслабленно лежал, глядя в небо, и думал, что скверно начавшийся день уже чем-то восполнил свою скупость к нему. Вода успокоила его, она всегда успокаивала, и он наслаждался тем редким состоянием души, когда ему ничего не надо было и от него ничего не требовалось.

Раздался стук мотора на воде. Лобанов, вслушавшись, определил марку: «Ветерок». Наверно, подвешен на какой-нибудь лодчонке... Скоро из-за мыса показалась дюралька с двумя пассажирами. Лодка ткнулась в песок, и мотор заглох. На берег спрыгнул рослый мужчина лет тридцати пяти, в темных очках, со светлой бородкой вокруг узкого лица. Он взял якорную цепь и пошел от воды. Лодка заскрипела по песку днищем, а стоявшая в ней женщина в джинсах и распахнутой на груди пестрой ковбойке, замахала руками и весело засмеялась.

Мужчина оглянулся и заметил Лобанова.

— Что тут собираетесь делать? — спросил бородатый.

— А что, я должен отчитываться? — взъерошился Лобанов.

— Да нет, я ничего, пожалуйста. Хотелось чувствовать себя посвободней.

— Я буду работать, — уже спокойнее сказал Лобанов, вглядываясь в лицо бородача.

Бородка у него светло-серая, легкая, точно дымок. Глаза тоже серые, быстро меняющие выражение. Людей с такими переменчивыми глазами Сергей знавал. Веселые и добрые минуту назад, они вдруг делались жестокими.

Рыбак налаживал спиннинг и говорил с женщиной о каких-то пустяках. Сочные красивые губы его в легком дыме бороды улыбались. И вообще они были нежны друг к другу. Похоже, недавно стали мужем и женой, а скорее всего любовники. У них все шло хорошо, и они были

веселы. Натянули палатку, развели костер, поставили варить похлебку в задымленном котелке. Лобанов поднялся и направился к мысу, где по колена в воде стоял бородач и размахивал спиннингом. Делал он это сноровисто. Художник долго наблюдал за ним, устанавливая свой треножник. Рыбак не обращал на него внимания. Не спрашивая разрешения, Лобанов стал рисовать его итальянским карандашом. За все время рыбак не оглянулся. И только тогда, когда женщина позвала его обедать, он покосился на лобановскую работу.

— Похоже! — кратко бросил он и зашагал к костерку.

Женщина не захотела, чтобы ее рисовали, но Лобанов и не думал делать это — женщина не заинтересовала его. Лицо мало выразительное. Он набросал ее карандашом по памяти, на всякий случай, и ушел к шлюзу.

Этюд «Пейзаж со шлюзом» он сделал маслом и сухопутной дорогой стал пробираться домой. И хотя ему давно было известно, что для художника не бывает лишних наблюдений, а стало быть, этюдов, эскизов, набросков, все же было стыдно случайной работы. Вот если бы Мария... И он вспомнил, как она плакала. Ему вдруг захотелось что-то сделать для нее.

Он шел, размахивая растрепанным зонтом, той спорой и вольной походкой, по которой легко узнается бывший моряк. С пологой возвышенности далеко стлались поля ржи и было видно, как бежали вслед уходящему свету дня нечеткие, размытые, то и дело гаснущие и вновь рождающиеся волны.

«Что же я ищу? Чего ловлю? — спросил он сам себя. — Почему Полторанов знает, кто он и чего хочет? Почему Судогдин нашел свою картину-портрет и плюет на всех, когда ему замечают, что он пишет только свою жену? А Векшин ловит солнечный свет и березы. Он знает, что никто так не напишет, как он, и ему больше ничего не надо, чтобы сказать все, что он хочет. Даже Зимнев, ведь неуч же, идет в искусство ощупью, но и он знает, что ему надо».

Лобанов сел в автобус. У самых дверей оказалось свободное место, и он, чтобы не мешать людям своим этюдником, устроился поудобнее. За окном мелькали деревни, освещенные закатным солнцем. Июньская сочная зелень деревьев золотилась, точно просвеченная насквозь.

«Свой образ... Это и есть своеобразие. Стожаров пишет север. Деревню, красивую своей старостью. Пластов со-

здал мужика времен первоначальной коллективизации и войны. Касаткин привел в живопись шахтеров. Петров-Водкин — людей революции. А у меня — «братишки», — подумал Лобанов и обрадовался такой стройности мысли, где, кажется, все было правильно.

Но разве после «Десанта на Мысхако» он сможет сразу же снова взяться за «братишек»? Его интуитивно всегда влекло, можно сказать, тащило, от картины к картине. Какое-то потрясение, случай, особенный человек вдруг вызывали в памяти цепочку связей, вначале с обрывами и пустотами вместо звеньев, но постепенно цепочка эта делалась все более цельной. Дремавшие наблюдения, мысли и чувства вдруг оживали, и, не спросясь, рождалось то, чего никто от него не ждал и даже он сам. Может быть, поэтому он не мог стать только маринистом или военным художником, только пейзажистом или портретистом, ведь он не давал себе заданий написать именно это. Чаще всего появление некой фигуры, соединяющей форму и цвет в определенную композицию, и делало для него картину. В каждой из них была жизнь, прежде всего он сам, детали природы, быта, характеры людей, то есть все то, что выразило бы его эстетическую концепцию. Выявленная в характере и состоянии главной фигуры — драматической, трагической, лирической или романтической, она, эта концепция, подчиняла себе все, в конце концов и главную фигуру своего носителя. Почему для этого иной раз требовался жанр или портрет, или пейзаж, Лобанов и сам не мог бы объяснить.

Вечером он отправился к Дороговым.

В годовщину смерти художника собрались родные и близкие. Лобанову грустно было за столом, когда вспоминали о покойном. Говорили о нем хорошо. Да, Дорогов боролся за реалистическое искусство и словом и кистью. Сергей помнил его выставки. Помнил и статьи друга, в которых он с болью и злостью писал об увлечении некоторых молодых и не очень молодых художников модернизмом. «Да что это вы, за дураков нас принимаете?» — восклицал он в последней своей статье.

— Не надо грустить, батенька! — услышал Сергей голос сидящего рядом писателя Старостина, много лет дружившего с Дороговым. Известный романист, драматург и публицист, он был красив и строен в свои шестьдесят с лишним лет. В свое время Дорогов познакомил с ним Сергея. — Хорошо, если о нас после крайней черты будут так

говорить, — вновь услышал Сергей спокойный глуховатый голос. — В какое-то время человек начинает понимать, что это ему небезразлично.

— Не думаю об этом, — сказал Лобанов.

— А моему поколению это уже по штату положено.

— В самих себе пока не разобрались...

— А хотите?

— Как же иначе!

— Что вы мое читали?

— Все.

— Приходите-ка ко мне. Я позвоню Виктору Федоровичу. Посидим. Вы, кажется, его ученик?

— Да. Но Полторанова нет дома. Он уехал в Прагу. Насчет своей персональной выставки.

— Вот как! Приходите один... Да, Дорогова Костю я любил. Искренний был человек. Искренность... Без нее, матушки, нет художника.

В гости к Максиму Петровичу Лобанов поехал не сразу. Раздумывал. Странный осадок остался в душе от разговора за поминальным столом. Он долго перебирал свои «запасники», чтобы пойти в гости не с пустыми руками, и наконец остановился на двух этюдах: «Селенга» и «Пейзаж со шлюзом».

И вот деревня Ольховатка, где жил писатель. Деревянный, покрашенный золотистой охрой дом, окруженный косматыми березами, был скромен, но живописен. Поначалу хозяин почему-то сдержанно встретил художника, насупленно хмурился. Не мог же он забыть, что приглашал? Но вскоре оживился, стал вспоминать, как Дорогов писал его дочку Верушу. «Хороший, крепкий портрет, — похвалил Максим Петрович. — Жаль, рано, ох рано умер Костя...»

Старостин, красивый, статный и подвижный, остро вглядывался в лицо Лобанова. Глаза у него ясные, спокойные, но какая-то всевидящая сила препятствовала сталкиваться с их взглядом. Этюд «Пейзаж со шлюзом» был поставлен на ступеньке резного деревянного крыльца. Хозяин стал показывать гостю диковинные, из разных стран, деревья и кустарники, завел его в маленькую оранжерею, где из горшков и ящиков топорщились уродливые и по-своему красивые кактусы. Когда они снова оказались у крыльца, хозяин остановился, взглянул на этюд и сказал:

— Спасибо, что принесли именно это. Подарок со значением.

Лобанов удивился: он не выбирал, это просто последняя его работа. «Спасибо, — еще раз повторил Максим Петрович. — Такие сооружения людям придется строить на всех реках». Лобанов удивился: «Зачем?» — «А чтобы не потерять их навсегда в земной толще. Сколько уже на нашей памяти мы потеряли ручьев и речек? А потом начнем терять большие реки. И жизнь, какая в них была, тоже потеряем...»

«Жизнь, какая в них была... — подумал Сергей. — От его прозорливости делается холодно».

Потом они пили чай на веранде, где в дубовых кадушках цвели какие-то лианы, на них, будто фонарики, светились белые цветы. Писатель то и дело поглядывал на них, как бы привлекая художника увидеть это заморское лесное чудо, но Лобанову цветы казались неправдоподобными, в них не было тепла. Он вглядывался в лицо хозяина, прикидывая, как бы он написал его портрет. Написал бы с кактусами. Стена с ячейками, в которых стоят горшки с кактусами, на фоне их — красивое, излучающее мягкий свет лицо писателя. И жалел, что не захватил этюдник или хотя бы альбом и карандаш. И вслух обругал себя за непредусмотрительность. Такое бывает редко: видится портрет почти в деталях! Сложное выражение лица. Он, кажется, понял его, недаром прочитал собрание сочинений. Вера в человека, в его разум, одинаковое понимание судьбы планеты и каждого в отдельности кактуса, которые за ним в ячейках, будто урны с прахом. И, волнуясь, рассказал о созревшем замысле.

— Разочарую я вас, молодой человек, — сказал писатель, отставляя пустую чашку. — Вам налить еще? Пожалуйста! — и стал наливать чай, сосредоточенно глядя на витую струйку кипятка, льющуюся из самовара. — Не люблю позировать.

— Почему же?

— Не нужно это! И вообще, как можно меньше шума вокруг себя. Излишний шум — сами вы его вызываете или те, кто возле вас, это все равно, — мешает быть трезвым в оценке себя и других. — Хозяин подлил заварки и подал Лобанову чашку.

— Да... Но это наверняка была бы лучшая моя работа! Она нужна, нужна мне сейчас!

Писатель улыбнулся:

— А что вы ищете, молодой человек? Что вас мучает? Когда я садился за любой из моих романов, я был уверен, что это будет лучший мой роман... Такова психология творчества. Так что же вас мучает? — Ясный и глубокий взгляд писателя остановился на лице Сергея. Лицо это, скуластое и крупное, привлекало. Оно было грубовато, но одухотворено беспокойной мыслью. Светло-карие глаза, диковато посверкивая белками, смотрели с неотступной решимостью. И вообще, художник крепко скроен — крутые широкие плечи, крепкая шея, лобастая голова. И все это как-то уживалось с его тонкой и глубоко интеллектуальной профессией.

Лобанов не притронулся больше к чашке с простенькими голубыми цветочками.

— Странное со мной случается, Максим Петрович, — сказал он, и на лице его появилась растерянность. — Как начинаю думать, так не могу взять в руки кисть. А если возьму, сам себе становлюсь противен. Вроде никогда не писал...

— Верьте в себя не переставая, и с вами этого не будет случаться. А что у вас на станке?

— Донской... — ответил Лобанов, пытаясь не забыть то, что сказал писатель насчет веры в себя. «Не переставая...» Неужели он всегда верил в себя?»

— Странно! Вас, художника современного, потянуло на историю?

— Я давно мучаюсь Донским.

— Не идет?

— Не идет.

— Что же? Откладываете раз за разом?

— Да. Берусь за что-нибудь свое.

— Ага! Свое, значит?

— За то, что «идет»... — сказал Лобанов и подумал: «Вот прицепился!»

— Не созрел, выходит, Донской. Да, батенька, его надо понять, поставить себя на его место. — Писатель поднялся, одернул жилет. По-молодому стройный, подтянутый. Встал и Лобанов. — Можно сказать, — продолжал писатель, — на развалинах национального духа он сотворил чудо, повернул общественную психологию к созиданию. Да, освободительная война — это вещь созидательная. И еще... Если бы вам удалось найти связь времен...

— В прошлом — будущее? По академику Полторанову?

— Ну, можно и так выразить. Протянуть ниточку из прошлого в наше время и еще дальше.

Лобанов задумался. Черт возьми, Виктор Федорович твердит то же самое. Это мудрствование бьет по рукам.

— Не вижу я этого, не могу представить... Как начну работать и увлекусь, забываю всякие теории. Да и сам Полторанов, я уверен, не думает об этом, когда пишет свои серебристые пейзажи. И вы, когда романы свои...

Писатель почему-то потрогал самовар, отдернул руку. Засмеялся — то ли тому, что по-детски обжегся, то ли тому, что уж очень наивен был стоящий перед ним художник.

— Конечно, не думаешь. Но зачем же трогать историю, если не учиться на ее примере? Художник пишет осмысленно. Хочет же он что-то сказать людям?

Лобанов обрадовался: это его убеждение! С несвойственной ему горячностью заговорил, что да, он хочет чем-то помочь людям, что-то рассказать им о жизни, о войне, о нынешних днях. Показать, где они ошибаются и почему.

— Что ж, — писатель погрустнел, взял в руки какую-то книгу, полистал. — Исправлять нравы общества? Это прекрасно! Федотовская мысль. Потому он и не забыт нами, его дальними потомками, что его вроде бы устарелый язык все еще будит что-то в нашей душе. Он не был иллюстратором жизни, он хотел вмешиваться в нее. Активно!

— Да, я хочу, чтобы люди стали лучше. И я люблю Федотова. Потому что... У него была страшная судьба.

— Сошел с ума? Что ж, человек судьбу не выбирает. Она выбирает его!

«Судьба выбирает его?» Опять мудрость! Это прожито или вычитано?» — Лобанов чувствовал, как устает от раздражения. Старостин разделывается с ним, как с мальчишкой. И позировать отказался тоже, мол, мальчишка, стоит ли доверять?

На веранду залетел шмель. Басовито гудя, облетел растение с белыми цветами, но ни одна из прекрасных белых чашечек не привлекла его внимания, и он с разлета ударился в стекло и будто завизжал от досады, а может быть, и боли. Писатель поспешно схватил со стола белую салфетку, подбежал к широкому окну, с осторожной умелостью захватил шмеля, который отчаянно и возмущенно гудел, вышел на крылечко и взмахнул салфеткой.

— Искусство долговечно и дальнобойно, — сказал он вдруг вне связи с этими маленькими событиями. — Оно бьет через века и эпохи. Я имею в виду искусство настоящее. И никто из художников, писателей, музыкантов не знает, долго ли он проживет. Я говорю о творчестве. Талант, батенька, талант! Если раздумья мешают вам, боритесь с ними работой.

«Боже мой, ему все ясно».

— А все же интереснее, когда для человека что-то не открыто, что-то нужно познать, понять суть вещей, связей...

Писатель понял его намек, задумался. Взгляд его был обращен к березам вокруг оранжереи. Густая листва трепетала под ветерком, переливалась на солнце. Казалось, он все еще провожает глазами своего шмеля.

— Человеку никогда не понять главного, — сказал писатель как будто откуда-то издалека. — Смысла своего существования. Не за тем же он стал человеком, чтобы уничтожить самого себя? Вот попробуйте думать об этом, когда возьмете в руки кисть.

Потом они ходили по зеленым лужайкам, узким тропкам, берегом речушки, заросшей осокой, и говорили о Полторанове, Сарьяне, Кончаловском, о гравюрах бельгийца Мазереля, который писателю нравится за его веру в человека, и скульптурах француза Майоля, чья любовь к красоте женского тела родила немало настоящих шедевров, картинах американца Уайеса, показавшего бесконечно доброе влияние природы на внутренний мир человека...

Когда они подошли к дому, Лобанов извинился, что отнял слишком много времени, извинился и за свой этюд, выглядевший жалким и случайным на золотистом от охры крыльце. Ему расхотелось показывать этюд «Селенга». Но он неосторожно взял папку, она раскрылась — и этюд упал на траву. На лужайке возле крыльца, будто на квадратном экране телевизора, густо и холодно заголубело небо над хмурой тайгой, над широким течением свинцовой взлохмаченной реки. Писатель живо присел на корточки.

— Что же она такая взлохмаченная? — спросил он. — Недовольна чем?

— Это я был недоволен, — проговорил художник угрюмо.

И Лобанов рассказал, что однажды уехал на Байкал —

не работалось, скучно было до чертиков, взял да и сел в поезд. Нанялся на стройку в Бурятии, на реке Селенге. Бетонщиком... Услышав о комбинате, Старостин оживился, стал расспрашивать.

— А стройка интересная. Увлекся. Душой отошел. На прощание написалось вот это...

Писатель поднял картинку, подал.

— Нет, нет, это вам! Если, конечно...

Но писатель сказал:

— По настроению, по мысли тут проглядывает картина, да, да! Походите вокруг. Такую возможность упускать совестно, Сережа! — Он впервые назвал его по имени. А Лобанову казалось, что тот и не знал, как его зовут.

Сергей, вдруг осмелевший, еще раз попросил писателя попозировать для портрета, но снова получил отказ.

— А не лучше ли нам, батенька, выбраться на выставку? — то ли спросил, то ли предложил он. — Мастеров поглядим. Я вам позвоню.

Сергей собирался в Радонеж, но предложение писателя льстило ему, и он согласился и прожил в городе три дня, ожидая звонка.

Они подошли к Пластову и тут задержались надолго. Писатель выставку смотрел быстро, иные картины проходил. На другие как бы взглядывал мимолетом. Говорили они мало, лишь обменивались отдельными репликами, но уже по ним можно было судить, что вернисаж ему нравился. У Пластова была выставлена лишь одна серия «Люди колхозной деревни», всего несколько картин, и писатель заметил:

— Да все его герои — люди деревни. Удивительное постоянство. Только так художник может познать жизнь. Изнутри. Он и сейчас в деревне?

— Да, в Прислонихе, на Волге.

— А река его не заманила. Не то, что Судогдина.

— А вы его знаете?

— Люблю.

— Миша родился в полевом краю, а вскормила его как художника Волга.

— Пластов и в родничке увидел большую воду. Какая чистота! И как глубоко задумалась эта милая девушка, глядя на струйку воды. Вода льется, льется через край, а она все думает.

— И все естественно, — сказал Лобанов. — Ни в композиции, ни в колорите — ни прибавить, ни убавить. Я мучаюсь, композиция дается трудно.

— А он что, не мучился, чтобы достичь этой простоты? Мысль выражена предельно лаконично. Это рассказ, это Чехов. А кого вы любите из писателей?

— Толстого, Льва.

— Одного?

— Почему же... Но его особенно...

Они подошли к картине «Ужин трактористов». Вечерний свет густо окрасил лица старшего, отрезающего ломоть от краюхи хлеба, мальчика, лежащего на траве, девочки в белом халате и белой косынке, наливающей из кувшина в блюдо синевато-белое молоко. Красноватая, всхолмленная пластами, пашня уходит к горизонту. Но Лобанов вспомнил другое полотно художника — «Жатва», очень близкое ему радостным золотистым колоритом, со стариком, так напоминающим его отца. Скромный сюжет, минимум красок, жестов, действия, а какая несгибаемая духовная и физическая сила в старике, какая мощь в ржаном урожайном поле. Странная получается штука: Лобанов никогда не смог бы довольствоваться жизнью одной деревни, писать ее все время, не смог бы иметь одно зрение на жизнь, его тянет открывать людей для них же, но то, что сделал Пластов, невольно подчиняло его, заставляло сожалеть, что все это он, Лобанов, по рождению деревенский человек, знает, видел, но почему-то прошел мимо и, наверно, никогда уже не вернется к нему. И спросил:

— А помните «Жатву», Максим Петрович?

— «Жатву»? Да, да, — подтвердил писатель. — Что-то репинское, но мягче, мягче. — И добавил: — Любит он русского человека, Пластов.

Они подошли к картине «Весна». Максим Петрович взглянул на нее, прищурившись, но тотчас отвернулся.

— У Толстого был любимый художник Николай Орлов, — начал он. — А почему он его любил? Потому, говорил Толстой, что предмет его картин — мой любимый предмет. Предмет этот — это русский народ, настоящий русский мужицкий народ... Да, мужицкий, значит, простой, — добавил Максим Петрович. Он опять взглянул на картину. В предбаннике, на золотистой соломе на корточках сидела молодая женщина с распущенными волосами.

Она повязывала на девчушке шаль. Взглянул и отвернулся.

— Толстой — для вас, Сережа, это не секрет — очень волновался, видя, как одна сторона искусства — техника, развивается куда быстрее, чем вторая сторона — содержание. Технике учат и научают, а содержанию, то есть умению художественно мыслить, научить трудно. Искренних сердцем, содержательных картин нет, говорил Лев Николаевич. Наши выставки и заграничные салоны тоже забиты или картинами, бьющими на внешний эффект, или пейзажами, портретами, бессмысленными жанрами или выдуманными историческими полотнами. Видите, как его заботило содержание искусства.

«Для чего он мне это говорит? — подумал Лобанов. — И почему у этой картины?»

А писатель, еще раз взглянув на картину, сказал:

— Хиленькая банька — прошлогодняя трава на крыше, а радость дала неудержную. Женщина так и светится вся. Ну а если бы он был равнодушным к чужому, пусть и маленькому счастью?

— Он не был бы художником...

Писатель слегка кивнул и пошел дальше. У картины «Мама» его кто-то отвлек, и Сергей один остался у полотна. Мимо него проходили люди, экскурсии, искусствоведы объясняли им картины. А Лобанов стоял и думал, как легко добился художник красочной гармонии. Излюбленные его тона: красный, алый, пунцовый сочетаются с молочно-белым телом матери и младенца. Такие радостные, ощутимо звонкие краски... Сергей еще походил по выставке, увидел Максима Петровича в группе знакомых художников, подошел. Они о чем-то спокойно говорили, но Сергей почувствовал, что не просто говорили, а спорили. Писатель заметил его, кивнул, как бы призывая принять участие, но Сергей сказал, что уходит, и попрощался.

— Мы скоро встретимся, Сережа! — сказал писатель.

Лобанов ушел с каким-то тревожным чувством в душе.

4

Все эти дни Сергей жил под впечатлением от встречи с Максимом Петровичем. «Человеку никогда не познать главного — смысла своего существования!» Непривычная

эта мысль делала все остальные ничтожно мелкими. Лина выхлопотала для него договор на два натюрморта, но взяться за них он не мог.

Он приехал в речной порт сделать рисунки для газеты — старый фронтовой друг журналист Жора Алферов просил «показать будни пятилетки». Рисовал, а думал о том, какой смысл существования людей, вот Федора Фомича, Марии, Виконта, да его самого, художника Лобанова? Думал о писателе Старостине, о Пластове, о Толстом.

Фомич на его вопрос поперхнулся, закашлялся, бросил сигарету, по ошибке закуренную с фильтра. Сказал с досадой, будто его отвлекли от очень важного:

— Смысл существования человека? В жизни, в самой жизни. Чтобы она была хорошей.

Вот тебе и вся философия!

Лобанов ездил в порт, рисовал портреты крановщиков, грузчиков, краны, баржи у причала. Втайне он ждал встречи с Марией, но Марии не было. Узнав, что она заболела, направился было к ней домой, но Фомич вспылил: «Ты что, ошалел? К замужней бабе? Да Гришка ноги тебе повыдергает!» Порт окончательно потерял для Лобанова интерес.

В тот вечер зашли они с Фомичом в ресторан «Космос», заказали пива. К пиву принесли раков, огромных, в ладонь каждый. Сидели, тянули пиво, слушали удары барабана, заглушавшего все другие звуки оркестра. Фомич жаловался на свою Дарьюшку: не велит якшаться с художником. Говорит, старый дурак, выхвалиться хочешь, через картины славу получить.

Сергей слушал его и не слушал, равнодушно и устало перекладывал и перекладывал на столе раков и уже видел что-то связное, какие-то пятна и что-то вокруг. «Смысл существования и вот эти раки и пиво...» — думал он отвлеченно.

Утром он уехал в Радонеж, на дачу. Хмель обвивал крыльцо, густой темной зеленью закрывал окно веранды. Лобанов дошел до поселка, купил на рынке раков.

— Сережа, ты это здорово придумал! — воскликнула Лина, входя в мастерскую и увидев на столе груду бледно-красных раков. — Но ты вроде не собирался на дачу? Что-то случилось?

— Ничего, — сказал он. — Рад, что ты приехала. Я начал натюрморт.

У него было сегодня хорошее настроение. Пресно, по-речному пахло еще не остывшими раками, кисть легко брала тонкие переходы от розовато-бледного брюшка к рыжему панцирю. Душа не сопротивлялась нелюбимой работе. Уже не заболел ли он натюрмортом?

Лина была в сером английском трикотажном костюме с черной отделкой по воротнику и рукавам, в черной шляпке. Все шло к ее белой красивой шее, бледному лицу, к ее рукам с длинными пальцами, к ее стройным ногам. В тридцать пять лет Лина приобрела ту красивую зрелость, которая существовала безотносительно к годам, и в женщину такую, как она, влюблялись одинаково пылко как юноши, так и старики. Она была все такая же желанная и нужная ему, как всегда, только в глазах ее, черных и больших, он уловил то ли скрытую растерянность, то ли разочарование. На двенадцать лет он старше ее, но какие они разные.

— Я привезла хорошие новости. Вот путевки в Гурзуф, в Дом творчества.

— Одобряю!

— И еще: «Мысхако» забрали, дружок мой... В музей морской славы. Теперь и деньжата...

— Подождем, а пока...

— А пока ты напишешь этих зверюг. — Она кивнула на груду раков. — А потом мы их съедим. Пиво не настоящее? Тогда я съезжу в магазин, достану.

— Да ну, что ты!

— А у меня отгул. Вчера сдали спектакль. Мое оформление прошло. Хотя эта баба из министерства, знаешь, патлатая, морщилась: не слишком ли смело для детского театра? Но ничего! Так я бегу. Не скучай. И побереги этих красных зверей.

Сергей не слышал, когда хлопнула дверь и ушла Лина, он снова был во власти работы и мог снова говорить с «красными зверями». «Ну, ну, звери, — обратился он к ним, — ясно, это плохо, когда я разговариваю с вами, мертвыми, но что поделать? Если бы вы были нужны живые, вы бы пожили еще сутки. Но никуда не денешься, искусство требует жертв, и не только от вас одних. Да, поверьте мне, так уж повелось издавна, натюрморт — по-французски — «мертвая натура». Голландцы, те, правда, назвали такие творения «тихой жизнью», а Иван Зимнев

все это перепутал и окрестил: «мертвая жизнь». Но это не меняет жанра. Натюрморт — это мертвое». — И тут Лобанов споткнулся. Вдруг вспомнился писатель Старостин, его глуховатая речь и слова: «Жизнь, какая в них была...» А вот раков в речках нет. Они не живут в грязной воде. Кусочка, нескладного, но красивого кусочка не стало. Он забыл о погибшей речной жизни, когда стал писать хмель.

Какие листья, куда прекраснее виноградных! Виноградные записаны с давних времен, а вот листья хмеля... Сколько яростной жизни в них!

Неожиданно за его спиной раздался голос Лины:

— А вот и пиво. Настоящее «Рижское». Это тебе, а это — мне. Так хочу пить! А тот рак на меня смотрит!

— Возьми всех. Они больше ни к чему.

— Нет, оставим до утра. Мне только одного. — Она помолчала. — Завтра обещался Вадим Николаевич. Он здесь, едет на юг в отпуск.

Барышев приехал утром. Был он в штатском: плащ, шляпа. Шел по узкой тропе, как по доске, брошенной вместо трапа.

— Вот и он! — сказала Лина, увидевшая в окно гостя, и глаза ее блеснули. Сергею нехорошо стало от этого блеска. Но руку он пожал ему крепко, как моряк моряку.

Все же Вадим был начинающим коллекционером, иначе не полез бы сразу к мольберту, не стал говорить, что вещица сразу понравилась ему и что он на этот раз не отстанет. Лобанову почему-то весело сделалось от его слов, и он в порыве редкой для него горячности сказал:

— Считайте, вещица ваша. Закончу — подарю...

Но Лина, покачав головой, осудила его:

— Ну что ты, Сережа, зачем? Подарок стеснит Вадима Николаевича.

— Как хочешь. Могу подарить тебе, а ты уж распорядись.

Потом они сидели за столиком, оплетенным хмелем, допивали вчерашнее пиво — у Лины оказалось еще три бутылки. А после обеда втроем поехали в город.

По дороге на электричку Лобанов заметил на кривой березе первые капли далекой осени: желтые листья будто вдруг выпорхнули откуда-то из середины кроны — старая береза рано теряла листву.

«Ах ты, Кривуха, Кривуха!» — подумал он, ощущая нехорошее томление.

В поезде жена незаметно подала ему свежую, несмятую сотенную.

— Вот! Остальное — на отпуск.

— Да как ты смела взять столько?

— Ничего, он богатый, да и в живописи, как ты видишь, знает толк... И раки твои — шедевр. Да, да! Лучше ты пока ничего не написал.

По дороге они говорили о Крыме, о предстоящем отдыхе.

«А что? Это недурно», — думал Сергей, хотя и не переносил праздных толп художников и ряды этюдников на берегу моря.

Но дома его ждала телеграмма от матери: «Отец болен. Наведайся».

Лина молча отложила телеграмму. Она оставалась внизу попрощаться с Вадимом Николаевичем и только что поднялась в квартиру оживленная. А тут нате-ка... Ушла в спальню. Скоро вернулась в широком нейлоновом полупрозрачном халате. Расстроенное лицо ее побледнело.

— Ну, что будем делать? Анюта у бабушки. Оставила записку.

— Делать буду я. А ты не связывай себя. — Он перечитывал телеграмму, ища в ней хоть что-то еще, кроме ясного смысла. Но три слова: «Отец болен. Наведайся» — больше ничего не открывали.

— Поедешь? Когда?

— Завтра.

— А я?

— Я же сказал...

— Что ты сердишься?

— Не сержусь. Разве ты в чем виновата?

— Я же вижу.

— Ну и хорошо, если видишь!

— Мне жаль тебя. Какая-то ерунда получается. Уж не первый год.

Он встал. Разговор был для него неприятен. Да, он не хотел ее ничем связывать, и это было правдой. Но то, что она думает сейчас только о Крыме и говорит ненужные слова только ради него, было ему неприятно.

— Ты злишься, считая, что я все это подстроила? С Вадимом Николаевичем...

— Лина, зачем ты это говоришь?

— Но ты думаешь, думаешь... Но Вадим мой друг. — Она присела к столу, положила на колени руки. Сергей заметил — пальцы ее вздрагивали. — Он для меня, ну, знаешь, как верная подруга. Я никогда не любила и не умела дружить с девчонками.

— Убеждаешь так, будто на самом деле между вами...

— Вот видишь, вот видишь!..

— Ну ладно, — сказал он примирительно. — Тебя что-то смущает, тогда поедем вместе к отцу. Если с отцом более-менее, махнем в Крым вместе, — предложил он. И, видя, что она молчит, он снова уступил: — Поезжай, не связывай со мной свой отпуск. Так получилось, никто из нас не виноват.

— Но ты винишь меня, что я еду в Крым?.. Винишь!

— Что ты еще хочешь? Ну что?

Утром он упаковал этюдник, уложил в рюкзак вещи, с которыми ездил на «дальние этюды», и ушел из дома. Уже из автомата на углу он позвонил дочери, ночевавшей у деда, сказал, что уезжает в Новоград. Ключ от дачи в условленном месте.

— Последи, — сказал он, — чтобы не трогали мои начатые холсты.

Он имел в виду Алика Ивушкина.

«Что за жизнь, — подумал он горестно, с трудом выбираясь из автомата со своим этюдником и рюкзаком, — почти не вижусь с дочерью... А что говорить о занятиях?»

5

Первая жена Векшина, Эвелина, ушла от него в сорок пятом вместе с сыном Андреем. Парень жил в нужде и вырос упрямым и злым. Еще в школе увлекся красками, рисовал фантастические картины. Парень не хотел принимать от отца никакой помощи, и друзья Векшина устроили его в бывшее Строгановское училище. Андрей вышел из его стен глубоко убежденным в том, что он откроет в искусстве нечто новое, которому принадлежит будущее. Пейзажи отца он не признавал — пустая трата времени. Уехал однажды в командировку на Север и там застрял где-то в районном центре, обзаведясь семьей.

И вот отец и сын вроде бы встретились — перед Савелом голубой Демон в две стены. Встреча обескуражила отца, он растерялся. Намерение записать безобразное чу-

дище сменилось раздумьями, его воинственность остывала с каждым днем. Кистью водила рука сына — хотелось понять, что он собирался сказать людям, не просто же играл в дурачка!

Демон при каждой встрече был разный, это все больше бросалось в глаза, заставляя думать, что рука, писавшая его, не так уж бесталанна. Но тут появился Андроник Викентьевич, который после завершения летних работ вспомнил о госте. Ему докладывали, что художник каждый день выходит на этюды, не пьет, по деревенским вдовушкам не шастает, в карты с мужиками не режется. Однако и дело с места не сдвинулось: в кафе как был демон, так и остался, ничего не прибавилось в музее, а о Дворце культуры и говорить нечего: даже эскизов до сих пор не показывал...

Председатель пригласил директора Дома культуры Ксению Георгиевну, молодящуюся женщину лет пятидесяти двух, которую он переманил к себе на работу из районного центра. Работой ее был доволен. За пять лет из ничего вырос колхозный ансамбль песни и пляски, известный теперь всей республике Коми. На смотре удостоен диплома первой степени. В прошлом году выступал за границей и нынче приглашен. Да если бы не Ксения Георгиевна, кто знает, может быть, до сих пор пробавлялись бы стареньким деревянным Домом культуры, не имели бы молодежного кафе. И вот она снова наседает: колхоз не может жить без Дворца спорта, без трамплина... Раздумывал председатель: жили же без спортивных секций и рекордов, что, мало еще колхозникам приходится руками работать? Не сразу, но согласился: не может колхоз без Дворца спорта и без трамплина, не та теперь молодежь. Это раньше обходились лаптой да городками...

И вот Ксения Георгиевна сидит у него в кабинете. Он неторопливо выговаривает ей, что она не доглядела за художником. Хитер, видно, мужичок. В прошлый раз с отказом приходил, но устыдился, договор подписал, обещал эскизы представить. Где они? Увезет, видать, мужичок этюды с собой, хвастаться станет и смеяться над провинциальными простофилями. Но Ксения Георгиевна начисто отклонила его слова. Укорила:

— Культурный ты человек, Андроник, институт кончал, сын у тебя доцент искусствоведения, и не где-нибудь, а в Ленинграде. А как ты рассуждаешь? Не торопится художник, значит, не халтурщик. А работает каж-

дый день — сама знаю, видела, с пустыми руками в гостиницу не возвращается. Что бы там ни было, все равно прибавка к искусству.

— Ну, ты повернула, Ксения. Умно! Ничего не скажешь.

— Талантливый человек. Вижу, мучается, ищет.

Преседатель минуту молчал.

— Повидаться с ним надо. Пусть покажет работы, устроим выставку. А может, и студию какую придумаем.

— Андроник, так это же мысль!

— Сразу две...

— Принимаю. Обе! И насчет выставки, и насчет студии. А с художником поговори как с другом. Скучный ходит. Может, ему домой надо или жену сюда пригласить? Человек один.

— Поговорю, — пообещал председатель.

Направляясь к председателю, Савел представлял, что его ждет. Выставит его Андроник и правильно сделает. Не за свое взялся. И голова какая-то пустая, ни одной толковой задумки. Вертятся обрывки, куски, детали, а целиком представить оформление сцены не может. Это и понятно: нет идеи. Придумал было написать для задника березовую рощу, но пустовато получалось, неинтересно. Работая над этюдами, он радовался той свободе, которую имел, уважительности Ксении Георгиевны, тому, как она тянулась к искусству, понимала его. Но все имеет свой конец. Занятый весенними работами председатель в конце концов должен был вспомнить о нем. Вспомнить и спросить. Надеялся отделаться войной с голубым Демоном, но и это теперь на кон не поставишь: стыдно заочно воевать с сыном.

Савел и сказал все это председателю, застав его в своем кабинете. Андроник Викентьевич выслушал его терпеливо, сказал:

— То, что вы не суете варианты скороспелых эскизов, это мне нравится.

Он заговорил о том, что народ интересуется большим искусством, а кто, как не настоящие художники, должен принести его в деревню? Чего греха таить, здесь, в глуши, знатоков днем с огнем поискать, вот и лезут всякие калымщики от искусства. И сынок ваш, о котором вы нашли желание сказать, того же, видать, поля ягода. Что ж, с сыновьями трудно воевать, но здесь-то война пойдет с пошлостью и нашей восприимчивостью к ней. Закрасите

Демона, никто и не вспомнит, а вот если бы вдруг исчезла «Тайная вечеря»? Какой в мире был бы переполох?

— Вы говорите о фреске в трапезной монастыря Санта-Мария делла Грацие в Милане? — спросил Савел и от неожиданного удовольствия сморщил курносый нос. — Солнечный, яркий пейзаж за окнами! — Савел вспомнил прежде всего пейзаж. — Там иной мир, радостный, прочный... — Савел заходил по кабинету, хлюпая сапогами, держа правую руку перед собой и двигая пальцами. Кажется, он мял свою левую, которой у него не было. — Там солнце, а тут за столом? Драма! Известный библейский сюжет. Двенадцать учеников Христа окружают его. А он только что сказал: один среди них — предатель. Кто? Лица всех взволнованы. Растерянность, мука! Равнодушия не может быть. А для каждой фигуры художник искал натуру. Ему нужна была правда жеста, правда мысли на лице, правда страсти, движения. Этого не придумаешь...

Савел замолчал, подумал вдруг: «А почему «Тайная вечеря» в трапезной?» И, теребя короткий нос, поторопился рассказать:

— Долго писал мастер. Настоятель монастыря ворчал несдержанно: ну, что вы еще копаетесь? Вроде все готово...

Да, вроде все готово, — отвечал мастер. — Все, кроме головы Иуды. Нужна модель. И если я не найду другой, я напишу Иуду с вас... — Савел тихо, про себя, засмеялся, вспомнив, как интересно об этом рассказывал академик живописи Яковлев. Тот любил и умел это рассказывать.

— Фреска сильно пострадала? Мне сын что-то рассказывал.

— Да. Во время войны с французами в монастыре стояла конница. В последнюю войну три стены трапезной разрушила бомба. Четвертая же, с фреской, осталась стоять как завороженная. Под открытым небом.

Андроник энергично вскочил со стула.

— Под открытым небом? Шедевр? Мировое достояние? Почему, однако, никто не догадался взять на учет в ООН, охранять всем миром?

— Трапезную восстановили. Фреску реставрировали, как могли. Сам видел. Я бывал в Италии.

— Добро, добро, если так. А то... Я деревню боюсь ломать. Деревянную, а боюсь. Новую строим — дома го-

родские видел? А такой-то уж не будет. Коньков резных не будет. Бахромы наличников не будет. Высоких крылечек с переходами... Да сеней, знаменитых русских сеней. Что вы мне скажете, товарищ художник? Ниточку-то нам нужно тянуть из прошлого или рвать ее? Вы посмотрели наш музей? Единственный в нашем крае!

— Может быть, он и единственный. Но только серый. Зайдешь — тоска, выйдешь — тоска! — Савел подошел к простенку, где висели гербарии. — Это и то интересней.

Андроник крутнулся на своем кресле, а руки его поднялись от стола, да так и повисли.

— Музей не дам! — твердо сказал он и недружелюбно взглянул на художника потемневшими глазами. — Нужен он нам. В школе ребята изучают историю колхоза. Отметки получают. На экзамены хожу. А тех, кто приезжает на жительство, перво-наперво направляю в музей. Пусть знают, что может холодная наша земля! — Андроник снова крутанулся на стуле, некрасивое лицо его сделалось озабоченным: — А какие у вас идеи? Насчет музея. Раз критикуете, значит, как-то по-своему представляете.

— Идеи? — рассеянно спросил Векшин. Его мучила мысль о неожиданно открытой связи «Тайной вечери» в трапезной монастыря с тем, зачем он приехал в далекий печорский колхоз. — Ах, идеи... — спохватился он. — Я взялся за кисть, чтобы радовать людей, — сказал художник, разглядывая гербарий на стене. — Радость — самое плодотворное состояние души.

— Музей, значит, радость?

— Да!

— А Дом культуры? Мы вложили в него — ох-хо-хо! Тоже для радости?

— Для радости, — твердо сказал Савел и отошел от стены.

— А воспитание? Где я буду людей воспитывать? Они работают в бригадах полеводов, рыбаков, лесорубов, на фермах, живут в колхозных поселках. Их пять, этих поселков. На работе встречаются доярки с доярками, трактористы — с трактористами, рыбаки — с рыбаками, то есть по профессиям. А где я коллектив должен делать? Где люди почувствуют, что они не одни, что их много? А во Дворце культуры — лицом к лицу. Для этого у меня нет другого места, кроме дворца. Зачем человек дол-

жен прийти сюда? Радоваться? — Андроник крутнулся со своим стулом.

— Радоваться! — упрямо подтвердил художник.

— Мелко плаваете, Савелий Матвеевич! В вашей радости нет философии. — Андроник Викентьевич вскочил, ноздри его широкого носа раздулись, зеленовато-чистые глаза потемнели.

— Есть! Я хочу согреть людей. Красотой нашей земли. Идея проста и ясна: продолжение обыкновенной жизни людей, как у монахов в трапезной «Тайная вечеря». Человек увидит себя через увеличительное стекло прекрасного. И пусть знает, как прекрасен он сам.

Андроник Викентьевич минуту молчал, потом расхохотался:

— Ну, хитер, мужик! Из каких: из вятских или псковских?

— Родители псковские. А по рождению я питерец.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

Село Красное, где родился Сергей Лобанов, стояло в пяти километрах от Новограда. С асфальтового шоссе по сторонам виднелись сочно зеленеющие плесы картофеля, белесые ячменные поля, серые кулиги ржи.

Время по-своему распорядилось селом. Церковь разобрали на кирпич для строительства гостиницы еще в тридцатые годы. Остались лишь два каменных поповских дома, в которых была открыта школа, и в ней учился Сергей и два брата постарше его, Семен и Петр, оба погибшие на войне. С востока к селу уже вплотную незаметно подполз город Нововятск — за оврагом белые пятиэтажки выстраивались вдоль шоссе, сверкали стеклянными стенами «Универсам» и кафе «Дорожное», а в повседневном обиходе — «Залей кручину». Сергей об этом услышал в автобусе, когда ехал от железнодорожной станции до села.

Отец лежал в летней горнице, называемой боковушкой. Еще от остановки автобуса на той стороне асфальта Сергей увидел в раскрытом окне на синей подушке желтовато-бледный большой лоб и всклокоченные белые волосы. Показалось, что отец уже неживой, мертвый, и, не

успев ни разглядеть дома своего, ни заметить происшедших вокруг перемен, Сергей бросился через шоссе, перепрыгнул дорожную канаву и побежал по крупному, незатоптанному подорожнику прямо к крыльцу, сорвал с плеч рюкзак, кинул на землю этюдник и одним махом — через все ступеньки — в сени, темные и низкие. Какой-то силуэт перед окошком. Мама! Оглянулась на стук ботинок, замерла, а лица не видно.

— Сережа?

— Я, мама, я. Что отец?

Всегда думаешь, что ничего не случится. А тут бледно-желтый лоб на подушке. Все! И зачем бы спешить, ведь ничего не поправишь, но таков уж человек.

— Живой, живой! — сказала шепотом мать. — Только что пытал: не пробегала ли почтальонша? И притих, вроде заснул. Легок, Сережа, на сборы. Да, ты всегда был подъемный...

— Мама, да ведь он... на подушке... Такой спокойно-умиротворенный. Живой таким не бывает и во сне.

— Подходила я, тоже засомневалась. А у него в носу волосинки шевелятся.

— Ну, раз шевелятся... — Сергей рассмеялся облегченно.

— Пойдем-ка в дом, а то разбудим.

— Вещички там бросил...

Мать проворно выбежала за сыном на крыльцо, озабоченно следя, как он забросил за спину рюкзак, поволок этюдник за длинный ремень. Стояла на крыльце и ждала, вся облитая утренним дрожащим солнцем, худенькая простоволосая старушка, одетая, несмотря на жаркую погоду, во фланелевую горчишного цвета кофту.

— А что с ним, мама? — Сергей бросил в сени вещи, сел на крыльце... Потянуло закурить. Сидел, мучаясь, и все же одолел себя, не послал мать за отцовыми сигаретами.

— Да что сказать, Сереж? Хворал по весне. Износился, говорил. В легких у него шибко хрипело. Наберет воздуха с охотой, а выпускает нехотя, будто жизнь свою. Ну, думала, со льдом и уйдет. А гляжу, выпрямился. «Обманул, — говорил, — безносую». На троицу в гости к свату Спире ездил, а оттуда привезли его совсем без надежды. Возвратное воспаление... В жару метался, горел, как свеча... А тут, видно, совсем затосковал и запросил тебя. Искололи его насквозь всего. А я его березовым со-

ком, запаслись с весны, медом да валерьяновым настоем пользовала. Спать стал. Вчера ночь спал, а сегодня вот и днем...

Мать притронулась рукой к плечу сына:

— Ты уж не сердись на него. Позвал, значит, чуяло сердце. Говорят, ее чуют, когда она под окошком...

— Кто же?

— Да смерть, Сережа. Смертушка.

— Ну что ты все о смерти!

— Ладно... Ты бы рассказал, как Лина, Нюрка.

Сергей сказал, что Лина уехала в отпуск, дочь перешла в восьмой. Красивая и уже совсем взрослая девочка. Не хотел расстраивать мать и потому умолчал о ссоре с Линой, а стал рассказывать о дочери, которая увлекается резьбой по кости, по де́реву. Он говорил, говорил, все поглядывая на раскрытое окно боковушки, втайне ожидая, что вот-вот высунется из него большелобая кудлатая голова отца. И замолчал в надежде, что ушел от неизбежности говорить о подробностях отношений с женой, и успокоенно взглянул на мать и почему-то сразу увидел ее ноги в теплых носках-самовязках и растоптанных, будто лапти, старых-престарых туфлях с латунными крючками, и ноги эти беспокойно шаркали по вытоптанной земле. И он сразу понял, что мать догадывается о том, чего он недоговорил, и ему сделалось стыдно перед ней, и сам себе он стал противен до чертиков. Он никогда не врал матери, даже в детстве. Но и сейчас, сейчас-то он ведь тоже не солгал ей, а лишь умолчал о ссоре с Линой. Сергей не мог взглянуть на мать, все смотрел на ее ветхие туфли. И вдруг они перестали шаркать, твердо стали на земле. Мать услышала кашель в боковушке.

2

— Что вы там шепчетесь? — услышал Сергей глухой, одышистый голос отца. — Помыслил, приснилось мне, а он весь тут, Сергуня... — Отец замолчал, говорить ему было тяжело... Сергей вошел в боковушку и за лучом золотистого света увидел лицо отца. Оно показалось розовым, а не землисто-желтым, каким он видел его недавно. Но стоило сыну пройти сквозь луч света, лицо отца стало прежним.

— Здорово, отец...

— Здорово...

— Привет тебе от моих и пожелание скорее поправиться.

— Да уж, — он тяжко задышал, будто набирался сил. Попросил: — Наклонись. Ну, не бойся, пониже.

Когда Сергей наклонился к самому его лицу, старик сказал:

— Ну вот, спасибо. Нагляделся теперь. Скучал так, хоть помирай. А теперь вроде отлегло.

— Устоишь, отец!

— Устою? Ну, еще раз спасибо...

Кровать была деревянная, с точеными ножками. Сергей помнил, как отец смастерил ее сам. Токарный станок до сих пор стоял в клети. В последние годы у старика уже не было сил приводить его в движение ножной педалью, и станок пылился.

Первые дни Сергей бегал по врачам. Те осматривали больного, выписывали лекарства, уходили. Мать складывала рецепты на божницу, а сама продолжала лечить своим снадобьем.

Говорить старику было трудно, одолевал кашель, а говорить ему хотелось. И потому, чтобы не вызывать у него новые приступы кашля, Сергей уходил из дома. Он отправлялся на реку, бродил по перелескам, спускался по глинистым осыпям к воде, на песчаные косы, зализанные волнами и ветром. Ни прошлого, ни будущего для него как бы не существовало, и он был один на один и независим ни от чего. Река была пустынна и тиха. Прижатая песками к крутому берегу, она сузилась и стала уж не такой пугающе широкой, какой была в его детстве. Странную расслабленность чувствовал он в душе рядом с рекой своего детства. Сколько раз рисовал и писал он эти крутые излучины и блеклые заречные дали. А цвет воды... Сколько положил он сил и упорства, чтобы «схватить» его. Бурая ранней весной, а сейчас голубая, а в солнечные дни лета прозрачно-синяя, в ней каждочасно, если не ежеминутно, что-то менялось, гаснул один оттенок и тихо, незаметно появлялся другой. Но ему больше всего нравилась река под грозовым небом, исполосованная размытыми зигзагами молний, поверху облитая жидким и дрожащим сиреневым светом, а в глубине — густо-синяя, тревожная. Река дала ему профессию, определила его пожизненную привязанность, воспитала характер. И будущий его успех, успех художника, он верил, принесет ему

она же, река. Принесет! И он снова писал свою реку. Писал и удивлялся, что находил в ней, в ее состоянии отзвук своих чувств, своего состояния, и никогда еще не ощущал такой слитности с ней.

Еще до революции в их городе стараниями художника Аполлинария Васнецова был открыт художественный музей. Основой его фондов стали работы крупных живописцев и скульпторов Архипова, Васнецова, Досекина, Коровина, Иванова, Милютина, Нестерова, Поленова, Коненкова. Для Сергея Лобанова в юности этот дом на улице Карла Маркса был второй школой. Часами он ходил от картины к картине, любуясь, как просвечиваются травинки в воде шишкинского лесного озера или от тона к тону меняется небо в картине «Ленин в Разливе» Рылова.

Утром он поехал в Новоград, в музей. Юность звала...

«И еще я любил тогда Врубеля. Его могучесть не давала покоя», — думал Сергей, с невольным волнением берясь за старую, так знакомую ему скобу тяжелых дверей. Когда-то он не мог дотянуться до скобы и ждал, пока кто-нибудь откроет, и тихо плакал, если долго никто не входил и не выходил. Сейчас он тоже остановился перед дверью, но уже по другой причине — было страшно войти в те залы, которыми когда-то бредил во сне и наяву. «Да, я люблю цвет, солнечный свет, им богат мир. Но почему все глохло у меня на холсте?» — подумал он и открыл дверь.

Знакомая площадка с протоптанным до белизны коричневым ковриком. Лестница на второй этаж. Ступени, точеные балясины перил. Вытер ноги и усмехнулся: строгая билетерша, горбунья тетя Нюша, так вымуштровала его, что он и в сухую погоду старательно тер подошвами о коврик. Сколько с тех пор протерто ковриков? Он взял поданный ему в окошечко билет. Сухие и длинные женские руки с темной кожей, как в перчатках, тянулись откуда-то снизу. Что-то толкнуло Лобанова заглянуть в окошечко. За столиком, едва возвышаясь над ним, сидела старушка. Годы высушили ее лицо, изрубили вначале, потом как бы зарубцевали. Тонкий нос, тонкие губы. Руки старушки быстро двигались по столу. И вдруг голубые чистые глаза взметнулись к окошку, и Лобанов узнал тетю Нюшу и обрадовался: все, как прежде, его встретила, как и прежде, эта старушка, она заставит вытереть ноги,

если он сам не вытрет. «Ну, узнай! Узнай! — молили глаза Лобанова. — Узнай!» Но старушка-горбунья его не узнала. Она вышла из будки, протянула длинную худую руку за билетом и, взглянув на его ботинки, показала дорогу в залы. Боясь утратить радость воспоминаний, Сергей спросил, делая шаг вверх и оглядываясь:

— Тетя Нюша, не узнала?

Старуха поджала губы.

— Сергуня? Ноги-то вытер?

Сергей засмеялся: встречен, как в родном доме.

— Закон — время идет, — погоревала тетя Нюша. — Сколь его убежало? Одно в песок, как вода, другое картинкой обернулось.

— А вы все такая же.

— Не ври, Сергуня, не ври. Врать нехорошо, а старым в глаза — подавно. Ну что? Сам будешь глядеть или показать тебе? Я училась этому делу, так что не стесняйся.

— Один похожу... Если что, подойду, расскажете...

Сергей стал подниматься по лестнице, старуха не отставала.

— А кто ваш любимый художник, если не секрет? — спросил Сергей, чтобы не обидеть старуху молчанием.

Тете Нюше польстил вопрос, и она благодарно взглянула на него.

— Дак ведь все он же, — сказала загадочно, как говорят девушки о своих возлюбленных.

— Софрон Потехилов? — восхитился Сергей постоянством тети Нюши. В те далекие довоенные времена горбунья, все это знали, была влюблена в размашистого и веселого мужика, рядившегося под Шишкина: носил он высокие сапоги, длинную рубаху, перетянутую крученым шелковым поясом, шляпу с загнутыми с боков широкими полями. Иной раз при виде его она падала в обморок. Он сам приводил ее в чувство и угощал конфетами, как маленькую.

— Софрон, Софрон, — закивала старушка, и на ее сухом, коричневом лице задвигались от улыбки морщины. — Бед-то он перенес...

Они вошли в зал, где было представлено творчество местных художников, и старушка направилась к стене напротив, на которой Сергей увидел знакомые работы Потехилова: таежные северные леса, сосновые раменья юга области, березовые перелески ее средней полосы.

— От истока, маленького ручеечка, — начала напевно

тетя Нюша, — до самого широкого устья берегом прошел, водой проплыл Софрон реку нашу родную, светлую нашу красавицу. Песни ей спел свои разные, да складные такие. Песня первая «Мох болотный». А из-под мха чистая вода блюдцем блестит. И блюдцев таких не одно, не два, а цепь. И вот перепоночки меж блюдцами полопались, ручеек образовался. Так родилась наша Вятка-матушка...

— Тетя Нюша, да ведь это просто прелесть! А о картинах вы как говорите?

— Как положено... — вроде даже обиделась горбунья. — Колорит, значит, темный. Глухое место, таежное. А там лоскуток небес — это предсказание как бы счастливого пути новорожденной речке. Значит, путь ей будет широкий да обильный водой.

— Так и говорите?

— Так и говорю... И еще это самое... композьицыя... Ну, первый план, видишь, в этой картине, говорят, легковат, а я считаю — нет. Ручеек-то, он как бы свет излучает. А второй план... Там что? Топь! Неужто ее светлить?

Старушка вздохнула.

— Старого Софрона Данилыча я понимаю. Но вот нового!

— Нового? — удивился Сергей. — Какой же еще новый? Софрон Потехилов?

— Паралик его расшиб после контузьи на войне. Думали, конец его песням. А он встал. Только левой рукой теперь... И в голове у него что-то получилось, цвета он видит вроде неземные, не натуральные. Да погляди, поди, и ты не поверишь.

Они подошли к картине, написанной в странной оранжевой гамме. Бесплотные темно-оранжевые люди движутся в светло-оранжевом мире под густо-оранжевым солнцем. Деревья без теней. Тени без деревьев. Таким он видит мир...

Он намеревался спросить о своей картине, но удержался. Когда-то картина висела в простенке, была плохо освещена, но залитые солнцем плоты и без того видны. Теперь в простенке висела другая картина — дымящие трубы заречной слободы.

— А твою картинку мы в закрома. — Так тетя Нюша называла запасники. — А зря. Наша картинка.

Она прошла в соседний зал с двумя посетительницами,

решительно ступая и откинув назад сухую голову без единой сединки в черных волосах. Сергей еще постоял у последней картины Потехилова и подумал, что поразила его героическая попытка Потехилова отстоять свою первородность. Сложная судьба бывших фронтовиков, одолевающих свои недуги, чтобы крепко стоять в искусстве. Иначе нельзя. Инвалидов признают везде, кроме искусства. Да, кроме искусства. Зрителю нет дела до биографии. Он встречается с талантом. У Софрона Потехилова — чудовищное, как военный подвиг, напряжение всех сил.

Сергей остановился у картины «Берег Вятки осенью» Василия Менькова. Раньше он был от нее без ума. Но что это? Копия кусочка природы? Вспомнил слова Савелия Векшина: «Природа? Сама она равнодушна, как ни странно. И только художник одухотворяет ее, пропустив через свой ум и сердце...» Головастый, тонкий Савелий, они разве не знают про тебя здесь? Разве у нас не было Ивана Шишкина? А вот это полотно: «Атака танков». Написано размашисто, но мысли нет, и все, что так старательно выписал художник Степан Смоховников (Сергей впервые встретил эту фамилию), все детали — просто сваленный в кучу хлам. Они умерли, задохнувшись от бессмыслия. И тут вспомнил Максима Петровича, говорившего ему о Льве Толстом, так переживавшем отсутствие мыслящих художников.

В зал вошли тетя Нюша и двое ее подопечных. Старушка подошла к Сергею, заглянула в его лицо, запрокинув голову, и Лобанов тотчас увидел ее на белом листе своего альбома. Какие у горбуний бывают мудрые глаза!

— Не горюй, Сергуня. Картинку твою найдем, о месте похлопочу, не обижайся на нас, хотя тесно теперь, как, скажи, на кладбище. Потери и при молотьбе бывают, куда ни то хорошее зернышко закатится, но и то взойдет. Так что картинка твоя еще вынырнет.

— Верите в меня?

— Верю, Сергуня. Верующий никогда не замешкается шапку снять, ежели порог храма переступил. А ежели художник коренной, дак он не войдет в свой храм, не отряхнув пыль со своих ног. А ты не забыл. Я все примечаю, Сергунь, глаз у меня допытливый.

— Разрешите я вас нарисую... Вот сейчас... Карандашом...

— Поздно уж, Сергуня, поздно. Раньше меня не рисо-

вали, чую, стеснялись обидеть. Теперь мне ни к чему. Так уж закон-время велит...

— Почему велит?

— Не люблю горбуний на картинах. По этой причине Илью Ефимовича не уважаю. Жалость-то зачем возбуждать?

Медленно, в раздумчивости ушел он в соседний зал. Перед ним были картины старых, любимых мастеров. Вот Нестеров... «Девушка-нижегородка», один из этюдов к знаменитой картине «Христова невеста». А вот пейзаж Аполлинария Васнецова. Как все обстоятельно и открыто, интимно, будто сам видел и пережил этот кусочек природы. А какое разнообразие линий, какая естественная, простая композиция... Картина радовала глаза, волновала сердце, но вот другая... В ней Россия разгулялась как в великий праздник. Ширь и глубина, леса дремучие, холмы до облаков. А реки... реки набухли водой, как груди кормящей матери. Здесь не уголок природы, а обобщенный ее образ. Это картина, это мысль. Сергей стоял потрясенный. Та же манера, те же краски, что и в первой, но почему холодок течет по спине, когда смотришь? От всей этой могучести? От громадной, как небо, мысли?

«За этюдами молодеешь. Не правда ли? Особенно когда на природе и когда природа красива. Словно встретился с любимой девушкой...» — пришли на память слова Аполлинария Васнецова. Это, кажется, из письма Рылову. Да, да, именно! Земляки были друзьями. А вот и Рылов. Синевато-белая, вздыбленная Нева, которой тесно в берегах. И еще: «Ленин в Разливе»... Грозовая заря во все небо. Мятежная непокорность в колорите. Лобанов больше всего любил у своего знаменитого земляка картину «В голубом просторе». По чистоте и прозрачности воздуха, сильно переданного свежего ветра, какой-то сказочной волшебности моря, былинности и в то же время живой нежности и теплоты гордых птиц Лобанов ничего подобного не знал в мировой живописи. Чья-то догадка или это замысел автора: летящие лебеди должны смотреться как символ революции — картина была написана в восемнадцатом году. Да, это так и есть. Холодновато-прозрачная, она, эта картина, полна ожидания, счастья близкого гнезда, радости парования и продолжения жизни. Лобанов долго стоял перед Рыловым и Васнецовым, уходил, снова возвращался — ничего другого смотреть не мог, пока не настроился на другую тональность.

Неслышно подходила к нему тетя Нюша, о чем-то спрашивала, но Лобанов будто оглох. Что-то утраченное им вдруг возвращалось к нему, не спросясь, болезненно, тяжело. Это снова звала его природа, увиденная гениальным умом и сердцем другого, близкого ему художника. Природа, свое чувство и высеченная этим мысль... Где тут вчерашнее, сегодняшнее, завтрашнее? И думал ли художник о смысле существования? И думал ли о бессмертии своего детища? Что же в ней вечного? Красота вечна?

И все же тетя Нюша подошла к нему, отвлекла от любимых художников.

— Сергуня, — сказала старушка, — поглядишь свою-то? В закромах пошарим.

Лобанов кивнул, и они по узкой скрипучей лестнице поднялись в мезонин. Тут было тесно. Столы и витрины забиты работами прикладников. Бросались в глаза коллекции старой дымковской игрушки, резьба по капу, изделия народных умельцев. Слева — стеллажи. Холсты в рамах, на подрамниках.

Цепкие пальцы тети Нюши схватились за простенькую некрашеную раму.

— Это Михайло Демидов. Земляк! Почти забыли о нем. А он? Погляди вот! Любил рисовать своих учеников. Это его ученица Казанская. Личико как написано!

Разглядывая великолепный поясной портрет молодой женщины, Лобанов думал о том, что ученики — это ведь то же самое, что и картины. В них живет талант учителя. «А у меня нет учеников», — подумал он. Тетя Нюша между тем вытаскивала все новые полотна. Алексей Исупов, тоже земляк. Умер в Италии. Жена прислала работы. И вот монография на итальянском. Тетя Нюша полистала, остановилась на странице.

— Вот тут подчеркнуто: работы его висели рядом с великими полотнами Леонардо. Рядом, Сергуня! И почитался он там. — Тетя Нюша захлопнула книгу. — Вот погляди. Это он писал на родине. «Северный пейзаж». «Крестьянин с телегой». А это его ташкентские пейзажи. А это из итальянской жизни. Действительно... — У старухи не было слов, и верно — словами тут ничего нельзя было выразить. Лобанов смотрел одну за другой расставленные на полу вдоль стеллажа картины. Все были написаны в высшей степени талантливо. «Женщина с подносом». «Черные чулки». «Жена в мехах»... «Обнаженная». Романтичное и чистое, почти неземное. Лоба-

нову вдруг сделалось нехорошо. Женщина так походила на Лину...

— В войну Исупов помогал итальянским партизанам. Вот... Пойдем посмотрим твою-то, — позвала тетя Нюша.

— А ну ее! — Лобанов махнул рукой. И заторопился, побежал вниз. Но с половины лестницы, остановившись и обернувшись, крикнул: — Зачем под запором, а не на стенах, а? Зачем? Столько у нас всего!

— Куда повесишь? Разве что с другой стороны стен... — услышал он голос старухи.

И он опять еще издали увидел отца в раскрытом окне боковушки. Он то ли сидел перед окном, то ли стоял на коленях, высунувшись на улицу. Высокий лоб его не отливал желтизной, а золотился в закатных лучах солнца. Ветер взлохматил белые волосы, сбил на сторону бороду.

Отец стал поправляться. За три дня Сергей написал его портрет. Седобородый старик в белой рубахе с распахнутым воротом стоял на деревянном простеньком крыльце, держась за поручни дрожащими от усталости, напряженными руками. Ветер разметал седые волосы вокруг высокого лба, раздул подол незапоясанной рубахи, белыми парусами взбил широкие рукава на худых руках. Он стоял на крыльце боком, спиной повернувшись к чистому голубоватому, напряженному до звона небу, к напряженной от ветра реке и напряженному заречному лесу, будто поднимающемуся на цыпочки.

Однажды утром Сергей, наточив нож, отправился на речку Хлыновку.

— Ящик не забудь, — предупредил отец, заметив, что сын впервые уходит на реку без этюдника.

— Раков наловлю.

— Мать, дай корзину! — распорядился старик.

— Не надо. Сам сплету... — Когда-то Сергей умел плести корзины из прутьев краснотала, морды для ловли рыбы, оплетал крынки, чтобы легче было обед в поле носить в страдную пору. До сих пор стоят эти уже ненужные крынки.

Речка прибегала к городу с юго-запада. Она текла между холмов, по луговой пойме, обходя поля, раскипувшиеся на пригорках, извилистый путь ее был отмечен зарослями бегучего краснотала и кудрявой ольхи. Сергей сел в автобус и вышел в знакомой когда-то деревеньке, окру-

женной теперь частоколом садовых участков. Маленький пруд зарос осокой. Одинокая чайка, залетевшая с Вятки, сиротливо белела на пыльной дороге. Луга были вытоптаны скотом до черноты. Тальник под корень выщипан коровами. Кое-где еще сохранились глубокие бочаги, но раков в реке не было. Сидя на голом берегу, испятнанном засохшими и свежими коровьими лепехами, Сергей впервые ощутил, как точны слова писателя Старостина: «И все, что в ней было...»

— Не нашел, — сказал он, вернувшись домой.

Узнав, в чем дело, мать поворчала на старика:

— Аль не знаешь, неживая она, Хлыновица-то. На Быстрицу надо, та еще в поре.

А до Быстрицы полсотни километров...

Утром Сергей уехал в Москву.

3

Всю дорогу Лобанов думал о будущей картине. Пожалуй, никогда еще не было у него такой ясности замысла.

Ни жены, ни дочери он не застал дома. Позвонил. Теща сообщила, что Лина еще в Крыму, Анюта уехала с дедом в Ленинград на открытие выставки художников Севера. Он ни о чем не стал расспрашивать — отношения с тещей с самого начала оставались натянутыми.

Несколько дней он толкался в Правлении художников. Здесь вовсю шли разговоры о выставке «Советская Россия». Секретарь парткома, бывший однокашник Лобанова по институту Олег Чистов, долго не отпускал его. Попросил подготовить к выставке одного-двух молодых живописцев, потом спросил:

— А что сам приволокешь?

— Приволоку, — пообещал Лобанов и подумал о своем новом замысле. Что ж, время еще есть...

В тот же вечер он заторопился в Радонеж.

Тишина леса ему казалась осязаемой, как цвет. Он мог бы изобразить ее прозрачно-голубой, невесомой. Голубое заполняло все пространство между темных елей — от земли до шпилей вершин. А там, где падал косой луч света, тишина уплотнялась и начинала тонко-тонко звенеть. Он мог бы изобразить тишину поля и, может быть,

моря, но над дачными улицами тишина разрушалась. Мир здесь был слишком разноцветным, и сами краски создавали шум. Как подступиться к осенней тишине над человеческим жильем? Ранняя осень, мало красок. В палой листве тишина уставшей земли...

В его мастерской стало светлее — длинные плети хмеля срезал сторож Павел Кузьмич. Он каждый год их срезает, бережно обирая горько пахнущие шишки. Зачем они ему, Лобанов не знал. Пиво, что ли, варит?

«От раздумий лечись работой», — вспомнил он слова Максима Петровича. И, не заметив беспорядка на даче, стал натягивать грунтованный холст на подрамник. Натянул, поставил на мольберт.

Картина компоновалась. Взлохмаченная река. Тревогой и холодом несет от нее. Но это фон. В него должен войти тот рыбачок с дымчатой бородкой, которого он весной встретил на реке у шлюза. Конечно, он не с удочкой, а с толом. Только что прозвучал взрыв. На воде, будто воронки от бомб, круги от опавшей воды. Он стоит в воде. Резиновые сапоги до самой его тощей задницы. Между вдавленными висками черные провалы глаз. Нет, не светлая борода, а рыжая, темно-рыжая. На переднем плане машина, «газик» с брезентовым верхом. И каменистая дорога уходит от реки на зрителя. Каменистая, поросшая травой. Белые камни в траве... А на воде белые слитки оглушенной рыбы. Крупные и россыпь — молодь. Все погибло. «Жизнь, какая в ней, реке, была...»

За день первоначальной осторожной работы картина почти сложилась. Лобанов бросил кисть, когда на макушках сосен играли красные отблески вечерней зари. Под тусклой электрической лампой пожухли краски, будто их присыпали пеплом. Он вышел из хижины. Где-то далеко за лесом падало солнце, а вокруг домика жалась сырая тень. И только отблеск луча от чердачного окна упал на мокрые блестящие листья белой сирени. От цветов не осталось и памяти, но листва все еще была сочна. Лобанов вернулся в мастерскую, бросил взгляд на полотно: вот чего не хватает на переднем плане — кустов волчьей ягоды, солнечных бликов на листьях. Непременное состояние тревоги. Дальний лес в лучах солнца туманен, расплывчаты, неясны дали. И слева, где тень, темен сырой берег. Зайчик от реки на крыше «газика». И человек в высоких охотничьих сапогах, и белая рыба на черной омертвевшей реке, и белые пакеты от взрывчатки. Белая

рыбина в одной руке. Наклонившись, он ловит другой рукой в воде. Белая рыба... И глаза у него белые, а не черные провалы. Именно белые глаза.

Он еще поработал над картиной, потом отошел, снова взглянул на полотно и, потянувшись, чувствуя, как отмякло в груди, стал снимать халат, радужный от разноцветных пятен. Движения стали вялыми и медленными.

Долго мыл руки. Перед ним в зеркале качалось обросшее чужое лицо. И чем он больше успокаивался, намыливая руки, тем лицо делалось бледнее, как бы расплывалось в белом квадрате стекла.

Добежал до реки, разделся. Холодная вода разогрела тело, взбодрила. Торопливо бежал в гору, будто на даче ждала его Лина. Но в хижине и вокруг нее было пусто и тихо. На веранде «Рыбачок» изнывал от невнимания к нему и от собственного безделья. Художник еще не вдохнул в него жизнь, и теперь нестерпимо больно было смотреть, как тот ждал чуда оживления. Но Лобанова не потянуло к кисти — добавить он ничего не мог. «Ну, что, друг мой, — обратился он к «Рыбачку». — Назову-ка я тебя «Браконьером». Проще это и яснее. Не сердись на меня, приятель. Скучно быть неживым? Разве я это не понимаю? Ты можешь на меня обидеться, если узнаешь, что я хочу сделать тебя жадюгой. И если обидишься — будешь не прав. Каждый в жизни заработал свое...»

И странно, прояснялась сюжетная композиция. «Браконьер» приобретал новый облик, вернее, возвращался к натуре. И борода теперь у него походила на легкий дымок, и в глазах появился отблеск внутренней борьбы человека. И это вдруг увлекло художника.

Сергей переставил мольберт с «Браконьером» подальше в угол. «Ничего не попишешь, — подумал он, снова обращаясь к «Браконьеру». — Наверно, и у тебя бывали в жизни срывы. Не поверю, что тебе всегда везло. Мало на свете таких людей. Признаюсь, я раньше по неопытности считал себя счастливчиком, как не поддаться соблазну счастья, если смерть тебя не брала, море не принимало и по жизни ты шел уверенно? Ты сам не удержался бы, знаю, если бы тебе повезло. А тебе не повезло. Если это не так, на кой черт ты связался со мной? У меня ведь может получиться, а может и нет».

Он закрыл «Браконьера» тряпкой, отодвинул в угол, лег и заснул на топчане. Он увидел во сне море, Лину.

Она тонула, что-то кричала ему, а он никак не мог до нее доплыть.

Утром он подтрунивал над собой как молодой матрос, принявший учебную тревогу за боевую. Взглянул на мольберт. Скучно делал свое дело «Браконьер». Вдруг он опостылел ему, и Сергей, схватив этюдник, отправился в лавру.

Здесь, на этой земле, собиралось войско, чтобы разбить монголо-татар на Куликовом поле. Ему мерещились нестройно шагающие пестрые полки на лесной извилистой дороге. А что, если так и написать ту далекую Русь? Не очумевшее глупое сборище вроде «Крестного хода в Курской губернии», а сосредоточенное, подчиненное цели движение. «Русь в походе»... Монастырь пригодится ему. Там Репин подсмотрел горбуна. Живописно ковыляет он на переднем плане картины. Какая же Русь без горбуна и юродивого... Но он, Сергей Лобанов, напишет совсем другую Русь. Именно в походе. Крепкие деревенские парни и мужики, ожесточенные против поработителей.

С горы, из-за речки, монастырь был хорошо виден, освещенный серебристым светом утра. Березка на красной башне надвратной церкви золотилась ранней желтизной. Работая, он вспоминал ночной сон, весело бормотал про себя разные байки, по привычке разговаривая со своей натурой. Получалось, что эта старая кирпичная развалина помнила Репина, хитро и зорко посматривающего вокруг в надежде на интересную натуру. Хаживал тут и Виктор Васнецов, приглядывающий стародавнюю одежду для своих сказочных героев, и Поленов, который выцыганил когда-то у захмелевшего мужика замечательную расписную дугу, и Нестеров, писавший скорбную «Христову невесту». А может, на том бугре, на который от реки поднималась дорога, писал Сергей Коровин своих странников?

Лобанов работал до полудня, потом спустился вниз, к реке, где охрились дощатые магазины, чтобы купить булку и молока.

К «Браконьеру» не потянуло. Лобанов вернулся в город.

— Здравствуй, папа! Что дедушка? Ты так ничего и не написал в отличие от мамы...

— От нее были письма?

Анюта заметила, как отец обрадовался.

— Одно тебе. Вон, на окне.

— А я не нашел...

Он схватил письмо. Дочь видела, как дрожали толстые короткие пальцы отца.

«Лобанов, — писала Лина, — Сереженька! Меня приняли отменно. Но на мое горе сдружилась с бандой в Доме творчества. Небезызвестный тебе Нил и его друзьяки поманили меня и таскают каждый день на этюды. То, что они делают, элементарно. Они мне по очереди одалживают этюдники. Так что жди с приданым... Целую, Лина.

P. S. Как Сергей Панфилович? Да, к любовным письмам я от рождения питаю недоверие, ты это, мой дружок, знаешь. Так что буду только отвечать на твои».

«Ну вот, а я не послал ей ни одного. Опять виноват, — подумал он, складывая письмо. — Кого виноватить?»

Все это расстроило его, и он не догадался спросить, что писала Лина дочери. Но Анюта сама сообщила, что мать упросила начальство продолжить ее отпуск, так что приедет она не скоро.

Видя, что отец расстроился, Анюта решила успокоить его и подала газету с его рисунками из речного порта.

— Один экземпляр? — огорчился Лобанов.

— Не додумалась.

Он развернул газету. Что-то приятное всколыхнулось в душе при воспоминании о порте. «Махнуть бы на причалы», — подумал он.

4

Узнав о возвращении Лобанова, в мастерской появился Иван Зимнев. Стуча палкой, прихрамывая, он обошел все углы, справился о здоровье отца.

— Ну что привез, показывай!

— Не распаковал еще.

— Распакуй!

Сергей не стал трогать пейзажные этюды, достал портрет отца, снял бумагу. Даже при слабом вечернем освещении «старик» впечатлял.

Иван раскатисто и одобрительно засмеялся: «Ах-ха-ха!» — и сказал:

— Позу выбрал фронтальную, хорошо, право, хорошо. И наклон вперед — человек устремлен в жизнь. Белая рубаха — и черная изба... Глаза перекликаются с небом. А позади, над дальними лугами и рекой, солнце, много солнца. Это его прожитая жизнь. И названо просто и со значением: «После болезни».

— Не болтай лишнего!

— Ты знаешь, я лишнего не скажу. — Иван тяжело поднялся. — Ты вырос... А у меня не пошла картина...

— «Соня Кучарова»?

— Она, она...

— Ищи натуру... Сидишь дома, сюжеты выдумываешь, героев в мемуарах вычитываешь, — вдруг обозлился Лобанов. В последние дни он был раздражен. — Вон Пластов...

— В мемуарах, говоришь, вычитываю? Пластова приплел? Ну, Сережа, ты сам на себя непохож... Да что сделал Пластов о войне?

— Не греши! А «Фашист пролетел»? А «Землянка»? Изнутри душу народную знает. Он не может не писать, не может не высказаться. А ты о чем хочешь поговорить со зрителями? Ну что ты хочешь от самого себя?

— От самого себя? — Вопрос этот был странен, Иван растерялся.

— Вот видишь! Ты не знаешь, чего ты хочешь? Не знаешь!

— Не играй словами, Сережа. Тебе прекрасно известно мое кредо: военный подвиг человека. Душа подвига.

— Вообще? Нет, ты пиши свою войну. У тебя она была. Что ты о ней сказал?

— Верни мне память! Доктора не вернули, ты, может, вернешь?

— Сам себе верни. Съезди по местам боев... Где ранен был... Съезди!

— Легко советовать...

— Я тебе помогу командировку получить. Схожу к Горбаткину, в Комитет ветеранов войны. Встретят тебя по всем правилам. Ты где был ранен, Иван? На Украине? У меня в Днепропетровске дружок живет. Ему напишу...

— Благодетель нашелся.

— Ну, как хочешь...

Иван забегал по мастерской, ища дверь, наконец на-

шел, распахнул с силой, тяжело загромыхал по лестнице.

Обидел его Лобанов, смертельно обидел. Дружок называется... Зло такое на него, что при одном воспоминании об их разговоре Зимнев начинал задыхаться. В такие минуты не выговаривались слова, только губы беззвучно открывались и закрывались.

Вернулся домой задумчивый и усталый. Горяч он, вспыхивал как спичка, но скоро и гаснул. Остыв, обессилел, долго не брался за работу. Опорой ему была жена Елена. Рос он сиротой, в чужих людях, и только она стала ему первым родным человеком.

Отец, Гаврила Иванович, слыл мужиком неуемным. В гражданскую войну воевал в тылу Колчака. Не было партизана смелее его. Белогвардейцы вырезали его семью. В тридцатом году смертельно ранили его кулаки на таежной дороге. Полуживой, еще верст десять то шел он, то полз. Вскоре умерла мать и остался Иван сиротой. Когда началась Великая Отечественная, пятнадцатилетнего Ивана дважды выдворяли из воинских эшелонов, куда он неизвестно как проникал, стремясь на фронт. Все же в сорок третьем ушел. Охмурил секретаря сельсовета Олену Шевлягину, и та выдала ему справку, накинула два годика. Ревмя ревела потом Олена, ведь нарушила закон, да еще потому, что долго не увидит Ивана. Втайне она считала его своим женихом. А он сказки-баляски развел, замутил ей голову. «Жди, — говорил, — вернусь героем, вот увидишь...» Писем ждала с каждой почтой. Неохоч был писать Иван. Пока воевал, всего три получила. Потом как в воду канул. Скоро узнала: лежит Иван в госпитале, беспамятный от контузии. Собрала банку меду и горшок топленого масла и махнула. Нашла Ивана. Не человек, а звание одно: лицом несхож, ее не узнал, слова не сказал ни единого. Походила она в госпиталь, посидела у его кровати, поревела, как овдовевшая баба, договорилась с нянечкой, которая ухаживала за Иваном, держать с ней переписку, и вернулась на Урал. Через месяц-полтора та бабка из госпиталя накорябала письмецо и непонятно известила, что «проснулся» Иван, но глухой и немой вроде и «скоро помешался на рисовании разных живых и неживых предметов. Таскаю я ему кипы бумаги и карандаши чиню. Рисование ему вроде малому игрушки, вот я и тешу его...». Олена снова прикатила в госпиталь. На этот раз Иван узнал ее. И хотя смотрел злыми,

нездорово блестящими глазами, отвергающе крутил головой, Олена не испугалась, не обиделась и не убежала. Она осталась у его кровати, гладя одеяло, которым были прикрыты его недвижные ноги, и плакала то ли от радости, то ли от огорчения. Потом она взяла его руку. Он вырывал, но она не выпускала и все гладила и гладила отечное запястье.

Перебираясь с квартиры на квартиру, живя где сутки, где неделю у милосердных сестер и нянечек, Олена день за днем приходила в госпиталь, как на работу. Все привыкли к ней, коренастой уралочке, скуластой и черноглазой, с жесткой вороненой челкой на выпуклом лбу. Прошли долгие месяцы, пока нашлось ей место в госпитале, а кастелянша, добрая душа, временно прописала в свою пристройку. Какой утомительной вечностью показались бы для кого другого бесконечные пять лет, пока Иван постепенно возвращался к жизни. Но для Олены время перестало существовать. Оно все было в нем, в Иване, в том, когда у него шевельнулась вторая, недвижная до сих пор рука; когда он впервые взял ею карандаш, когда вспомнил и произнес то или иное слово, которое, казалось, навсегда ушло от него. А потом... когда он встал, когда пошел, так же трудно, мучительно и значимо, как делает первые шаги ребенок.

— Ну давай, давай, тверже ставь костылики, — говорила Олена, придерживая Ивана за руку. А потом, выйдя из палаты, ревела и смеялась, повторяя восхищенно: — Ванечка пошел. Ванечка.

Если бы не Олена, что бы с ним было?

Война для Ивана все еще полыхала, только другим огнем. Боль в ногах, в пояснице, плечах, какая-то плавающая память, осколки чужого железа по всему телу. Разве это не война для него?

...Борясь со слабостью во всем теле и муторностью на душе, Иван взглянул на полотно, клонящееся прямо на него и нависающее снежной всхолмленной равниной с едва намеченной то ли багряно-красной утренней зарей, то ли сполохами пожаров по горизонту, и заскрипел зубами. Низкий блиндаж справа, в темноте его провала смутные лица раненых, беспомощно-обреченных. На переднем плане намечена женская фигура, в полушубке, до половины встающая из окопа. Синий-синий снег перед ней и спу-

танные струны колючей проволоки, как ее будущая судьба, и ненужный уже автомат с пустым диском и большая, слишком большая для одной ее граната в руке. Еще нет лица, и вся она виделась Ивану как бы сквозь метель. Он встал перед нею, вытянувшись на носках и покачиваясь, бессильный увидеть ее, как живую, и что-то добавить. С размаху толкнул ногой этюдник, тот с грохотом полетел на пол. Далеко разлетелись кисти и краски в тюбиках.

Мольберт был повернут от света, и Лобанов не разглядел, над чем работал Иван. Подошел к окну. Начался дождь. Сергей только что был у врача, который лечил Зимнева. Тот сказал: «Неизвестно, чем жив человек. Глубокий инвалид». Вчера Лобанов был в Комитете ветеранов войны. Рассказал о Зимневе-солдате и художнике, его творческих замыслах. Ему пообещали устроить Ивану поездку по местам, где он воевал. Написал Лобанов письмо и своему другу художнику Копыленко на Украину.

— А ну их к чертовой матери! — озлился Зимнев, выслушав Сергея. — Только и слышу: устроим, все устроим! А тебе что за радость за меня хлопотать? Делать нечего?

— Плохо было на душе после того разговора. Вот и сунулся... Извини, коли не к месту...

— Не к месту! — выкрикнул Иван.

Когда ушел Лобанов, Олена открыла дверь в комнату, служившую мастерской мужу.

— Вы что, поссорились? В лице у Сережи ни кровинки.

— Я его хвалю, а он? Он меня за художника не считает.

Жена подошла, коснулась рукой плеча мужа:

— Ивашка, держись Лобанова. Чего ты картину ему не показал?

— Постеснялся. А может, постыдился.

ГЛАВА ПЯТАЯ

1

Мучительные дни переживала Мария. Не поймет, что происходит с Гришей. Озябло все в ней, сжалось от грубостей и попреков. Премию получила, значит, кобели-уха-

живатели задабривают, уступчивости хотят. Двойная обида ей: работу хает и ее любовь к нему топчет. Избрали ее в профсоюзный комитет порта, опять укоры: начальство хочет поближе к себе держать. Да что ей до начальства? Разве должностью человек приближает к себе? Да и зачем ей свою жизнь ломать? Какая ни есть, а своя. Под чужую струну она не станет подстраиваться. И Гриша ей люб с первого дня, потому и терпит его несправедливые обиды.

Она не представляла иной жизни, кроме той, которой жила. Рано вышла замуж, а что же волынить, если муж попался ухватистый, силой и умом не обделенный, ну и красота при нем — с лица не сотрешь. В девятнадцать лет родила дочку... Ну что? Не заметишь, как вырастет, помощницей станет. Обидно, что ли, если скажут: «Сестренка-то у тебя красавица...» А ты: «Да какая же сестренка? Дочка вовсе». Не поверят, заахают люди. Через четыре года сын родился. «Что одного кормить, что двоих...» Это мать ей говаривала успокаивая.

Вертелась, крутилась, как блок на крановой стреле. У матери в деревне изба просторная. Двухгодовалая Вика как там однажды осталась, так и жила, пока Егорушка не затопотал на своих на двоих. Гриша любил ребят, ничего не скажешь. Правда, Егорке ласки от него больше перепадало. Почему Вика меньше люба была ему, он и сам, поди, не знал. Мать плакала, на колени готова была встать: не обходи девочку! А он будто назло: «Чего сопли распустила?» Это Вике. А Егорке: «Ну, мужик, я тебе пряник купил, бери!» Не могла переломить его, сил на это не хватило. Всем хорош Гриша, но упрям да ревнив не в меру. Но, опять же, если не любит, не ревнует. А теперь-то что сталось? Вроде все то же самое, да не то. Ласка — и та иной раз обидна. И пропадать стал неизвестно где. «Дружки, что, мне нельзя?» Почему же нельзя? Дружки, ежели хорошие, приводи в дом. Она сама им угощение поставит. Потом стали почему-то премий его лишать. Придет домой, почем зря костерит начальство: такие-растакие, премии лишили. Она жалела его, старалась сэкономить, да ему дать на пиво, на папиросы. Брал, но Мария чувствовала: все мало ему...

...День был солнечный и ветреный, его как подарок поднесла природа после моросящей грусти ранней осени.

Стрела с грузом тяжело шла против ветра, но Мария не торопила кран, пока слышала это сопротивление. Немножко, еще немножко, стрела минует невидимую границу, и груз пойдет легко, только успевай за ним. В обед она побежала домой — Гриша вдруг придет, покормить надо.

Не пришел Гриша, но позвонил: с лодкой возится. Отпуск скоро, а лодка дырявая. Что ж, лодка так лодка... И в отпуске Гриша не был, тоже верно. Но сердце кошки когтят, болит оно, чувствует что-то. Работа в тот день была неинтересная, едва дотянула смену.

Подогнали баржу — срочный груз! Фомич Христом-богом упросил Марию поработать вместо не вышедшей сменщицы толстухи Ленки. И хотя рвалась домой Мария к детям, к мужу, она отстояла еще одну смену. Домой пришла поздно. На звонок никто не отзывался. Постучала. Стук покатился по подъезду гремучим громом, и она перестала. Гриши нет дома... Но дверь закрыта на засов. Ребята не стали бы закрываться. Попроситься к соседям? Уж лучше бы жили не знакомые, не свои, не звали бы их «мирной семьей», да еще «любящими». Какой стыд! Убитая горем, усталая, проклинающая дядю, она спустилась в сквер. Посидела. Зябко. Спать хочется. Ушла в порт. Ночевала в дежурке.

Вику и Егорушку застала дома, Гриша уже ушел. Сказала детям: в ночь работала. Нехорошо — соврала!

Будто во сне, накормила их, проверила портфели, отправила в школу. Ночь, казалось, еще не минула, все вокруг было правдой и неправдой. Правдой то, что она дома, а неправдой то, что дом этот уже не ее. Неправдой было то, что ее не пустил ночевать муж Гриша, а правдой то, что он уже не муж ей. И сама она вроде существовала и не существовала, но то и другое одновременно было правдой и неправдой. По привычке она занялась приборкой, но лишь бесцельно переставляла стулья. Постель была не разобрана, муж, видно, спал на диване в коридоре, но она не притронулась к постели, боясь разрушить то, что было с ней связано.

Когда Мария взяла с балкона бельевую веревку, достаточно длинную, прощупала пальцами от конца до конца, нет ли где изъяна, она еще не думала, что за тем, что она решила сделать, не будет ровным счетом ничего. Не думала она и о том, что есть у нее другой выход, и не знала, что он есть. Куда бы привязать веревку, в доме не было

ни одного путевого крюка, а вешалки — те и пальто едва держат. «В ванной есть», — вспомнила...

Зазвонил телефон... Она вздрогнула, испугалась. Бросила веревку под ванну, вышла в коридор. Встала возле стола, где чернел телефон, прижав к груди руки. Кто? Гриша? Дядя Федя? Но кто бы ни звонил, это был сигнал из жизни... Там был ее порт, ее кран, ее дядя Фомич, Виконт, и Димка-начальник, и Ленка-толстуха. И мама, и ее деревенский домик, который Мария так любила, и собака Штора, которая, завидя ее, переворачивалась на спину, дрыгала лапами и визжала от восторга, и кот Василис, который выгибал спину и мягко терся о ее ногу, и поросенок Яшка, розовый, толстый и благодушный, начинающий сладко хрюкать, когда она скребла пальцем за его хрящеватым ухом.

В жизни по ту сторону стен были Вика и Егорка. Вика и Егорка!..

Телефон надрывался. Что это, он никогда не звонил так настойчиво!

Вика и Егорка...

Телефон все звонил и звонил...

Она взяла трубку. Мир с той стороны вошел в ее умершую квартиру. Спокойный мужской голос:

— Мария, Маша?

— Да, слушаю...

— Не узнаете? Это художник Лобанов.

Мария замялась. «Откуда он? Я и забыла о нем».

— Зовите меня Сергей. Или Сергей Сергеевич...

— Да, — сказала она.

Художник спросил, работает ли она сегодня. Да, работает. В дневную смену.

— Можно, я приеду к вам в порт?

— А мне-то что? Приезжайте.

Художник сказал спасибо, голос его прозвучал обрадованно, будто она невесть что ему пообещала. И как-то поспешно повесил трубку. А вроде бы должен что-то еще сказать. Не сказал.

За час до появления художника в порту на причале случилось чрезвычайное происшествие. Волнения еще не улеглись. Вконец расстроенный Фомич, увидев художника, лишь махнул рукой в сторону товарной конторы, на стене которой широкое окно зияло черным провалом. Свеже краснели выщербленные кирпичи. Виконт объяснил Лобанову, что произошло. Мария не удержала кран, и

пятитонный ящик с запасными частями через окно влетел в товарную контору. Он так и стоял там среди столов, обсыпанных обломками стекла и красным кирпичным щебнем. Лобанов почему-то подумал: «А стену она разнесла славно!»

Мария сидела в бригадной каморке.

— Как это вы, Мария? — спросил Лобанов, волнуясь.

— Да пустяки, — сказала она равнодушно. И неожиданно подумала: «А что, если бы он не позвонил?»

Во всей ее подбористой фигуре, в повороте маленькой головы, в округлости плеча, развернутого влево, отчего грудь заметно напрягла плотный ситец цветастой блузки, в мальчишеском упрямом лице была такая независимость, достоинство и великая усталость, которая уводит человека от суетности жизни, что художник не поверил себе: да откуда это у нее? Что же с ней случилось такое? Что она преодолела?

Он сел в углу и стал за ней наблюдать. Пробовал заговорить — не получилось. Мария отвечала нехотя, а потом отвернулась, поникла. Пришла инспекция — двое оживленных мужчин и скучная женщина — и стала расспрашивать Марию. Она снова сделалась независимой и гордой, ни во что не ставящей их глупые вопросы, и отвечала так, будто те трое касались такой святой ее тайны, которой они не должны касаться. Но они все больше загоняли ее в угол, ответы ее делались безнадежнее, наконец она упрямо сжала губы маленького, почти детского рта и перестала отвечать.

— Не мучайте ее! — вмешался Лобанов. — Ветер... Был сильный ветер. Кто работает в такую погоду?

— Ветер? — Скучная женщина, кажется, обрадовалась: нашлась причина, нашелся и выход.

Потом они что-то долго писали, спорили. Мария все молчала и молчала, равнодушная ко всему.

2

Заядлый рыбак, Григорий Владычин в последние годы проводил отпуск на воде. Подобрались дружки, переспелые неженатики. У каждого дюралька, снасти. Жили каждый в своей палатке. На питание и выпивку скидывались на весь срок. Готовили поочередно. Отдыхали от работы, городской суеты. Кормились рыбой. Дичали, об-

растали бородами. Возвращаясь домой, скучали по вольнице. Нынче компания распалась. Владычин взял с собой Леру, ребята отказались с ним идти — терялось равенство.

И вот они, Григорий и Лера, второй день в пути. Глаза ее устали от блеска воды; уши оглохли от неустанного стука мотора. Ей было все равно, в каком селе остановиться, только бы скорее. Она была не рада, что согласилась плыть на этой скорлупе, да все получилось как-то неожиданно. В прошлом году у нее в Сочи был номер в гостинице «Кавказ», Алексей Васильевич нежно ухаживал. Он отдыхал в санатории «Приморье». Все дни они были вместе, на городском пляже, вечер — в ресторане, и только ночи были у них одинокие.

— Тебе нравится вон то село на бугре? — Григорий сдвинул темные очки на лоб, сощурясь, посмотрел в прозрачную даль. Под сентябрьским солнцем сине блестела Ока; золотились песчаные осыпи правого берега; покрытые зеленой отавой луга левобережья подступали к самой реке.

Лера приложила руку к глазам. Издали домики казались ласточкиными гнездами, прилепившимися друг к другу.

— Была бы крыша, да стены, да теплая постель, — сказала она, отгоняя приятные воспоминания о прошлогоднем отпуске. — Хочу спать на кровати, а не в твоем дурацком мешке. И всю ночь кто-то ходил по лесу. Я не выспалась и замерзла. Не могу отойти.

— Бедняжка, — пожалел он. — Хочешь «Старки»?

— Давно бы мог предложить.

Он достал из-под сиденья бутылку и подал ей.

— Пей из горлышка. Привыкай! Так как? Швартуемся?

— А надолго?

— Посмотрим. Местечко рыбное. Сиживал я тут.

Лера сделала два крупных глотка, зажмурилась.

— Научишь бог знает чему...

Но стало теплее, она вернула бутылку Грише и припала щекой к его спине. Все ближе накатывалось село. Не ласточкины гнезда, лепившиеся тесно одно к другому, а уже дома с окнами, крышами, с гребешками палисадников различались вдали.

— К знакомым пойдешь? — спросила она.

— А что?

— Да так...

— Так у бабы не бывает. Без умысла не спросит.

— Злой ты, — сказала она равнодушно. Ее разморило, смертельно захотелось спать.

...Дом, где они поселились, стоял на крутом берегу. Из окна был виден урез воды с белой, быстро тающей пеной, песчаная отмель. Хозяйка, Евдокия Семеновна, приняла жильцов с охотой. Совсем недавно она проводила в город дочку, зятя и двух внучат, гостивших у нее лето, теперь тосковала и рада была постояльцам, норовила им угодить и ни о чем не спрашивала. Она была кругла, хлопотлива, чувствительна, и при воспоминании о внучатах тотчас начинала хлюпать носом.

Дни выдались солнечные, тихие, но во всем уже чувствовалась осенняя печаль. Постояльцы жили душа в душу, по утрам уходили на реку, возвращались к обеду с уловом. Евдокия Семеновна радовалась их согласию. За стол садились вместе, как одна семья. Но вот задождило, ветер погнал с севера тучи, посерела Ока. Постояльцы два дня валялись в горнице, отсыпались. Вставали к обеду какие-то не те — скучные, вялые.

А однажды ночью...

За лето они были вместе всего три раза. Встречаться было негде. Лера жила с отцом, матерью и младшей сестренкой. Договорились об отпуске, и оба с нетерпением ждали его.

Красивым, беззаботным виделся отпуск.

Первые дни все так и было. Но однажды Григорию почудился стук в окно и голос Егорки. Сына он любил, мальчик был к нему привязан. И этот стук и голос за окном были так явственны, что Григорий выбежал в дождь, надеясь увидеть сына. Но под окном никого, лишь мокла опрокинутая дюралька, под ударами дождя звенел металл. Вику отец любил меньше, а можно сказать, не любил, и дочь, чувствуя это, сторонилась его. Но тут вдруг он стал скучать и по дочери, жалеть ее, изводить себя тем, что был к ней несправедлив. И лишь Марию гнал, как только она приходила в его мысли. «Теперь вот попробуешь, попробуешь...» — повторял он. Хотел отомстить жене, хотя толком не знал, за что.

...И вот опять дождливая ночь. Григорий проснулся как от удара и сразу подумал о Марии. Вспомнил ее неурочные приходы домой, вспомнил Димку-начальника,

Виконта, пьянчугу-механика, как его... имя запамятовал. Представил, как все там без него могло быть — заскрипел зубами. С ненавистью услышал сладкое посапывание Леры. Вскочил, подбежал к темному окошку. Стучал дождь по стеклам, под косогором шумно плескалась Ока. «В лодку, в лодку! Все к черту, к дьяволу. Ну, попадешься ты у меня, попадешься», — зло подумал он о Марии. Стал поспешно одеваться. В любых трудных переплетах он был трезв, расчетлив, а тут не сообразил, что против ветра и течения не выгребет слабосильный мотор. Вздрогнул, услышав из темноты сонный голос Леры:

— Григор, ты куда?

— Домой, куда еще?

— В город?

— У меня другого дома нет!

— А я?

— Ты как ты. Я как я.

Она села в постели, завсхлипывала.

— Алексей Васильевич... Он на руках меня носил. Он жалел меня. А ты? Эта дыра... Меня тошнит от одного запаха рыбы.

Куртка выпала из рук Григория. Вот она с кем! С его начальником.

— Собирайся!

— Не поеду!

Вбежала разбуженная хозяйка.

— Не пущу, ребята, на смерть! Грех на душу не возьму!

Лера к ней:

— Бабуся, уймите его. Погубит и меня и себя.

А он склонился к окну, уперся лбом в холодное стекло. Холод передался всему телу, и он содрогнулся от озноба. С той стороны, из кромешной темноты мокрой ночи, смотрели на него заплаканные глаза Марии. Жутко стало. Отшатнулся. Храбрясь, бросил:

— Ладно, бабуся, по местам!

Помирились.

3

В воскресенье Мария собралась к матери в Клинцы. Накануне дядя Фомич передал ей, что бабушка Настя просила привезти внучат. Яблоки поспели, прорва нынче

яблок. Да и сама Мария рвалась из города. На душе тяжко, а с кем поделишься? Мать всю жизнь строга к ней, но ведь единственно близкая теперь душа. Побыть рядышком, и то...

Лобанов увидел Марию, когда она шла от своего дома к остановке такси. За спиной солдатский вещевой мешок, в руке черная сумка. Худая девочка лет двенадцати с тонкими длинными ногами, со страдальческим выражением узкого личика что-то торопливо говорила ей. В голосе слышалась капризная плаксивость. Девочка перебрасывала из руки в руку бежевую сумку, видно, тяжелую. Позади независимой походкой шел мальчик лет восьми, не по годам вытянувшийся и нескладный. Ни девочка, ни мальчик ничем не походили на Марию.

«Боже ты мой, а у нее коса совсем девичья! Как я ее не видел?» — удивился Лобанов, направляясь за ними.

— Здравствуйте, Маша!

Прямо и решительно смотрели на него ее голубые глаза. И были в них ясная чистота, и открытость, и грусть глубокого страдания.

— Здравствуйте, Сергей Сергеевич! — Голос ослабленный, усталый. — Успели, а то мы бы убежали.

— Что же торопитесь? Лишились бы бесплатного носильщика.

— Да мы сами. Не впервой. — Она смутилась. — А это моя Вика, а это Егорка.

Вика глядела на художника серыми капризными глазами. Ничего материнского в лице.

— Давайте сумку, — попросил Лобанов. — Вика, и ты давай.

Он взял сумки, пошел рядом.

— Не стесню вас? — чувствуя неловкость, спросил он.

— Нет, почему же. Только зачем это вы?

— Не знаю.

— Вот видите!

Они шли к такси, и Сергей слышал позади разговор матери и Вики. «Это он дядю Федю нарисовал?» — «Он, он». — «Куда он едет? С нами?» — «Почему с нами? Он едет сам по себе». — «А я думала, он с нами...» — Голос Вики прозвучал капризно.

В вагоне электрички Мария села у окна. Лобанов бросил мешок на полку, стал незаметно следить, как она усаживалась. Движения ее были точными, красивыми, и сложена она красиво, и это определяло все. Но в ней где-то

глубоко жили угнетенность и настороженность, что нет-нет да и проявлялось то незаконченностью движения руки, потянувшейся к волосам, то необязательным поворотом, нужным лишь для того, чтобы поправить юбку. Мария стеснялась, что у нее такая высокая грудь, и инстинктивно сутулилась, чтобы скрыть это. Поезд тронулся. Она, вздохнув, стала смотреть в окно. Лицо ее было спокойно, даже безразлично. Но в нем то и дело что-то менялось. Улучив момент, Лобанов вытащил из-за спины папку, положил на колени, сел поудобней. Мария взглянула на него осудительно:

— Не надо, Сергей Сергеевич. Какой во мне интерес? Неужели вы так всегда: к кому захотите, к тому и пристанете?..

— Маша... извините, что я вас так называю. Представляете: вы пришли к парикмахеру... Что он — стыдится вас, когда работает?

— Ну это совсем другое!

— Почему же? Парикмахер сделает с вашей головой что захочет. А художник... разве он не вправе сесть и нарисовать вас?

— Да уж больно вы настырный, Сергей Сергеевич!

— Волка ноги кормят. Иное лицо ищешь полжизни. А если уж нашел, тут не моргай, не жалей времени и умей поворачиваться. Это моя работа. И только.

— Я-то зачем вам понадобилась? Во мне ничего такого нет. Лучше нарисуйте Вику.

— Хорошо, — согласился он и стал быстро набрасывать рисунок. Рисовальщик он был без дураков: Полторанов не подпускал своих учеников к живописи, пока те не овладевали рисунком. В лице девочки он постепенно нащупывал капризность и неуравновешенность. И чем-то знакомый высокий узкий лоб, вдавленные виски, тонкий нос. Во всем этом проглядывало злое.

Вика взглянула на рисунок, недовольно сморщилась:

— Какая я некрасивая!

Мария взяла рисунок.

— Ты красивая... Только капризная. Ох, у Сергея Сергеевича такой глаз!

Убегали назад золотые березовые рощи, будто кто раскатывал широкое белое полотнище.

— Вот так из-за нас и день свой, как спичку, сломаете?

— Моя работа...

— Да, каждый живет своим.

Глядя на него, она подумала: «Вроде все на нем как есть. А рубашонку сам гладил. Не видно ухоженности. Бабьего дозору нет». И вдруг она увидела в нем просто мужчину, человека, а не какое-то отвлеченное существо — художника. «И не богат, видать, рубашка дешевая, а чистенькая. И сам чистенький. Руки отмыты, а поди в краске всегда». Это открытие сразу упростило художника в ее глазах.

— А вы и Егорку нарисуйте, — попросила она. — На память.

— Что ж, это легче...

Мария кивнула и стала смотреть в окно. Усталая умиротворенность появилась на ее лице. Морщинки от глаз уходили, но сторожко оставались у рта.

— Да, — спохватилась вдруг, — а почему легче?

— У сына что-то есть от вас.

— Да, дочка в отца. И лицом и характером. Даже родинка возле уха.

— Не крутись, — остановил Лобанов Егора. — Где у тебя выдержка, мужчина?

Егорка на время притих, опустил руки меж колен, задрал нос. Это и схватил художник.

Вика взглянула, захлопала в ладоши:

— Точно, копия! Нос в небо...

Так они ехали до Клинцов: разговаривали и молчали, шутили и серьезничали, пытались что-то узнать друг о друге, но так и не разоткровенничались.

В Клинцах Мария призналась:

— Скрасили вы нам дорогу, Сергей Сергеевич. Ужасно на душе.

Между двумя яблонями и высоченной грушей вкопан в землю столик. Он промыт, выскоблен ножом до матовой белизны. Лобанов нарвал морковной и свекольной ботвы и бросил на доски, собрал несколько капустных листов — туда же. Попросил Марию стать у стола. Она встала напряженная, чуть склонив голову, держа в руках косу. Солнце заливало ее всю, она как бы сияла.

— Маша, — сказал он. — Будьте умницей, постойте терпеливо.

Вот и первый золотистый мазок косы, лежавшей на ее груди. С ним и придется все сообразовать.

— Если надо, терпение у меня найдется. Но я маме приехала помочь. Да и ни к чему все это...

— Скажите себе: надо! А бабушке Насте мы поможем. Она мне понравилась.

— Недовольна она!

— Чем же? Ах да, чужого мужика привела. Но я не просто мужик, а художник.

— Я тоже так думала... Ну, рисуйте! Что вы так на меня воззрились?

Лобанов засмеялся:

— Да как же писать, если не смотреть?

Мария подумала, что негладко получилось, глупо она выглядит перед художником. Но что же делать, если он все время поперек пути, кого хочешь выведет из терпения. Ох и попортил, видать, кровушки людям своей настырностью! А он уже за свое...

— Вы в отца? Мать во какая смуглая, волосы — вороново крыло, а у вас золотистые. Как полевой рыжик.

«Про рыжик знает!» — подумала она и сказала:

— Да, от матери ни капельки. А у отца чуб был золотистый! И по доброте человек — второго такого не найдешь. Погиб... В сорок четвертом... в Польше... Мама все собирается съездить, на могилку поглядеть...

Лицо ее погрустнело. Твердые крылья небольшого носа опали.

— Хочется и не хочется ехать-то ей. «Живой, — говорит, — он для меня. А как увижу имя на кресте, так и лишусь его». — Мария замолчала, пальцем провела по ресницам. — Малая я была, годов восьми, — заговорила она снова. — Жили мы тогда на Кубани, а запомнила, как он верхи сел. Меня схватил, поднял. Сердце от страха остановилось. Я ему чуб тормошу, а он усами меня колет... Опустил маме на руки, погладил ее по голове, как малое дитя, — и в степь. Вся станица! Я гляжу: облако белое — и ни отца, ни коней. Только стук копыт по земле идет, в ногах моих отдается.

Помолчали. Художник быстро работал. Теперь он не смотрел на нее в упор, а лишь на мгновение взглядывал.

— Меня Рыжиком в школе дразнили. И еще курносая...

— Вы что! Вот Фомич, тот по-настоящему...

Она засмеялась, некрашеные губы ее вдруг хорошо заалели.

— Мама у нас такая, — заговорила она, посерьезнев. — Похоронка на отца — она не верит. Война кончилась, мы сюда, в Клинцы, к дяде переехали. Вдруг повестка из военкомата. Пять километров бежала — не передохнула. Думала, отец объявился. А ей его орден передали. «Отечественной войны», такой весь, в лучах. Приняла. Помолилась на какой-то портрет, сказала: «Ну, теперь тебе быть...» Сосед вернулся, друг отца: ушли вместе, а сосед пришел один... Он видел, как отца пуля с коня схлестнула. Умирал у него на руках. Последнее слово о матери: «Тебе, — говорит, — Анастасия правилась, когда парубковали. Не оставь одну. Скажи, мол, согласие даю на вашу совместную жизнь. Как друга прошу...»

— Вышла?

Мария помолчала.

— Приехал он, приветила. Холостой был мужик, и собой ничего. А она ему поклонилась в пояс и сказала: «Благодарствую!» — и оставила его одного. Он сидит ждет. Она вина принесла. А он спрашивает: «Каково твое слово, Настасья?» — «Ах, Петя, Петя, — говорит, — да стоит ли мне горшки-то на старость марать?» Вот так и живут врозь. Дядя Петя каждый год в День Победы приезжает. — Мария неожиданно спросила: — А вы как живете? Какой-то вы не как все люди. Или все художники такие?

— Какие же?

— Да душа вроде не на месте... Семейны ведь?

— А как же: жена, дочь.

— В ладу живете?

— Вроде бы! — сказал он и вспомнил Лину.

— Да, в ладу жить — счастье копить. — И замолчала, загрустила сразу, что-то у нее неладно на душе...

Солнце светило ей в лицо, она чуть отвернулась.

— Наденьте косынку, голову напечет.

Мария послушно повязала косынку, голубую, в горошек, и он поразился: в ее глазах вдруг просветилась лазурь, любимый цвет Андрея Рублева, его секрет, его колдовство.

— Нет, Маша, снимите косынку.

— Да что же: надень — сними! Пожалуйста!

Она сняла косынку. Странно, лазурь исчезла. Однажды он уже видел ее. Тогда лазурь шла от блеска голубой воды под чистым летним небом, теперь — от косынки. Где

же приглядел эту лазурь Андрей Рублев? Через глаза женщины? Когда и где монаху ее увидеть?

Она надела косынку, и лазурь опять просветилась в ее глазах.

«Чудо, чудо какое-то!» — снова восхитился про себя Лобанов. Она поняла его по-своему и подумала: «И что он во мне высматривает? Что ему надо?»

— А вы счастливы, Маша? — спросил художник, наверно, для того, чтобы не молчать.

— Не знаю, — сказала она не сразу. — Счастье, оно разное.

— А в чем смысл вашей жизни?

— Как в чем? — удивилась она. — Смешно спрашивать! В работе. Я люблю работать. Да и дети. Детей тяну. Люблю их, хотя бывает: сил никаких для них не остается. Дня не прожила попусту. Бывало, верчусь вместе с краном, а грудь... Я уж чувствую: Егорка есть просит. И на самом деле, Вика сигнал подает. А квартировали мы тут же, в порту. На плаву стояла брандвахта. Я бегу по трапу, ног под собой не чую. В запарку дядя Фомич на кран, бывало, поднимется. Он добрый, вы его угадали. И тетушка добрая. Без них не знаю, кем бы я была... Он ведь гордый! Правда, всю жизнь простачка играет. Легче, говорит, так.

— Играет?

— А что вы думали? Если бы он по-настоящему был такой, я бы — тьфу! С ним дел никаких не имела. И не зналась бы... А ему надо быть хорошим и перед начальством, и перед нами, рабочими. А это непросто ныне тем и другим угодить.

Лобанов с удивлением и радостью открывал, что его друзья не такие уж простые люди. Он клал мазок за мазком, и ему все больше казался лишним и этот столик, и ботва на нем, и эта яркая зелень вокруг. Ну зачем! Пусть так. И косынка пусть. И листья. И коса под цвет светлого золота... Лежит просто на груди. Нет, не золото, не золото. Рыжик полевой, вот это точно!

Дальше он работал молча. Мысль шла так быстро, что краски едва поспевали за ней. В голове была редкая в таких напряженных случаях ясность. Он видел, что делал, знал, что скажет его следующий мазок, и Мария превращалась именно в такую, какую он видел: глубоко запрятанная печаль в глазах, душевная боль в морщинках небольшого твердого рта. И ему показалось, что он давно

знает ее, близок с ней, и каждый новый мазок усиливал впечатление близости.

— Мам, он меня крапивой, — услышал Лобанов плаксивый голос Вики.

— Принеси-ка лучше квасу. Сергей Сергеевич пить, поди, хочет. Да и я притомилась. Это как смену на кране. Тоже чего-то стоит...

— Мам, а ты такая, вся в краске, — засмеялась Вика и, взглянув на этюд, убежала.

— Покажите, что ли, — попросила Мария, облизывая губы. — А нос не мой! Я курносая на фото получаюсь. — Опять она вспомнила свое, навек обидное. И опять это насторожило ее: «И что он во мне нашел? Что углядел? Не за каждой же так бегает?»

А увлеченный Лобанов хотя и видел, как то и дело меняется выражение лица Марии, но воспринимал это как естественное волнение перед ним. И посоветовал просто как человеку, которого давно знал:

— А вы чуть-чуть опускайте голову, тогда это само собой уйдет.

Мария задумалась...

— Нет, я никогда не опускаю головы.

— Да, пожалуй, так. Но это вам дорого дается: душа у вас добрая. Кровью плачет от обид.

Она промолчала, насторожилась: «Как он все это про меня узнал?»

Вика принесла квасу. Мать, не взглянув на берестяной бурак, подала его художнику.

— Пейте через край, у нас так пьют. Из стакана — квас не квас, — сказала она и сообщила буднично: — Ну мне пора! До вечера овощ надо убрать. Бабье лето улыбнулось, и нет его. Задожжит опять скоро.

Лобанов, держа бурак в руках, глядел, как она уходила между деревьями, чуть откинув назад и налево маленькую золотистую голову, и правая ее рука, полная и сильная, как бы плавала в воздухе, намереваясь что-то поймать.

Мария работала на огороде с каким-то ожесточением. Лобанов сделал карандашный рисунок матери и принялся помогать: таскал овощи в сарай. Неоконченный этюд стоял теперь в тени, потухший, будто смазанный, а Мария скользила перед ним, молодая и сильная, вся ушедшая в работу. Кажется, она пыталась утопить в ней давящую на ее плечи тяжесть, о которой он так ничего и не узнал.

И от того, что он все еще до конца не понял ее, он не мог с ней говорить, как всегда говорил с натурой, помогая этим себе сблизиться с ней. «Было ведь что-то, было, — подумал он. — А потом Вика с крапивой и квасом, и все полетело за борт...»

Художник собирался в город. Мария с ребятами оставалась ночевать. За ужином на веранде Лобанов рассказывал, как он работал над картиной «Десант на Мысхако», о боях на Малой земле. Притихшие женщины слушали о войне с напряженной уважительностью. За раскрытыми окнами веранды вянул красный ветреный закат. В саду на столике Вика листала лобановский рисовальный альбом, Егорка что-то мазал на доске красками с забытой художником палитры. Вдруг в полутьме влажного сада раздался испуганно-обрадованный голос Вики.

— Мама, мама, иди сюда! Что я нашла!

Мария высунулась в окошко.

— Да что там?

— Иди, иди же! — капризно позвала Вика.

Мать спустилась со ступенек. Подошла к столу, Лобанов услышал разговор.

— Да это папа!

— Откуда папа?

— Папа, папа! Ты что, не видишь?

— Гриша...

Голос Марии осекся. Вика, прижав к груди альбом, бежала к дому. Она кричала что-то об отце и совала художнику в руки его альбом.

— Раскройте, раскройте!

— Ну что ты, баламутная! — рассердилась бабушка Настя.

Мария объяснила:

— Это мой Гриша, тот, с бородкой. Где это вы с ним встретились?

Лобанов полистал альбом, нашел рыбака с дымчатой бородкой. «Вдавленные виски... Родинка». Вот откуда ему знакомо лицо Вики!

А Мария беспокойно вглядывалась в беглый рисунок женской головы в верхнем углу и расспрашивала, где и когда встретил художник Гришу. Лобанов, смутно догадываясь, что волновало Марию, стал говорить, что женщину он, наверно, рисовал, когда ездил к отцу, на Вятку.

Мария не поверила. Она вспомнила девчонку, которую теперь иначе никто не звал, как Лерка-разведенка. «Вот оно что». Руки Марии машинально стали теребить косу — уж лучше бы не знать ничего...

Художник уехал огорченный: будто донес на Григория.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

1

Полторанов вернулся из Праги, Сергей позвонил ему. Голос у Виктора Федоровича, как всегда, бодрый, какой бывает у человека, не знающего огорчений. И все же Лобанов на этот раз уловил в нем неуверенность. Спросил, как прошел вернисаж.

— Потом, потом, Сережа. Лучше приезжай ко мне, коечто покажу. Забирай Лину.

Узнав, что племянница в Крыму, Полторанов удивился:

— Вот загостилась! Приезжай один.

Мастерская Полторанова была в том же доме, где он жил, на Большой Горе. Просторная, с верхним светом. Педантичный порядок чувствовался в том, как развешаны на стенах немногие пейзажные этюды (почти все работы у него покупались), как стояли мольберты, задернутые занавесками, как обильно пузырился воздух в зеленом аквариуме у большого окна.

Августа Никифоровна, жена Полторанова, спросила про Лину. Сергей сообщил, что получил телеграмму: приезжает пятнадцатого сентября.

— А сегодня еще десятое... — понимающе улыбнулась Августа Никифоровна.

— Только десятое, — улыбнулся и Сергей.

Хозяйка в свои пятьдесят лет чуть располнела, что при ее росте и стройности придало ей зрелую величавость. А лицо между тем осталось по-девчоночьи милым. В больших зеленовато-серых глазах стояла грусть знающей жизнь женщины.

— Мы немного поболтаем, посмотрим «Пражские этюды» и придем обедать, — неспешно сказал муж.

В просторной мастерской Полторанов казался маленьким, Лобанов замечал это и раньше. Но то, что он двигался по прямым, будто заученным, линиям, на это он обратил внимание только сейчас. От дверей он пошел

прямо к одному из трех мольбертов, среднему. Дойдя, как бы споткнулся обо что-то, стал раздвигать занавески, точно шторы на окне. Лобанов ни у кого из художников не видел подобных устройств. Ему казалось, что разойдутся шторы, и откроется окно, обыкновенное окно в серый дождливый день. Но нет... Открылся грунтованный картон, на котором карандашом нарисован футбольный мяч. Академик с гордостью произнес:

— Младший начинает! Вернется из школы — продолжим. Недурно берет! — Он по прямой направился к другому мольберту, раздвинул шторки. Портрет Августы Никифоровны. Какое сходство! Задумчивое красивое лицо подмоложенной натуры, серебристый тон, так любимый Полтораповым. Приколотый серебряный колокольчик тюльпана на груди. Холодноватой нежностью веяло от портрета. А как сделано! Артистично, изящно. Выписан чуть ли не каждый волосок, чудная родинка у рта, будто под рукой чувствуется немолодая суховатость кожи щек. А пропорции... Плечи хрупкие, юные, отчего лицо стало как бы заметнее, величавее, задумчивее, лицо красивой женщины. Как мало изменено в сравнении с натурой, а какой результат! Наверно, это так кажется влюбленному художнику, которому уже под шестьдесят. Такой он увидел ее в первый раз...

Полторапов стоял перед портретом, приложив к лицу узкие ладони.

«Что бы он сказал о портрете моего отца? — неожиданно подумал Лобанов и поерошил волосы надо лбом. — Так все у меня резко, грубо. Но ведь страсть, жажду жизни, ее колонковой кистью не пишут...»

— Вот видишь, — вздохнул Полторапов и отнял руки от лица. — Я бы тоже раздумывал, если бы это было не мое... Теперь ты до конца понял меня?

— Да это сделано великолепно, Виктор Федорович. А вы когда-нибудь ссорились с женой?

— Ну вот ты о чем! Почему это тебя интересует?

— Да поссорился я... с Линой... И вот месяц, как у нас все скомкалось, я так чувствую. Жду ее, а у самого на сердце кошки скребут.

— Серьезная причина для ссоры? — озаботился академик.

— Глупее не придумать: приревновал к ее школьному товарищу. Потом, как всегда, все оказалось ерундой.

Полторапов тихо засмеялся:

— Приревновал? Липу? Да она же верная баба. Ну, подурачиться любит. И разыграет — будь здоров.

— Не знаю, как встретимся?

— Обыкновенно. Разлука, она ведь что-то бережет. А мы тоже ссорились, да, да! Только у нас все бывало наоборот. В молодости, конечно, Августа была ох какая ревнивица. А теперь? Теперь какая ревность? Молоденькие натурщицы мне ни к чему — у меня вечная натурщица и любовь — природа. А раз так, какая же ревность?

«О чем разговор завел?» — осудил себя Лобанов. И спросил, долго ли писался портрет.

— Долго ли? Всю жизнь! А этот вариант начал и закончил в Праге по маленькому, в ладонь, этюду, который вожу с собой. Было ужасно грустно. Августа оставалась дома... Ну, закроем? — И он задернул шторки над портретом. — А знаешь, Сережа, чем я больше писал там удивительную природу — да удивительную! — Средней Европы, тем больше скучал по нашей, по ее мягкости, задушевности, грусти, необыкновенной естественности. Там природа богата, ярка. Но понимаешь, почему-то резковата. Ты скажешь, что нечто подобное есть в моих пейзажах? Прорисовка? Да! Когда я пишу нашу природу, я добиваюсь четкости, хочу уяснить для себя, что это такое, борюсь с собой. А там я этого не чувствовал. Странно, правда?

— Значит, не успели вжиться.

— А может, и так... — Полторанов по кратчайшей прямой направился к стеллажу, где были составлены небольшие холсты на подрамниках, взял один, шагнул к правому мольберту. Тот был пуст, и Полторанов поставил на него холст. — Не бойся, не буду убивать тебя показом. Если ты вдруг загоришься показать все — проиграешь. Глаз притупляется, и даже очень хорошее покажется надоедливым. Это, так сказать, из моего опыта. Погляди, вот Прага. Я писал ее с упоением. Волшебство линий, и почти нет повторов. Стыдно было уставать, ведь устаешь от однообразия. Но этот этюд особенный.

Виктор Федорович щелкнул выключателем, и на полотно упал свет, достаточно сильный и нерезкий. На больших окнах мастерской, освещенные изнутри, заискрились капли дождя. А на мольберте перед Лобановым, хорошо высвеченный, стоял урбанистический этюд небольшого размера, шестьдесят на тридцать, вертикальный: широкая

короткая улица в разных неожиданных ракурсах двух сторон поднимается в гору, упираясь в смутно темнеющее здание.

— Это Пражский музей, известен всему миру, — сказал Виктор Федорович. — Что ты скажешь, Сережа?

Лобанов молчал. В этюде чувствовалось что-то непонятное, недосказанное. Вот и красный цеппелин трамвая. Он то ли катился по рельсам, то ли скользил по воздуху Такой опытный мастер, как Полторанов, не мог случайно сделать это, не мог «не увидеть» пространства. Тот, конечно, догадывался, что смущало Лобанова. Кто-кто, а уж он-то знал его глаз...

— Недосказанность? Да, сударь, кое-кто помешался на ней, этой недосказанности. Вот и я попробовал. Ну и как? — Хозяин пытливо взглянул на гостя. Кисточка усов его так и ощетинилась.

— Путано, но не таинственно. Таинственно было бы сильнее...

— В том-то и дело! Пока я не попробовал сам, я не понимал, что значит «сказать и не сказать». — Полторанов замолчал, задернул шторки мольберта. — И вообще, сообщу тебе по секрету, сударь, я до сих пор многое не понял из того, что происходило вокруг меня там. Не укладывается в моей голове, хотя я не ребенок и давно понимаю, что в мире искусства не все так просто, даже в условиях социализма. Тем более что социализм не нивелирует вкусы... Свобода чувств предполагает выбор. Потому у нас так много разных художников.

— А что же вас смутило? — спросил Сергей, отходя к окну с блестками дождевых капель на стекле.

— Это ощущение трудно перевести на язык слов. Друзья меня встретили отменно. Дали старинный, весьма популярный выставочный зал. Издали великолепный каталог с прекрасно исполненными репродукциями. Посмотри! — И Полторанов подал Сергею каталог, отпечатанный на отличной бумаге. — Были посетители, отклики в печати. Допустим, это официальная сторона. Но и в личных контактах все как надо, все на месте. Мы ездили на этюды. И знаешь, я испытал настоящее чувство творческого соперничества со своим другом.

Сергей листал каталог. Да, есть чему позавидовать! «Что же все-таки волнует его?» — подумал он. Между тем Виктор Федорович продолжал:

— Но на выставке, рядом с моей, этот честный мой

соперник показывал обычные модернистские и абстрактные поделки. И что мне трудно было понять, так это то, что он почему-то нисколько не смущался.

Мрачно блеснув глазами, Сергей по-матросски расставил руки.

— Реализм свой, русский, мы не предадим!

— Эх, сударь!.. Если бы это было так просто! — Виктор Федорович прошел к стеллажу, взял холст на подрамнике, поставил на левый мольберт. Лобанова тотчас приковал пейзаж с рекой — крутой скалистый берег, лес на гребне и небо. Может, это была Влтава, он в точности не знал, но сразу же понял: не в России. А сделано здорово, чисто, придраться не к чему. И это его даже испугало. Ни прибавить, ни убавить! С Репиным, с Пластовым можно спорить, а тут...

— Жаль, я знаю, что это такое: начиная работу, уже вижу конец, — сказал за его спиной академик. — И я от тебя не жду слов. Посмотри, помолчи. Как всякий художник, я жду, когда зритель, первый зритель вспыхнет. Раз ты не вспыхнул... Но ты ведь художник, Сережа, не соглядатай.

— Для меня это недостижимо. Никогда так не научусь писать. Как тонко, даже мазка не видно, но как он передает форму! А цветовые отношения — ну, все естественно, все на месте, — сказал Сергей с искренней увлеченностью.

Полторанов снял этюд, отнес на место, пройдя по прямой.

— У него-то, моего друга, было по-своему, но не хуже. И вдруг — абстракция. Два противных способа мышления и одна и та же рука, — задумчиво сказал он.

— Может, желание польстить моде? — сказал Сергей, не сдержав раздражения. Он понял, что Полторанов в Праге слишком много был занят собой, своей выставкой, этюдами, портретом Августы Никифоровны, что не ощутил сложной идейно-эстетической войны, которая, переступив границы, врывается в залы выставок, в мастерские. Нежный, добрый, оптимистический певец природы, как он верит в ее неколебимость, вечную красу! «Что же он, друг Старостина?.. — подумал Сергей и не закончил мысль. Да, он восхищен пейзажами своего учителя, его тонкой, ювелирной работой, но сам никогда не будет этого добиваться. — Моя мысль груба, проломна, и краски тоже. Мы ставим перед собой разные задачи, дорогой

учитель...» Но Виктор Федорович как-то вдруг остыл к теме разговора. Он снова подошел к среднему мольберту, раздвинул шторки. На них снова повеяло холодновато-чистой свежестью портрета Августы Никифоровны. Они долго стояли перед ним, как перед иконой. Розовое лицо академика вдруг побледнело. Это случалось обычно тогда, когда он был в высшей степени взволнован.

— Ты думаешь, Сережа, это мое начало? Как твоя «Мадонна Лина»? Нет, я в это не верю. А какой клад у тебя твоя жена! Может, и моя Августа такой же клад? А я ее просто люблю. И всю жизнь просто. А посмотри на Мишу Судогдина. Жена сотворила его, как мастера психологического портрета-картины. Именно мастера!

Лобанов задумался: кто знает, где она, мадонна? У каждого своя. И сказал:

— Каждый пишет свою любовь. А потом она делается мадонной...

— И ты, сударь, научился философствовать? Молодец! А видел, как написал портрет жены Елизар Иконников? Знавал и любил его как графика. Тонкий рисовальщик, светлый, радостный, с юмором. А выставил живопись: бог ты мой! Все потерялось в манерности, в черно-коричневых тонах. Не мыслит он цветом. — Полторанов горестно махнул рукой. — Лицо, дерево, небо — все не настоящее, все из одного неживого материала — папье-маше, что ли? И жена вот такая: черно-коричневая. Вот твоя «Мадонна Лина». Как ты тогда взял, интуитивно еще, не спорь, многие работают интуитивно. Может, это и лучше. Какой колорит. Холодноватые тона неба, моря, гор, пронзительно-белый берег и сестра милосердия в черном. В черном! Ну а бескозырка на лице павшего матроса? Нет, сударь, от тебя жду «Новую мадонну». Женщины для художника — большая тайна. И чем она глубже, эта тайна, тем мучительней работа и ярче открытие. А ты ревнуешь вместо того, чтобы писать, создавать свой образ.

«А она в приживалках у Нила Горбаткина... Может, в любовницах», — подумал Лобанов и покраснел от унизительного стыда.

— Ты расстроен, сударь... Из-за Лины? Ерунда, помиритесь. Если уж прислала телеграмму, то считай: прощен! Значит, ты будешь в Радонеже? Поглядеть хочу, что ты там сотворил. Разве я не заметил: хвалишь меня, а сам недоволен. Натянут, как пружина. Знаешь, такое

с кем случается? С человеком, который нашел самородок золота. Еще никто не знает о том, что он нашел, но все чувствуют: что-то тут не то. Уж не подобрал ли ты ключи к вечному искусству?

— Не к вечному, нет. Но... — Он не договорил.

— Ладно, растолкуешь за обедом. Августа Никифоровна зовет к столу.

Сергей оглянулся. Хозяйка стояла позади них и с грустью смотрела на свой портрет. «Когда, когда я была такой молодой?» — говорили ее усталые глаза.

2

Лобанов работал на даче. Выдался холодновато-прозрачный день, и в мастерской было светло от низкого сентябрьского солнца. В полдень он увидел в окно двоих, идущих по тропинке. Они были похожи друг на друга и очень знакомы Лобанову, и он, конечно, узнал их тотчас. Шли они неспешно, то и дело останавливаясь и о чем-то говоря, увлеченно и заинтересованно. Кажется, окружающий солнечный сентябрьский день не касался их, — они были сами по себе, и мир вокруг них тоже сам по себе. Когда они вышли из тени, на солнце вспыхнула рыжевато-серая шевелюра Полторанова и мягко засветилось красивое лицо писателя Старостина. Он никогда не видел их вместе и потому не мог и подозревать, что они как бы повторяли друг друга и старались ни в чем друг другу не уступить. Невысокие ростом, по-молодому легкие и подтянутые, они как бы соревновались в благородстве осанки и постановке головы. Движения рук у них были значительны, шаги неторопливы. «Интересно, — подумал Лобанов, — как бы я их написал?»

На мольберте — натюрморт, трудно ставил его, но вот он наконец «пошел». Непритязательный сюжет: угол книжной полки, гипсовая фигура Венеры Таврической, которую рисовал еще на академических уроках, древнерусский стальной шлем, что когда-то принесла ему Лина из реквизита театра и сказала: «Настоящий!» И опять же черная и еще красная бархатная юбки жены. Ум. Красота. Сила. Жизнь и смерть. И хотя натюрморт мог получиться «вполне», как любила говорить Лина, но показывать такой пустячок знаменитостям, да еще в начале работы, не хотелось.

Прежде чем выйти навстречу гостям, Лобанов снял холст с мольберта и осторожно поставил к стене.

Старостин, подавая Лобанову руку, проговорил с серьезной усмешливостью:

— А по-моему, Виктор Федорович, твой ученик хитрый-прехитрый вятский мужичок и что-то затаил в себе. Вот увидишь!

Он отступил с тропы, и теперь Полторанов — он был тоже в сером коротком плаще и серой шляпе — энергично пожал руку своему ученику.

— А помните, что говорил о братьях Васнецовых их земляк Шаляпин? Поразительно, говорил он, каких людей рождают на сухом песке еловые леса Вятки. На удивление изнеженных столиц выходят из вятских лесов, как бы из самой этой древней скифской почвы выделанные. Массивные духом, — понимаете, Максим Петрович, — массивные духом, крепкие телом богатыри... А? Каково?

— Ну а я начну хвалить калужских, Константин Федин — своих, саратовских. Вот и разнесем великое русское искусство по губерниям, — иронически проговорил Старостин.

— Максим Петрович, — Полторанов потрогал щеточку усов и хитро сощурился, — я коренной москвич, а жду таланты из глубины России. Нам, москвичам, уж очень охота все узнать, все объять, а это разрушает своеобычие творца. А когда художник вдруг спохватится: написан воз холстов — ну и что? — тогда он пытается вылезти за счет манеры. Удается это не всем.

«Неужели он это и о себе?» — мелькнула у Лобанова мысль, но он тотчас устыдился ее.

Гости будто не замечали его. Разговаривая, они бродили по участку, заросшему хмелем. Сергей слышал, писатель говорил о таланте человека любить землю, художник отвечал, что абстрактной любви не бывает, она должна быть материализована. Кажется, они не очень доверяли друг другу. Но когда зашли в мастерскую и освоились в ней — сняли пиджаки, галстуки, расстегнули вороты рубашек — они уже не прикрывались отвлеченными разговорами, а каждый говорил, что думал. Конечно, они потребовали показать «шедевры». Лобанов стеснительно мялся. Хотелось начать с пейзажей, привезенных с Вятки, из села Красное, чтобы уважить учителя, но в то же время писателю хотелось показать что-то социально ост-

рое. Как много значили те мысли, которыми Максим Петрович поделился с ним и которые заставили его по-иному взглянуть на свою работу. И еще: писатель с уважением говорил о Федотове, любимом, хотя и дальнем, учителе Лобанова, и это тоже что-то значило.

— Хорошо, что вы скромничаете, — заметил писатель. — Скромность — непременная черта таланта.

— Не учите его этому! — тотчас возразил Полторанов. Он, кажется, чувствовал взаимное тяготение Старостина и Сергея друг к другу и ревновал. — Скромность — путь к забвению. В потоке серости талант обязан напоминать о себе. Если хотите, сражаться за свое право быть талантом.

— У вас все шиворот-навыворот.

— А у вас?

Лобанов не дал им увлечься спором. Он был убежден, что созданное человеком скромным и талантливым живет и после его смерти, а шумным, но бесталанным умирает раньше его. Но подливать масла в огонь спора не стал. Он поставил на мольберт портрет отца и увидел, как он грубо написан, перегружен красочной массой. Мазок крупный. Детализация минимальная, все обобщено. В мастерской стало тихо. Писателю, Сергей сразу понял, портрет понравился, но он выжидательно молчал: что скажет маэстро? Но и академик молчал. Портрет захватил его: такая воля к жизни, естественность композиции, цвета. Но что за варварская манера?

— Жестко, жестко, сударь, — сказал наконец Полторанов. — Ты изменил свою манеру.

— Мне надо было сказать что-то сильное. А манера... она сама собой приходит.

— Сама собой? Нет, сударь, манера — это одежка, по которой судят о вкусе.

— Ха-ха! — по-простецки рассмеялся писатель. — По одежке, как известно, только встречают, дорогой мой друг. А о вкусах можно и поспорить. Но я не специалист, Виктор Федорович, по-дилетантски не хочу говорить о манере. Но посмотрите, как все связано в единый смысловой узел. Старик — он не на полотне, но уже со мной. И все пластически определенно: человек много пожил, много сделал доброго. Почуял свой предел и восстал. Народный характер! А пейзажный фон портрета — это целая жизнь. Плетень, одинокий подсолнух. Не знаю, сходен

ли старик с оригиналом, но в чертах есть что-то авторское.

— Это мой отец, — сказал Лобанов.

— Вот видите! Я догадался по глазам. Явно же драматическая интонация, что вы и сами не откажетесь засвидетельствовать, дорогой друг, посмотрев в глаза нашему визави.

— Ну, ну... Может, это и так. Но легко открываются и другие прочтения. Я не о том. — Полторанов насупился. — Я о том, чтобы художник учился писать, от картины к картине утончал мастерство. Что это за мазок, Сережа? Право, так можно дойти до разрушения формы. Понимаешь, все у тебя тут на грани. Эту грань, когда за ней все будет читаться иначе и восприниматься как обратное тому, что ты хотел сказать, ее, эту грань, умели держать только великие. И то не всегда. Нет, не всегда, — добавил он значительно.

— А ну-ка, что у вас еще есть, Сережа? — спросил писатель. — А этого пророка поставьте на стул. Покажите «Селенгу», а?

— Я испортил «Селенгу», — сказал Сергей.

— Вот это да!

— Что за «Селенга»? — заинтересовался Полторанов.

— Когда был у меня, показывал. Испортил! Такую прелесть!

Лобанов снял портрет отца, поставил на стул так, чтобы свет не падал на него, достал еще не дописанного «Браконьера». Он уже заранее знал, что работа не понравится академику, но что оставалось делать? Может, это как раз то, что очень нужно было ему написать? Во всяком случае, написав «Браконьера», он почувствует, что отвечает в жизни за что-то очень большое. Странное это чувство, его он раньше не испытывал.

Писатель вскочил с чурбака, пробежал по мастерской. Куда девались его степенность и умная осторожность!

— Суд, гражданский суд над мародерством, над разорительством. Да, да, Виктор Федорович! Не знаю, подвергнешь ли ты его профессиональной экзекуции, может, и есть за что, но я бы художника Лобанова в пример другим поставил. Вломился в современность, а? В самое огнище.

— Да, скорый ты, Максим Петрович, на похвалу. Художника ценят не по идее. За это хвалят плакатиста.

— Это не плакат. Это образ! — вспылил писатель.

— Образ? Согласен! Но посмотри... — Полторанов встал, подошел ближе к мольберту. — Белесовость вообще противопоказана живописи. А у тебя что, Сережа? Река, небо, рыба, глаза... Что за колорит? — И подумал, холодея: «Белесое — это доведенное до абсурда мое, серебристое. Вот оно что!»

— Когда бьют в набат, не считают, какая доля серебра в колоколе, — заметил писатель.

— А сюжет? Это же фельетон. Банальность!

— На банальных сюжетах держится весь Шекспир. Нет, ты посмотри, Виктор Федорович, таким простым способом вскрыть глобальную проблему: природа и мы. Так осудить человека-грабителя, пагубность его действия?

Виктор Федорович молчал. Он стоял глубоко опечаленный.

— Злой ты стал, Сережа! Злость иссушает талант.

— Иссушает талант душевная аморфность, — возразил писатель. — А святая злость питает талант. Если хочешь, Виктор Федорович, эта работа Лобанова — нечто новое в нашем искусстве. Он хочет помочь человеку стать лучше.

— Новое! Ему не дает покоя Федотов... Так разве это новое?

— А что такое новое? Говорят, просто на время забытое старое. На время! С допусками это можно принять.

В таком духе разговор шел еще долго. И чем дольше он продолжался, тем неуютнее чувствовал себя Лобанов. Он и сам был не рад, что показал эти картины, поссорил друзей. Чем их теперь помиришь? Показать пейзажи из села Красное? Чай сообразить? Была бы дома Лина... И он, уходя разжечь самовар, снял и положил на стол папку картонок. Он посчитал, что это как раз те этюды, из Красного, но оказалось, зарисовки из речного порта. Гости остались их смотреть, продолжая спор о «Браконьере». Но вот их увлекли картонки, с которых смотрели голубые доверчивые глаза молодой русской женщины. Простое лицо, золотистая коса на груди. В губах, сложенных строго, обида.

— Ого, это подступы... Тут что-то есть, — сказал Полторанов, хватая лист за листом и зорко всматриваясь в них. На всех лицо этой женщины. Разное. Строгое, улыбающееся, страдающее. Это была Мария. На кране, в каморке, после аварии. В вагоне. В деревне. Вот недописан-

ный этюд маслом. Какая прекрасная линия спины и затылка. Пожалуй, уловлено напряжение в теле, сильном и гибком, спортивно-натренированном. Сережа ищет. А что, он так и не может понять? У нее тайна. Да! Похоже, эта тайна связана с глубокой обидой, такой глубокой, что дает ей «второе» зрение, а значит, и свое, личное отношение к миру? Это может быть серьезно. Находка. Писатель между тем листал рисовальный альбом. Очевидно, это были заготовки к картине «Русь в походе», о которой Сергей рассказывал ему в прошлый раз. Листая, он видел старые улицы, соборы, монастырские стены Лавры, ризы, кресты, хоругви. Да, все это могло пригодиться в картине. Похоже, Сергий Радонежский, благословляющий князя Дмитрия в поход на врага. А вот и князь Дмитрий. С высокого живописного бугра он, высветленный ранним утренним солнцем, четко видится на фоне хмуро-настороженного векового ельника, перед ним проходят полки. А вот он на белом норовистом коне, приседающем на задние ноги от нетерпенья и предчувствия пути. А вот село Городок. Да, где-то тут стоял древний русский город Радонеж, откуда и собирались в поход полки князя Дмитрия. На этюде все меркло в осеннем полусвете дня, глохло в немом беззвучии. Природа гасла, притушив краски: грустный, отходящий мотив. Зарисовка старых земляных валов, характерных мест, холмов, дорог, лесных опушек. А вот копии икон святого Дмитрия Донского. За приблизительностью письма угадывается свой, лобановский образ человека. Он ведь должен был прийти, этот разрушитель долготерпения и строитель новой воли, нового психического состояния людей.

Писатель встал, шагнул навстречу Сергею, принесшему чай, взял из его рук чашки, поставил на столик, обнял его, чувствуя себя слабосильным перед могучестью его матросских плеч. Заговорил:

— Что ж! Вы уже чувствуете «Русь в походе». Много накоплено, много! Теперь главное: что вы хотите сказать?

— Я знаю, Максим Петрович. Много думал после той нашей встречи и почувствовал то страшное время раздоров, междоусобных распрей, татарских набегов, медленного одичания, которое нужно было остановить, прервать каким-то невероятным взрывом. Этим взрывом стала Куликовская битва. «Русь в походе» — ее предтеча.

Сели в вагон электрички. Полторанов надулся, отвернулся к окну. Когда он дулся, то как-то смешно шмыгал носом; щеточка усов обиженно вздрагивала. Писатель не понимал причины вспышки его самолюбия. Походил бы в шкуре писателя, узнал, почем фунт лиха. Теперь все грамотные, все знатоки литературы. Иной просвещенный читатель такую программу развернет, как писать книги, что перед ним почувствуешь себя школяром и три дня не берешь в руки ручку.

— А матросик-то ничего. Парень с хваткой, — начал писатель, чувствуя неловкость. — Я бы премию ему дал. За портрет отца и за «Браконьера».

Полторанов живо повернулся к нему.

— А что премия ему таланту прирастит?

— Но не убавит же, нет!

— Матросик знает себе цену, не беспокойся, сударь. Впрочем, раскошелься, отвали премию, ты ведь член комитета. Утверждай торопливую работу, приучай к скороговорке. А Сережа к тому же еще молод, мозолей не набил.

— А зачем старикам премии? Нет, батенька, талант смолоду должен быть замечен и отмечен.

— Отмечали. Сколько их, авторов одной «отмеченной» картины? Выложит все, что накопил, и пошел пузыри пускать.

Так они тряслись в электричке, то замолкая, то снова споря.

А Сергей, проводив гостей, остался стоять на платформе. Он боялся возвращаться домой, боялся взглянуть на полотна, поссорившие таких давних и верных друзей, какими были Полторанов и Старостин. Его тянуло к писателю, который понимал его устремления. Но Полторанов-то учитель, разве он худа желает своему ученику? Разве он не прав, когда выговаривает ему за грубую работу? «Пойду и замажу к чертовой матери. Чтобы и следа не осталось!»

«Браконьер», которого он любил за откровенность и ненавидел за зло, глядел на него с картины, ожидая приговора. Сергей неторопливо ходил по мастерской, промыл кисти, взял палитру, выдавил краски, которые потребуются, чтобы записать героя, несколько раз подходил к нему, поправляя то блик на лице, то пальцы на руках, сведенные в цепкой хватке.

— Я вижу, тебе не хочется умирать, — сказал он «Бра-

коньеру». — Я тебя породил... — Он взял черной краски и пошел к картине, держа кисть, точно маленькое копье.— Собака ты, и умереть по-настоящему не можешь, жадина! Казнись теперь всю жизнь.

И бросил кисть в нефть.

3

Самолет опаздывал. За окнами аэровокзала клубилась серокисельная непроглядность тумана. Сергея раздражало все: и туман, и самолет, задержавшийся в Симферополе, под голубым небом Крыма, и Лина, которая почему-то забыла про осенние туманы и взяла билет именно на утренний час; и он сам ненавидел себя за то, что, не имея пристрастия провожать и встречать, неизвестно зачем помчался на аэродром. Он еще не понял, что внутренняя неуравновешенность, охватившая его в последнее время и выражающаяся в ненужной суетливости, есть результат того, что ему не работалось. И чтобы окончательно не возненавидеть себя, он искал занятий: обошел выставки, аккуратно являлся на собрания и обсуждения, куда его приглашали, побывал в мастерских кое у кого из художников и в студиях молодых, приглядывая что-нибудь для будущей выставки «Советская Россия», как обещал парторгу. Такое случалось и раньше, и он не всегда давал себе отчет в том, что с ним происходило, и понимал лишь тогда, когда это кончалось, и он снова сутками не отходил от мольберта. Да, ему сейчас не работалось... Его перестал увлекать «Браконьер», и начатый на большом полотне Донской никак не компоновался.

Стоя перед огромными окнами второго этажа, обращенными в сторону бетонного поля, где что-то все-таки гудело, он вдруг почувствовал в себе тягостную глухоту, и только сейчас он понял, отчего она: сколько дней он не брал в руки палитру! Все куда-то торопился, что-то не успевал сделать, кого-то забывал навестить. Оказывается, если не работаешь, тоже находятся неотложные дела. Хотя бы вот эта поездка на аэродром...

У Степана Докуки уходят на такую суету целые годы.

«Да что ты коришь себя аэродромом? — остановил он себя. — Тебе не терпится увидеть Лину, и ты не знаешь, куда деться от тоски и ревности. Разве не поэтому у тебя нет настроения и ты не работаешь? Тебе не нравится, что

она все это время провела рядом с Нилом, в письмах ее то и дело мелькало его имя. Но ты же знаешь, они и раньше были друзьями, ведь Нил учился у Полторанова». В последнем письме Лина серьезно заявляла, что бросит все и займется живописью. Это сильно огорчило Сергея. Кто-кто, а он-то знал, что Лина — хороший декоратор, мышления художника-живописца у нее нет. А Нил мастер подначивать, иногда коварно. Не задумывается, что одно его слово может сломать человеку жизнь. Ему-то жалко разве... Бросит на ходу небрежно: «Что-то есть», — замутит голову и отойдет в сторону: разбирайся сам. А если человек не знает сам себя?

Он не заметил, когда стал редеть туман. Вывалился откуда-то тупорылый автобус, а когда он скрылся, над темным мокрым бетоном повисло, словно плоская просящая рука, черное крыло самолета. Оно все светлело и светлело, вот уже луч солнца преломился на острой грани, колюче отразился, и Сергей увидел, что аэродром полон жизни, которая вдруг сразу открылась ему. И неожиданно поймал себя на том, что боится увидеть Лину, идущую к дверям аэровокзала. Спустя какое-то время он действительно увидел ее идущей от трапа самолета, который подрулил почти к самому вокзалу. Она шла своей красивой легкой походкой, будто плыла. Лина была в костюме стального цвета с черным воротником и черной отделкой на рукавах. Нил шел рядом, важно, солидно, будто нес себя. Позади них Сергей увидел знакомые лица художников, друзей Горбаткина, или, как острили злые языки, членов «кружка гениев». Все они были заметные в искусстве ребята, это верно, возвеличенные уже при жизни, умеющие держать себя, то есть выделиться. Их бородатые лица были устало-значительными, глаза выражали нечто отрешенное от этого обычного мира, ничуть не занимающего их. И на вернисажах они отличались от других глубоким самоанализом героев, большей частью самих себя, и манеру усвоили отличную от других — обходились тремя красками: черной, коричневой, белой. Нил Горбаткин при том же внимании к самоанализу был красочнее и теплее. Сергей не хотел с ними встречаться, не мог. Издали, из-за колонны, наблюдал, как они получали багаж, как отбирали вещи у Лины, не давая ей самой нести, а Лина все оглядывала толпу, наверно, хотела увидеть его.

Но он не тронулся с места.

Шофер такси донес вещи до лифта, Лина вышла с ними на своем шестом этаже.

Когда Сергей вернулся с аэродрома, в ванной слышался плеск воды. Дорожный костюм Лины болтался на вешалке. Все было обычно, как всегда. И тут стыд охватил его. Он сбросил бушлат, подошел к двери ванной.

— Это я, — сказал он, приоткрывая дверь. — Здравствуй!

Она вся была в мыльной пене.

— Сережа, ну где ты? — Она плескала воду в лицо. — Закрой же дверь, я без того продрогла. И жрать хочу. Ты захватил рюкзак?

— Да, — сказал он.

— Там мои работы и вино. Отличное, масандровское.

— Пригодится, — сказал он.

— Принеси простыню и халат. — Наконец черные цыганские глаза ее блеснули под белыми от мыла бровями.

Вечером смотрели работы Лины. Приехал ее отец, суетливый, невысокого роста старичок с круглым розовым лицом и редкой белой бородкой. Он бегал по гостиной, близоруко склонялся к картонкам, расставленным на стульях и диване. Это были зарисовки окраин Ялты и Гурзуфа. Дувалы, сложенные из природного известкового плитняка, затравевшие узкие улочки с размытыми пятнами тени, пробитые до камня тропинки — тихий мир старины и покоя, то серо-коричневый, то серо-пепельный, с кривыми черными и толстыми корявыми суками яблонь. И в каждом этюде — она, Лина, автор. То она хрупкой тонконогой девочкой лепилась где-то в уголочке, едва заметная среди броских деталей; то старушкой в черном платочке, небрежно повязанном, сидела на камне у ворот; то палкой погоняла ослика; то стояла с кистью в руке, застывшая перед этюдником. Чистейший Иконников, который присутствует чуть ли не на каждом своем полотне: за обедом, в кафе с друзьями, отдыхает, лежа на скамье, в качестве врача принимает больную, просто сидит, ничего не делая. Он даже однажды вписал себя в какой-то сюжет из времен гражданской войны: с палитрой и кистью стоит на переднем плане, а навстречу ему летит эскадрон конницы. Вот пошла мода!

Сергей вдруг подумал, что жена разыграла их, показав рисунки какого-то ребятенка. Ее работы, увлекись она ими, конечно, куда серьезнее, умнее, талантливее, и она приберегла их, чтобы удивить, поразить, да так, что у всех

распялятся рты. И ему сделалось действительно весело: какая умница! Да и те из «кружка гениев», разве они могли бы хвалить эти картонки, зарисованные с бесхитростной детской наивностью? Открытие рассеяло так неуместную сейчас напряженность. Ведь он был все еще во власти встречи с Линой, ее несдержанной любви, искренней и открыто желанной. Тут не было и не могло быть лжи.

Тесть начал говорить, от волнения как-то странно присвистывая. Наконец, сказал он, открылся у его дочери настоящий талант живописца.Сергей стал внимательно слушать. Тесть говорил о кажущейся наивности, в которой упрятана тонкая ирония. Вроде бы так себе, шуточка, а какая во всем роковая неприкаянность человека, его одинокость, стоит только ему понять себя, осмыслить свое место в мире вещей и связей.

— Нет, ты, Сережа, только посмотри. Это всего-навсего начало, а уже поиск философских решений: «Человек и мир», уже попытка эмоционально воздействовать на зрителя, убедить его в своей правде...

Старик еще что-то говорил, прослезился, обнял дочь и поцеловал ее. Лина подставила щеку молчавшему в странном смятении мужу, ей казалось, что и он взволнован и обрадован, и Сергей поцеловал ее, забывая, что он художник и ему положено смотреть на все только своими, единственно своими глазами. Но в какую-то минуту он взглянул на этюды жены глазами ее отца и поверил ему.

4

Лина зашла за Сергеем в мастерскую, и домой они вернулись вместе.

Дома, кроме Анны, был Алик. «Совсем прижился, — недовольно мелькнула у Лобанова мысль. — Жених! Что они сегодня задумали?»

— Сергей Сергеевич, мы ждем вас и Лину Леонтьевну, — сказал Ивушкин.

«Совсем свой, — снова недовольно подумал Лобанов. — Родственные чувства!»

Вошла Лина, кивнула Алику.

— Принес? — спросила она тихо.

— Да, все как надо, — ответил парень.

«О чем это они?» — подумал Лобанов, снимая бушлат.

Но секрет тут же открылся, когда Лина сказала, что Алик принес хороший коньяк. Он прилично зарабатывает.

— Пишет натюрморты? — рассмеялся Лобанов.

— Да. По моему совету. Нашел два сюжета и повторяет их. Варьирует формы предметов.

— Как же так? Забавно!

— Алик, объясни великому художнику. А я — на кухню. Что-то там у Анюты горит.

Действительно, в коридоре пахло подгорелым мясом.

— А это просто, Сергей Сергеевич, — стал объяснять Алик. — Для меня предмет не имеет формы. Линия разрушена. Я создаю ее сам. Горлышко кувшина, скажем, может быть изогнуто то вправо, то влево, это и организует композицию. Остальное решает цвет. Точнее, он решает все.

— Ладно. Следующее слово за мной,— сказал Лобанов, сбрасывая ботинки. Он надел разношенные тапочки и пошел на кухню. Там было сине от дыма. Дым тянулся в открытую форточку.

— Анюта, — крикнул он, — я тебя не вижу!

— Отец! — раздалось из дыма. — Подождите где-нибудь. Мы сейчас проветримся.

Лобанов вышел из кухни.

— Закрой дверь, а то задымим всю квартиру! — услышал он голос жены и затворил дверь. Он прошел в комнату дочери, туда дым еще не дошел. В ней было свежо и светло. Алик по-домашнему сидел у стола. В руках его был штифт и какая-то незаконченная работа из кости.

— Смотрит глазами Докуки. Ничего своего! — сказал Алик, подавая Лобанову заготовку, в которой угадывалась фигура крупного сильного зверя.

— Это школа, — сказал Лобанов, вертя в руках кость. — Люди учатся ходить, как все, одинаково, а для художника важны первые шаги. Если он сделает их путем, то сразу почувствует прочную землю под ногами.

— Ну нет! Надо сразу находить себя, чтобы на всю жизнь не остаться эпигоном.

— Ты нашел! Та стена, что ли? — Лобанов подошел к окну. Темнел сквер на проспекте. Огни еще не зажглись.

— А что? Это мои глаза на мир. И я не хочу повторять зады искусства. Я хочу выражать жизнь.

— При помощи абстракции? Это как раз чужие глаза.

— А разве вам не все равно, чем вы выражаете жизнь? И себя? Если вы еще не знаете это, то я вам скажу... Вы,

именно вы не задумываетесь о внешней стороне. Для вас, как и для меня, внешнее лишь суть внутренней жизни.

— Да! — Лобанов задумался. Вдруг лицо его оживилось, в глазах рассеялась тяжелая сосредоточенность, в них появился острый колющий свет.

— Ты ошибаешься, Алик! — сказал он, загорячившись. — Ты путаешь внешнее, то есть оболочку объема, со взглядом на вещи. Всякая жизнь — да это ты должен знать, ведь учился же! — возникает внутри себя, развивается, раскрываясь, изнутри — вовне. Это и дает форму. Жизнь не повторяется в одинаковом проявлении, значит, не может быть и двух одинаковых объектов. Отсюда и характеры. А у тебя? Что у тебя под поверхностью геометрических пятен? Там есть жизнь? Там есть сущность, требующая своей неизбежной формы? Там есть характер? Чей-то или ваш? Нет ничего?

— Мой метод — цветовой реализм. А цвет — это идея! Не мои слова.

— Верно. Но нельзя заучивать. Если он, этот цвет, в колорите, тогда верно. В общем колорите, а не в хаосе. Хаос выражает только хаос. Искусство же — это чувство. Это тайна. Только чувство, слитое с видением мира, особым у каждого художника, дает идею. В голом виде идея живет лишь в плакате.

— Мое искусство не плакат!

— Даже не плакат. С этим я согласен.

— Но почему люди тянутся к нам? К нашим «пятнам»? Я видел это много раз. У себя дома я устроил выставку. Людей было!

— Слышал. Тут дело не в пятнах, а в воспитании вкуса. Людям со школы надо прививать любовь к искусству, к настоящему. А если вкус не воспитан, то тогда достаточно бывает пятен. А твоя домашняя выставка — просто сенсация.

— А что такое настоящее искусство? Где мерило? — Алик встал в позу бойца. Светлые его волосы взъерошились, упали на лоб. В синих глазах уже не было добродушия.

— Мерило — жизнь! Плюс талант. Это и есть настоящее. Разве не так?

Они бы спорили еще, но вошла Лина и позвала ужинать. Увидев, что оба они взволнованы, предупредила:

— Сережа, не испорти нам обед! Опять нападаешь на Алика? У нас праздник.

Сергей шутливо пожаловался:

— Вы секретничаете, а я хочу есть.

— Ну потерпи, дружок, еще немного, и мы откроем тебе великую тайну.

Лина была необычно взволнована. Похоже, событие касалось ее лично. Вчетвером сели за стол в гостиной. От цыпленка несло горелым, но закуски были свежи и ароматно пахли. Огурцы, помидоры, вареная картошка и ломтики очень красной семги, которую любила Лина, все вызывало аппетит. Хозяина попросили разлить коньяк. Лина подняла рюмку, помолчала. Сергея раздражала эта игра в таинственность. Но жена не заставила долго ждать, сказала кратко, низкий голос ее прозвучал удивительно мягко:

— Я очень рада выпить за тебя, Алик. Сережа, выпей и ты за нового члена Союза художников. Будь удачлив, Алик! — И первая, чокнувшись, выпила до дна.

У Сергея невольно дрогнула рука: вот оно что! Да, такую новость лучше держать в тайне... Все заметили эту заминку, и оживление за столом вдруг споткнулось. Алик и Анна выразительно переглянулись.

«Ну что, дружок, приходится мириться с фактами, — мысленно обратилась Лина к мужу, беря на вилку очень красный ломтик семги. — Ты бы, конечно, заставил всех работать под Федотова, Рембрандта и Репина, но художники всегда искали что-то свое. Придется тебе многое пересмотреть в своих взглядах. Нельзя быть ограниченным...»

«Ничего, дед Лобанов, я как-нибудь переживу твою неприязнь, — думал Алик. — И хотя я уважаю тебя, дед, как отца Анюты, но никогда не буду поклоняться. Ни творчеству твоему, ни мыслям. И давай будем уважать друг друга просто как люди. Мы же теперь ровня».

Анна, едва прикоснувшись к рюмке, замкнулась и молча стала есть. Она равнодушно приняла известие о приеме Алика в Союз художников, для нее еще не было авторитета в корочках, тисненных золотом. Единственно близки были ей скромные корочки комсомольского билета. Ее учитель Степан Абросимович Докука был знаменит еще с довоенных лет. В Париже, на Всемирной выставке, французы восхищались его удивительной резьбой по кости, а ведь он не был тогда в Союзе художников. Разве людям не все равно, кто написал картину или что-то вырезал из кости, из дерева — образ человека, а то и зверя? А работы

Алика? Она как-то не связывала их с сегодняшним событием, все время чего-то ждала от него, во что-то верила... Но как бы там ни было, Алик — ее друг, а сегодня он гость семьи, и не уважать его, значит не уважать всех, кто за столом. Единственно, чего сейчас опасалась Анна, что отец мог обидеть Алика. Но, странно, отец вел себя самым неожиданным, по ее мнению, образом. Он произнес тост за Алика, за то, чтобы его талант развернулся во всю его цветовую гамму и чтобы у него как можно скорее выяснилась сокровенная идея жизни, которую он непременно захочет высказать людям. Алик не уступал ему в благородстве и провозгласил тост за «папу Лобанова», чем вызвал одобрение Лины. Она шепнула мужу: «Ну что, съел? Какой умный и тонкий мальчик». А Сергей подумал, что надо попробовать поскрести этого парня, авось под слоем чужих красок покажется своя первородная стать. Ведь не родится же человек абстракционистом. В детстве он видит реальные предметы и запоминает их на всю жизнь.

5

Два раза в неделю Анна ездила в мастерскую Докуки. Старый косторез увлеченно занимался с ней. Это была, кажется, последняя его ученица — серьезный интерес к ремеслу остывал. Это и понятно: индивидуальная работа стала не в цене, старые почитатели ушли из жизни, с ними ушли и моды. Новые люди не понимали ценности единственного в мире экземпляра изделия, довольствовались дорогой штамповкой из желтого металла, хотя любая, даже скромная, работа Докуки стоила немалого золота, если ее с пониманием оценить. Народные ремесла ушли в массовость. Помимо эстетической ценности, они еще кормили их создателей и давали доход. Индивидуальные шедевры Докуки не кормили его и не давали дохода. Пробовал он заняться станковой, даже монументальной, скульптурой, лепил вроде не хуже других, но его не признавали. Делал сложные композиции, но на них тратилось бесконечно много усилий и времени, а кому они были нужны? Последняя его задумка «Бородино». Основа многофигурной композиции литературная: известное стихотворение Лермонтова «Скажи-ка, дядя, ведь недаром...». Сам поэт был героем композиции, и перед его взором как бы вновь разгоралось сражение. Естественно входили

в композицию бойцы другой войны — Великой Отечественной, насмерть стоявшие на Бородинском поле осенью сорок первого.

У Докуки уже давно «не шло». Вылепленные из пластилина фигурки пылились на полках в мастерской.

...Со станции Докука отправился на Бородинское поле автобусом. Он ехал сюда, чтобы еще раз увидеть знакомые места, поискать связки для своей композиции, чтобы чем-то объединить уже готовые многочисленные фигуры, сцены, сюжеты. Мысль ничего не подсказывала, и надо было обновить наблюдения. В дороге все его раздражало. Прежде всего раздражали непонятно отчего чрезмерно веселые и крикливые экскурсанты, как будто они ехали на пикник, а не на место кровавых схваток за родную землю. Раздражала даже медленная езда.

Мелькали селения, поля, леса. Деревья еще не облетели, и, когда Докука вышел из автобуса, он увидел желто-багряные рощи, пламенеющие в зыбком свете утреннего солнца. Умершая и умирающая листва как бы спорила с ярким колющим блеском в ночь легшего на поля первого снега. Теплый цвет лесов и зыбкий блеск земли, меняясь попеременно в глазах художника, создавали впечатление странной, нереальной картины, где время и цвет перемешались.

Высокий, в дымчато-сером длинном пальто и коричневой широкополой шляпе, с вялым бледным лицом флегматика, Докука недоверчиво оглядывал поля. То, что виделось ему сейчас, противоречило его восприятию мира. Он всегда видел землю в свете и тени и другой ее не представлял. Здесь же все было ярко, и эта яркость убивала тень, а значит, и глубину, и мир для него был хотя и цветастым, но плоским.

Сунув руки в карманы пальто, Докука зашагал к старой Смоленской дороге, памятной ему по сорок первому году. Здесь в октябре с группой аэродромной службы он бежал к городу после прорыва немцев. Тут на вечерней красной заре они вышли на опушку, увидели распластавшихся над землей высоко поднятых чугунных орлов на белых обелисках — на фоне заката они рисовались четко. Черная змея вилась тогда по старой Смоленской дороге — немецкие танки и грузовики торопились к Москве. И как только погас закат, отступили в темноту орлы,

зато дорогу осветили сотни фар, — немцы шли безбоязненно. «А мы жались во мраке леса, — с прежней обидой подумал сейчас Докука, видя дальние сверкающие золотом рощи и угадывая за ними старую Смоленскую дорогу. — Как воры в чужом амбаре. А они шли... Шли со светом...»

Может, тогда, когда он, голодный и подавленный, едва держась на ногах, охватив руками ствол березы и ощущая щекой гладкий холодок ее коры, глядел на землю перед собой, названную Бородинским полем, и родилось в его сердце особое чувство к этим местам. Он вдруг увидел тогда ночное поле в огнях костров русской и французской армий, какие-то мелькающие тени, порхающие в высоте, в самом воздухе, красные переменчивые лица солдат, будто изнутри подсвеченные неверными отблесками пламени.

В сорок первом, в ту ночь остатки разбитого пехотного полка и примкнувшая к ним аэродромная служба не осмелились выйти из укрытия и напомнить немцам о гордой земле. И было больно и стыдно за свою слабость и униженность. Перед утром они услышали гром орудий в стороне, где осталось Бородинское поле. Вскоре узнали, что там, на орлиной земле, встретила немцев сибирская дивизия полковника Полосухина. Его, Степановы, земляки! Бородинское поле связало тех, давних, героев с его земляками — полосухинцами. Долго он шел к осмыслению этой связи. Умом и сердцем чувствовал ее, надо было еще увидеть в образах, воплощенных в его маленьких фигурках, которые он замыслил.

До полудня Степан ходил по старой Смоленской дороге надеясь опознать место, где он двадцать пять лет назад плутал тяжкой осенней ночью. Но память не нашла зацепок. Даже обелиски с крылатыми орлами не проглядывались отсюда. Может быть, подрос лес или новые строения загородили поле?

Из личностей, кроме Кутузова и Багратиона, Степана особенно привлекали братья Тучковы. Три брата, и все военные. Двое из них, генерал-майоры, погибли вот здесь, на левом крыле русской обороны, Багратионовских флешах. И еще был один брат, Тучков-третий. Он не дошел до Бородина, изрешеченный картечью под Витебском. Удивительная семья! А жена Тучкова, Маргарита Михайловна? Как верно и беззаветно любила она мужа! На том месте, где был найден его труп, она построила часовню,

и в ней захоронила дорогие останки. Близ того места был возведен монастырь, и она постриглась в послушницы. Три раза в день в монастыре призывно звонил колокол. По этому сигналу бедные люди шли в трапезную и получали бесплатную пищу. Но беда еще не оставила исстрадавшуюся женщину: в дороге из Пажеского корпуса домой умер ее сын, готовящийся продолжить династию Тучковых-воинов.

Степан шел мимо деревни Утица, земля которой дважды, нет, пожалуй, трижды была полита русской кровью, и ему явственно представилась картина боя: со свистом и воем летят гранаты, падая, крутятся на втоптанном в грязь жнивье. Но никто не обернется, не падает на землю. Все заняты пальбой, рукопашными схватками, которые, клубясь, откатываются от флешей, то накатываются на них вновь, как клубы дыма, гонимого ветром. И в самом пекле во главе солдат своего Ревельского полка — Александр Алексеевич Тучков в темно-зеленом мундире с узкими золотыми погонами, с черным воротником. Кожаный картуз его в пыли. Он красив, смел, молодой генерал, горячка боя веселит его.

...Стены монастыря кое-где разобраны. По осыпавшимся карнизам и проломам сиротливо маячат березки. Часовенка без купола, припала, как бы вросла в землю. Затравевший двор блестел мокрой отавой, курился отпотевшей на тропинках землей. Из двухэтажного, недавно побеленного здания с криками и воплями вывалилась на старый монастырский двор ребятня — в школе объявили большую перемену. Простоволосые русые, рыжие, темные мальчишки набросились на еще белеющий под монастырской стеной снежок, и в воздухе засновали обжатые в детских ладонях комья. Где-то тенькнуло стекло, и ребята, как воробьи, прыснули в разные стороны, многие скрылись в дверях часовни.

...Иззябший и подавленный, Докука поздно вернулся домой. Надо было спешить в мастерскую — назначенный урок совместной работы с Анной Лобановой отменять не хотелось. Он застал Анну спящей. Услышав шаги, она быстро вскочила, протирая глаза.

— Ну-с, поглядим... — сказал он, впиваясь глазами в пластилиновые фигурки на столе. Скинув на бородатого гипсового Сусанина поношенное пальто, присел на табурет.

Растрепанный вид скульптора смутил Анну. Он казал-

ся пьяным. Взгляд светло-карих глаз девочки из-под нависшего лба внимательно остановился на нем: бугристое лицо Докуки сильно осунулось.

— Вам плохо, Степан Абросимович?

— Нет, мне весело. Мне жутко весело, Анночка!

Осторожно положив на стол сверток, он устало присел на широкую плаху деревенской скамьи. Анна редко видела его таким. «Невозмутимый Докука...», «Степан — каменное сердце...». Эти и другие подобные прозвища выявляли в нем одно душевное качество — неспособность к унынию. Даже несправедливые приговоры закупочных комиссий, не оставляющих никаких надежд на гонорар, не лишали скульптора силы, чтобы бросить вроде между прочим: «Денежки ума спрашивают, а я ими лампы зажигаю...» И хотя лампы денежками он не зажигал, это знали все, невозмутимость его оставалась непоколебимой.

— Степан Абросимович, что случилось? Не приняли работу? Какую? — Обиды, которым нередко подвергался ее учитель, она больно переживала. Несправедливо обижали его, бескорыстного, талантливого человека.

— Возьми-ка! — Он подал ей что-то, завернутое в газету. — Ты слыхала про собор святого Петра в Риме? У бронзовой скульптуры Петра пятка левой ноги истаяла от поцелуев верующих. Сколько же губ касалось ее, если металл сносился? А? Ты меня слышишь?

— Слышу... — низким голосом подтвердила Анна, готовая к неожиданному повороту мысли учителя.

— Разверни! — сказал он и сморщился.

Анна порвала газету. Человеческий череп взглянул на нее пустыми глазницами. Она отдернула руку.

— Откуда это?

— Из монастыря...

Анна поняла, что ее учитель побывал на Бородинском поле, недоуменно посмотрела на него. Отвечая на ее молчаливый вопрос, он объяснил:

— Искали клад, откопали череп. Ребята, школьники. И бросили. Пусть он будет безвестный, но ведь человеческий! А этот, уверяю, принадлежал герою. Что случилось с нынешними людьми? — Докука нервно сминал в пальцах гренадеров из пластилина, которых они недавно вместе вылепили. Это были эскизы сценки «Атака ополченцев». Удачное решение — русский ополченец и французский гренадер в смертельной схватке, будто

в дружеском объятии, летят вниз, с бруствера. Русский одной ногой касался земли. Но еще миг, и они оба рухнут в ров.

— Не сминайте! — остановила его девочка строгим голосом. — Это не только ваша, но и моя работа.

— Возьми, дарю! Мне они не нужны, никому не нужны... — кричал Докука.

— А мне нужны, мне! — Она загребла руками пластилиновые фигурки, как бы защищая их.

В это время в мастерскую вошел Лобанов.

— Ты еще здесь? — обратился он к дочери. — А мы с матерью с ног сбились. О чем спор?

— Об истории, — сказала дочь.

— О творчестве.

— Великолепно! Я тоже этим маюсь. Принимайте в долю!

— Счастливый несчастного не поймет... — И Докука хлопнул дверью.

— Что он так! У вас серьезно?

Дочь положила перед ним человеческий череп. И рассказала историю его появления в мастерской. Отец задумался:

— Да, это серьезно...

— Неправда, мы не глухи к нашей истории. Неправда! — загорячилась Анна. — Я вот хочу все узнать о наших предках. Даже самых, самых дальних.

— Молодец, Анюта!

— У нас так интересно проходят уроки истории. Для уроков мы делаем выставки. Я леплю людей того времени разных сословий и классов. Интересно!

— Тогда ты в силе помочь ему...

— Чем? Скажи, отец!

— Верни ему веру в твое поколение. Пусть он знает, что вы так же любите наше прошлое, как и он. Посмотри, сколько любви к истории в каждом его сюжете! — Сергей взял с полки запыленную группу гренадеров. Пластилин затвердел до каменной прочности: давно вылеплено!

— Как?

— Не знаю, — сказал отец. — Не знаю. Ты же «твое поколение», а не я.

— Ну вот! — недовольно ответила Анна и смахнула со стола своих пластилиновых зверушек.

— Подумай!

— Я ему помогаю... — начала она. Но отец будто не слышал ее, размышлял:

— Череп... В конце концов, его можно захоронить. Но другое, Анюта... Другое... Ты подумай: может, что-то подарить школе из ваших работ? Уголок свой там сделать?

— Что это изменит, отец?

— Ребята увидят живых солдат: наших и неприятельских. Это сильнее слов. Это зрительно.

— Согласна. Но как же со Степаном Абросимовичем? Ведь талант! И никому не нужен... Почему?

— Сам он себя не ценит.

— Как он должен это делать?

— Иметь ясную цель и добиваться ее. Помоги ему и в этом.

— В чем? Разве плох его замысел?

— Почему плох? Хорош! Хотя главной мысли я никак не уловлю. Столько лет работает, а не знает, как это будет выглядеть в композиции. Ты сама-то видишь?

— Неясно.

— Вот-вот!

Отец стал ходить по мастерской, задевая плечом неуклюжие гипсовые фигуры, запинаясь за пень, стоящий на самой середине пола. Зашибив ногу о толстые корни, выругался:

— Ну зачем ему этот пень?

После, уже дома, он сказал дочери:

— Анюта, а если все ваши фигурки вырубить на той коряге? Корни и остаток ствола... Готовый сюжет... Или нет?

— Я не вижу...

— Ну, ну... А я бы на вашем месте посмотрел.

— Все у тебя легко... А Степан Абросимович сколько мучается? Если бы это шло, разве он не увидел?

Но отец молчал. Перед ним лежал рисовальный альбом, в руках карандаш.

«И верно, ты счастливый, папа!» — с теплотой подумала дочь, видя, как отец легко переключился на другую работу.

Докука начисто отверг эту нелепую подсказку: что он, смеется над идеей?!

6

Полусвет пасмурного дня скупо пробивался в просторный холл. На стене без всякого разбора и заботы об освещении развешаны векшинские этюды. Их было двадцать три. Председатель сосчитал, пока шел от дверей. «Однако», — подумал он и остановился. Картины как бы разбежались, стали разными. Взгляд цеплялся за каждый кусок голубого неба, белую солнечную дорогу на голубовато-серой реке, лесную полянку, обрадованно вспыхнувшую под солнечным лучом, за прихотливую деревянную вязь наличника старого дома, за острый блеск не по-северному огромных стекол школы. Старая улица, новая улица — трава и асфальт. Андроник все больше удивлялся тому, что перед ним все было вроде бы знакомое и в то же время новое.

— Не наше это, — сказал он. — У нас дождь, тучи, грязь, серость. Север!

Ксения Георгиевна, вспыхнув от негодования, повела подкрашенными бровями, осудительно покачала головой. Она думала, что художник рассердится, обидится, будет спорить, а он стоял, улыбаясь, и тер кулаком свой короткий нос.

— Люди должны, друг мой, научиться ловить свет, радоваться ему. Видеть одно серое — нехитрое дело. А попробуйте среди серых туч поймать луч солнца. А вы разве не замечали, как вздрагивает лес от неожиданной радости, чуть солнце осветит его?

Восторженные глаза Ксении Георгиевны останавливались то на этюдах, то на сморщенном от хитроватого прищура лице Савела. Ей казалось, что она причастна к этим удачам художника и понимает его юношески восторженную душу, его умение видеть то, чего не видят другие; он не просто любит природу, а любуется ею. Вот они — радость солнечного дня, тревожность реки в непогоду, тишина и бессветие сумерек с обманчивым блеском холодной полуночной зари. Когда-то у девочки Ксюши это время суток вызывало в душе щемящее чувство тоски. Хотелось уйти, уехать в поисках иного, радостного мира, счастливой любви, похожей на тот сквозной свет солнца в низкорослых и кривых, но все же прекрасных своей белизной северных березах. Сколько счастливых минут пережила сегодня Ксения Георгиевна, развешивая работы художника, будто жизнь свою прошла от начала и до это-

го вот дня. Она с детства любила музыку; и шум ветра, и грохот весенней воды, и дрожание солнечного света над маленькими, с оленью шкуру, полями, превращались для нее в звуки мелодий. Картины художника повторили для нее все это. Ей казалось, что он писал для нее, только для нее.

Практичный человек Андроник Викентьевич сразу понял, чего стоил этот однорукий тихий человек, и вдруг испугался, что все, что он написал, может уплыть из колхоза, если художник заупрямится и не захочет работать. На его скуластом обветренном лице отразилась озабоченность.

— Что вы мыслите с этим делать? — спросил он. — Увеличить, так сказать, чтобы смотрелись как картины, и поделать хорошие рамы...

Говорил он трудно, не умея выразить непривычные суждения. Но художник его понял и улыбнулся.

— Ну, картины две-три из этого может получиться, — сказал он, потирая рукой подбородок, колючий от жесткой щетины.

— А остальное?

— Остальное — упражнения для руки и глаза.

— Нет, нет, и остальное мы возьмем.

Савел рассмеялся:

— Ну вот! Мы же серьезные люди. А если говорить строго, Андроник Викентьевич, то дело может выглядеть так...

И Векшин рассказал о своих замыслах. Этюды, что он написал этим летом, частью должны пойти для росписи молодежного кафе. Но прежде он должен съездить к сыну. Казнить чужую работу — мало своей убежденности. А что думает о ней автор? Пусть выскажутся и колхозники. После этого можно будет запереться в кафе на недельку и начать все сначала. Кое-что заготовлено и для музея истории колхоза.

— А сцена? — не удержался председатель.

— Сцена будет решена в моем же ключе. Эскиз представлю. Холст я смотрел. Прочный, что надо. Сшить боковины и начать грунтовку. Маляры у вас есть? Большие кисти? Клей и масляная краска? В центре композиции Ленин. Помните: в Горках, на отдыхе, шагает по аллее, чуть откинув назад голову. Но... — Савел замолчал, расстроенно потер нос кулаком, — один я не справлюсь, нет.

— Вызывайте кого угодно.

— Кого угодно? Я выберу сам.

Савел помолчал, потом сказал с непривычной для него напористостью:

— Я истинный художник! И не боюсь об этом сказать. С одной рукой, сами видите, я не сдался и достиг своего — открыл в себе страсть, и теперь ничто ее не удержит. И поехал я к вам — да, по нужде и еще потому, что художнику нельзя сидеть в своей мастерской. И еще я не хотел, чтобы к вам приехал ремесленник, ради только заработка, а не для того, чтобы обогатить души людей. Безвкусицу я вам не напишу. Кажется, я повторяюсь?

— Ничего, ничего, такие слова можно и повторить, — подбодрил его Андроник Викентьевич.

— Я хочу открыть людям мой взгляд на природу. И если я сделаю это, то они увидят мир прекрасным, солнечным. И будут счастливы. Я хочу их сделать счастливыми.

— Чем?

— Красотой.

«Однако, он одержимый», — подумал Андроник Попов. И сказал:

— Значит, мы сделаем выставку ваших работ, и вы поговорите со зрителями?

— О чем?

— О пейзаже. Соберемся в кафе. На стенах ваши пейзажи рядом с «Демоном».

— Кроме своих этюдов, я бы еще выставил работы Викентия Попова. Мальчик талантлив. Он бывал со мной на этюдах.

— Может, еще кого? Из школьного кружка.

— Пока только его. Так будет лучше.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

1

Вернувшись домой, Григорий был встречен с неожиданной теплотой и радостью. Радовались дети, особенно Егорушка. Вика и та оттаяла, стоило отцу погладить ее по голове. Едва коснулся ее волос тяжелой ладонью, а она вроде бы вся потянулась за его рукой и выросла сразу. Очень обрадовалась и Мария. Глаза ее, прозрачные, чистые, вспыхнувшие от солнечного света, широко рас-

пахнулись. И хотя был в них тонкий ледок отстраненности, но и он скатился теплой влагой, когда она увидела, как преобразила дочь отцовская ласка. Да, она ничего не могла поделать с этим ледком в глазах, а ведь хотела зажать в комок свои подозрения, освободить прежние чувства к мужу. Ночи не спала, готовилась к встрече, на кране, сквозь стекла, голубые от речной воды, мысленно видела старую развалюху брандвахту, себя и Гришу на палубе, на прохладном ветре-верховике. Было времечко, эх... Искала первые слова, какие ему скажет. А приходило одно: «Ну, что, муженек, погулял-порезвился, все ж домой пожаловал...» Ломала себя: «Чему поверила? Рисунку в тетрадке художника? Так ведь он говорит, что в разных местах делано». Тревожно было на душе, чувствовала неладное... Гнала от себя подозрения, но сердце не обманешь. А может, на этот раз обманывается? Обманись, обманись, треклятое!.. А сердце не хотело...

И все же сдержалась Мария. В первую минуту, как он вошел в дом, ни единого слова сказать не могла. Звук какой-то непонятный вырвался из горла. Но сердце не раскрылось, как раньше, в глазах остался ледок.... Если не дурак, заметит, поймет...

Но Гриша, обрадовавшись такой встрече, не увидел, не понял. Возвращаясь домой, он ожидал другого приема: все знают, где и с кем провел он отпуск, и с первой минуты начнется... В голове метались разные сочиненные им легенды о его отдыхе, самые правдоподобные и в то же время самые вздорные. И как он рассорился с ребятами и назло им остался один; или как опрокинулся и схватил воспаление легких; или у него отобрали лодку за нарушение правил, и пришлось куковать в лесной местности наподобие пустынника. Но сочинять ничего не потребовалось. Судя по встрече, все оказалось шито-крыто. Всхлип жены, похожий на оборванный плач радости, и вовсе успокоил его, и ему показался смешным свой прежний испуг. «Вот и отлично, на этом и завяжем», — подумал он, оправляясь от первого смущения и приобретая всегдашнюю уверенность и грубоватость в обращении с домашними. Тут он пободался головой с сыном, что всегда означало, что он признает его за равного, а это нравилось обоим и сближало. Но Егорка вдруг захныкал — отец несдержанно сильно боднул его, дочь, вначале потянувшаяся к нему, вдруг поглядела недоверчиво и скрылась, будто ее поманили подарком и не дали. Мария...

Что же это такое? Нарочно или случайно нагнула голову, и он поцеловал ее не в губы, а в лоб.

«Отвыкли... Неполный месяц, а такое?» — подумал он и вскоре, когда сели обедать, убедился, что так и было: отвыкли. За маленьким столом на кухне пошли разговоры о реке, о рыбе. Вяленая, что он привез, пошла по рукам. Вначале ее обнюхивали, втягивая сыроватый, с горчинкой запах, а потом уж начинали грызть, будто семечки. В семье любили это занятие, тем более что хозяин был удачливым добытчиком, и в доме не переводились копченые, вяленые и сухие язи и подъязки, окуньки и сороги. Грызли молча, боялись предательских косточек, слышались лишь оброненные тихо слова.

— Спинка — во! — Это Вика.

— Голова вкуснее... — Это Егорка.

— Нашел вкусное!

— А ты пососи...

Григорий и Мария молчали. Оба, казалось, были заняты рыбой, оба чувствовали, что неловко молчать, что надо сказать друг другу что-то, но ни он, ни она не начинали. Были минуты, когда Григорий готовился рассказать одну из своих отпускных легенд, но осторожность брала верх. У Марии тоже вертелся на языке тот единственный вопрос, но лучше, если бы его не пришлось задавать. И лишь тогда, когда с рыбой было покончено и все принялись за борщ, каждый захотел сообщить свою главную новость. Отец рассказал рыбачью байку, как поймал огромную щуку, и она, упав на берег, стала удирать от него не в реку, а в луга, по траве, извиваясь как змея. Это вызвало интерес, и за столом наступило веселое оживление. Удивлялись ребята, удивлялась и Мария такой невидали. Потом она рассказала, как разгружали баржу, а там оказался не обычный груз, а огромные клетки с лосями и как эти клетки болтались на тросе и плыли по воздуху к грузовикам. И весь порт сбежался смотреть, будто в цирке, а у нее дрожали руки и ноги: еще бы! Это было еще интереснее, чем история со щукой, и хотя ребята уже слышали об этом — весь порт целую неделю говорил, но и теперь рассказ матери звучал для них как бы вновь. А потом Мария стала рассказывать мужу о затее крановщиков сделать комплексную бригаду. Хотела порадовать Гришу — заработки, говорят, прибавятся, но муж нахмурился и отложил ложку:

— Тебе всех больше надо? В деятели лезешь!

Пожалела Мария, что начала этот разговор. Скорее убрала тарелку из-под борща, спросила, понравился ли. Налила рюмку водки, поставила отварное мясо с картофельным пюре. У мужа задрожали ноздри тонкого носа: блюдо, приправленное укропом, источало тонкий аромат. Умела Мария готовить, ничего не скажешь. Природный вкус, и на кулинарную выдумку торовата. И вспомнилась вдруг Григорию совершенная бездарность Леры к кухне: и окунька не поджарит, чтобы не спалить.

На кухню вбежала Вика и Егорка, неся в руках листы бумаги. Это были рисунки художника Лобанова.

— Пап, погляди! — сказала Вика.

— Нет, мое! — опередил Егорка.

Отец взял листы. Пьяно щурясь, стал рассматривать рисунки.

— Да, похоже.

— А он ездил с нами к бабушке. И маму рисовал. Красками... — похвасталась Вика.

— И бабушку, — добавил Егорка.

— Кто же это? — Григорий взглянул на жену. Бородка вокруг рта как-то странно зашевелилась.

— Художник. Сергей Сергеевич... — У Марии перехватило дыхание.

— Это кто же такой? — Григорий встал. Рубаха выбилась из-под брюк, мятая, неопрятно висела спереди.

— Лобанов. Он рисовал картину «Докеры»... Дядя Федя там... А я не схотела...

— Не схотела? Тогда не схотела, а сейчас, когда муж из дому, — чужой в дом? При ребятах? При детях своих?

— Ты не смеешь так. Он порядочный!

— Он порядочный? Прекрасно! А как ты?

Вика бросилась к матери, потащила за собой.

— Пойдем, пойдем к нам в комнату. Мы тебя спать к себе возьмем. Ну, пошли скорее!

Долго бушевал Григорий на кухне. Бил посуду, топтал. Мария вздрагивала, вскакивала, чтобы бежать, остановить, но Вика прижималась к ней, не пускала: «Мамочка, не ходи. А Егорка — предатель. Пусть спит с пьяным». Заплакала Вика и сквозь слезы: «Я его убью!» — «Что ты, дурочка, что ты!»

Мария в кровь кусала пальцы, чтобы не закричать, не зарыдать в голос. Ребенок, а нашла силы ответить, а у

нее вот нет. Сколько обид, унижений вынесла, гордость своими собственными ногами топтала, а ради чего? Ради него? Ради любви к нему? Да пропади он пропадом, и любовь к нему пропади. Семью берегла, стыда не хотела... А он что?

Вика уснула, вздрагивая во сне, а к Марии не шел сон. Перебирала в памяти прожитое, успокаивалась. Трезво потекли мысли: неужели все? Не представляла, как будет жить одна. Почему одна, а дети? Вика останется с ней. А Егорка? Егорку она не отдаст, нет!

Перед утром забылась в коротком сне. Разбудил стук в окно ветра с реки. Необлетевшие тополя бились в круговерти снега и дождя, как на картине.

Как на картине... Опять художник!..

2

Это к лучшему, что непогода — никто не разглядит ее лицо, не поймет настроения. Но на кран подняться тоже нужны силы, а у нее их нет. Ветер норовит сбить с ног; она то и дело натыкается на рельсы. «Где же он, мой слоненок, отрада моя...» За ней загрохали ботинки по шпалам. Оглянулась: Виконт! Пристроился в шаг, поздоровался. Мария ответила неразборчиво.

— Не в настроении? — догадался он. — Что так?

— Погода, — кратко ответила она.

— А еще?

— Муж вернулся... Из отпуска...

— А-а-а... — Виконт помолчал. — Начинать будем?

— Как договорились.

— Погода не имелась в виду. А если груз начнет болтать?

— Пониже носи. Да поглядывай.

— Может, немного выждем?

— Ладно. Следи за мной. Как двинусь...

Он проводил ее до площадки. Под его тяжелыми ботинками звенели железные ступени.

Навигация в это время подходила к концу, но баржи шли одна за другой. Порт брал на свои склады грузы на временное хранение, чтобы после закрытия навигации

постепенно перевалить их на железную дорогу. Арендовали склады строительные, торговые, бытовые организации. Утром с Волги передали баржу-самоходку. Фомич, заглянув в трюм, увидел тесно уставленные ящики на поддонах. В мутной снежно-дождевой хмари едва различались железные остовы кранов. Расстроенный Фомич закрылся в конторке, дымил, глядя в окно и проклиная паршивую погоду и паршивую баржу. И вдруг, взглянув в окно, не поверил своим глазам: краны, которые он еще недавно не различал за сплошным дождем и мокрым снегом, придвинулись к его окошку. Они работали! Фомич выскочил на улицу. Дождь и снег ударили ему в лицо. Он задохнулся и сквозь водную хлябь побежал к крану Марии, стал железякой отчаянно бить по порталу, вызывая племянницу. Задрав голову, смотрел, как двигалась едва видимая стрела и груз, будто с неба, из облаков падал на землю. Вот стрела замерла, распахнулась дверь кабины, и оттуда высунулся берет. Донеслось с верхотуры:

— Что, дядь Федь? У тебя на земле не перестало хлюпать? У нас видимость хорошая.

— Врешь!

— Хочешь проверь. Давай ко мне!

— Ну что ты за дьявол, Мария? — загорячился Фомич, весь исхлестанный дождем и снегом. — Взять да отшлепать хорошенько... Надо же: уговорила бригаду, смутила грузчиков, автокарщиков. Объединились.

В снежной полутьме то и дело раздавались сигналы кранов, расплывались фары автокаров. Причал жил, работал. В душе Фомич, признаться, радовался и за неожиданный союз всех служб, и за напористость ребят. Но как представлялись разбитые в щепки ящики, так внутри у него все холодело. Кто, как не он, будет за это отвечать? И своим карманом...

Мария работала с необыкновенным увлечением. То, что никто в бригаде не захныкал, что пока — тьфу, тьфу! — все идет хорошо, грузчики и автокарщики не собираются под крышу, в теплое место, окрыляло ее: это сделала она! Если бы дождь поутих, они показали бы, что такое дружная работа. И все же скоро устали глаза. Она выключила мотор. Услышала: кто-то на кран поднимается, зазвенели под сапогами ступеньки. Открылась дверь. Виконт! С его плаща лилась на пол кабины вода. Мария не выговорила ему за это: до чего хорошо, приятно было на

душе от работы, будто не висела грузом бессонная ночь, унизительная брань мужа, ее жалкая обидная надежда на что-то и нерешимость сразу все кончить.

— Я тебе поесть принес, — сказал Виконт, доставая из-под плаща сверток.

— А я о тебе чуть не подумала худо: а вдруг испугался?

— Не бойся, не испугаюсь. — Он вытер лицо ладонью, привалился плечом к раме. — Возьми! — протянул сверток.

— Спасибо, обед у меня есть.

— Мой вкуснее, — помолчал. — Ну, разозлили Фомича!

— Ничего, переживет. Зато баржа к вечеру отчалит. А то где-нибудь заякорило бы в пути, зиму куковать.

Мария достала свой термос, бутерброды, расстелила на инструментальном ящике газету, накинула салфетку. Виконт поставил свой термос, положил свои бутерброды.

— Обменяемся, если хочешь, — предложил он. — У меня с корюшкой.

— У меня с сыром. Возьми! А рыбой я сыта. По горло. Гриша рыбак.

Налили в термосные крышки: она — чай, он — кофе, стали есть. Годы прошли, у нее уже дети, а они все так же, как и тогда, встречались, не тяготясь друг другом, говорили только о том, что позволяла дружба, не больше, хотя она знала, что у Виконта осталось к ней нечто такое, чего он не высказывал. Тонкий, деликатный Виконт. И слабый...

Они ели молча.

— Налить тебе кофе?

— Налей чуточку. Не люблю, лицо с него горит. Холодно. Дрожь в груди...

— Отчего? Может, с Гришей что?

— А что с Гришей? — Она замкнулась. — Болтают что-нибудь? Вот языки у людей! Без костей...

— Не ревнует к художнику? — прервал Виконт затянувшееся молчание. — Сергей Сергеевич за тобой по пятам... Уж не влюбился ли?

— Художник! Какую-то «мадонну» хочет из меня сделать.

Виконт насупился. Но молчать долго не мог.

— А кофе ничего? Сам варю. — Он взглянул в стекло вниз, сообщил: — Фомич.

Мария развеселилась:

— Поздно! Дело начато, и небо посветлело. Ну что, поехали?

— Поехали!

С земли он помахал Марии рукой. Дождавшись сигнала, она взялась за баранку.

3

Лобанов приехал в порт, когда бригада Фомича уже заканчивала разгрузку баржи. Дул сильный ветер, стонал в конструкциях кранов. Вот и кран Марии. Ветер крутил площадку с ящиками, и Лобанову казалось, что она вот-вот зацепится за надстройки баржи, за крыши строений на причале. Остановить ее полет и верчение, казалось, ничто уже не могло. Но от невидимого движения стрелы площадка на миг зависла, перестала крутиться и вдруг плавно, без стука, опустилась. К ней бежали грузчики, освобождали храпцы.

Лобанов пошел бродить между складами, смотрел в светлеющее небо, слушал шум ветра, удары волн о бетонную стенку, жалобный скрип трущихся бортов. Скоро вернулся к крану Марии и затаив дыхание снова стал наблюдать. Сердце его сжималось от приятного ощущения рисковой работы. Он представил Марию в кабине, чуть склонившуюся над баранкой, и руки ее не мечутся в растерянности, а легко и уверенно двигаются, будто плавают. Она работает, преодолевая и дождь, и ветер, и плохую видимость. «Поднимусь, увижу ее... И что же? Что мне от нее надо?» — думал он, наблюдая движение груза. Сдвинул со лба капюшон плаща. Ветер охладил разгоряченный лоб. «Вот что, дружочек мой, — сказала бы Лина в таком случае, — разберись-ка в себе: действительно, дня не можешь прожить без порта, без реки и кранов? Или натурой заболел?»

«А кто знает, это все так близко одно от другого», — ответил бы он, не отвергая ничего и ничего не признавая.

Он схватился за мокрое холодное железо. Ноги его никогда не забудут корабельных трапов. Но вдруг остановился. Разжались пальцы, выпустили холодный мокрый поручень.

После того солнечного дня в Клинцах он еще не видел Марию, и что-то помешало ему сейчас встретиться с ней.

Он потоптался на ребристых железных ступенях, сошел на землю и направился в бригадирскую. Федор Фомич был мрачен, но, увидев друга, оживился.

— Вишь, как дождем тебя промыло! — сказал он, пожимая Сергею руку. — Глаза посветлели вроде и такие веселые. Картину, поди, написал?

— Написал, Фомич, написал. На выставку уже приняли.

— Это что же?

— Портрет старика.

— А как с братишками? Ну с тем, десантом?

Лобанов сообщил, что висит в музее Славы, в Туапсе.

— Деньги хоть уплатили?

— Уплатили, — рассмеялся художник.

Он рассказал, что увлекся натюрмортом. Осенние листья в музейном парке, багрец и золото, краски усталости, предвестники смерти, но у него они полны силы и предчувствия нового.

В последнее время настроение у художника было на редкость хорошее. Шли один за другим удивительные дни, соединенные в счастливую безмятежность. Жена, кажется, забывшая о своих картонках, была с ним добра и ласкова. И он верил, что любовь их бесконечна, неисчерпаема. И Лина тоже жила предчувствием какого-то великого свершения, и он думал, оно связано с ним, с его работой. Временами ему казалось, что он очень счастливый.

— Скоро пересменка? — вдруг спросил он.

— Уже началась!

Лобанов поднялся, взглянул в окошечко. Разведрилось. Кран Марии четко рисовался на низком пепельно-синем небе. Но ветер еще бился, свободные храпцы качались в каком-то непонятном танце. Когда он подошел к крану, Мария спускалась. С похудевшего лица на него смотрели скорбные, потемневшие глаза. Она не удивилась его появлению — раньше видела его под стрелой, но неожиданно горько подумала: «Опять он!» Они стояли молча, чего-то напряженно ожидая друг от друга. Она хотела, чтобы он ушел с глаз, а Лобанов смотрел на нее и хотел узнать, почему она так изменилась. Мария готова была все высказать ему, укорить за привязчивость, через которую она нажила такую беду, а он стоял и думал, как к лицу ей этот черный в цветах цыганский платок.

— Ну, вот зачем вы в такую непогодь? Зачем? — спросила она.

Растерянная улыбка тронула его твердые губы.

— И сам не знаю, — ответил он, чуть приподнимая плечи. — Нет, все же... Скучаю по воде, пароходам, кранам. И по людям, конечно.

— А если люди эти поймут иначе? — Она сошла с последней ступеньки и, прежде чем пойти, сказала: — До свидания, Сергей Сергеевич, не провожайте меня.

Они встретились у ворот порта в смутном свете осеннего вечера. Дождь кончился, но плащи у всех троих еще блестели от влаги.

— Это ты, художник? Приятная встреча! — Голос Григория прозвучал иронически зло. Повернулся к жене: — Тебя, что ли, провожает?

— Ах, это вы, рыбак...

— Тесен мир, а?.. — то ли спросил, то ли подтвердил Григорий.

— Пока места хватает...

Лобанов подошел ближе, разглядывая лицо рыбака, которое стало так знакомо ему по работе над «Браконьером».

— Ты за моей женой волочишься? Чего тебе от нее надо? — Глаза у Владычина жестокие. Люди с такими глазами способны на все. И потому решил начать первым. Стал объяснять Григорию, что такое есть художник и почему он ищет встречи с людьми, что неумно обижать того, кто позирует художникам, тем более неоправданно преследовать их, ревновать.

Григорий обернулся к жене:

— Жаловалась уже?

Он замахнулся на нее и, конечно, не ожидал, что между ним и женой окажется художник. Его удар сбил берет с головы Лобанова.

— Ну, вот так... Не толкись под ногами! — Григорий выругался и хотел двинуть художника в грудь. Но не успел он договорить, как Лобанов перехватил его руку и, нагнувшись, перебросил его через себя. Разъяренный Григорий снова бросился на противника и снова полетел на землю.

Встал он не сразу. Лобанов хотел было помочь ему подняться, но тот оттолкнул его руку.

— Уйди... Убью!..

Лобанов дрожал от возбуждения. Мария теребила его за рукав, говорила с испугом в голосе:

— Уходите, уходите же! Я не могу, не могу...

Сергей видел, как поднялся Владычин, жена взяла его под руку, и они пошли в сторону от порта.

Он впервые подумал, что она дорога ему.

4

Лицо Лины блестело от мокрого снега.

— Что же ты не зашел домой? — спросила она.

— Да вот занялся...

— Умучился, бедняжка... — Она обняла его и притронулась мокрой щекой к его щеке. — Фу, колючка! И не бреешься...

Взглянула на мольберт.

— Какой серьезный человек! Кто это?

— Донской, князь Дмитрий Донской. Счастливая находка, Донского я представлял именно таким.

Лина, грациозная, будто невесомая, заскользила по мастерской, после ремонта строго и бело сверкающей свежей краской, и враз оглядела все, остановилась перед мужем и взглянула так же бегло, как еще недавно глядела на Донского. Сергей смотрел в смугловато-бледное лицо ее, открытое и скрытное, тайну которого он так и не смог понять, видел и ее глаза, полуприкрытые подтененными веками, и оголенное маленькое ухо, которое начинало медленно пунцоветь. Новая беличья шубка шла к ней и дымчатая шапка из шиншиллы — тоже. Шубу и шапку она купила на его гонорар за «Десант на Мысхако» и не удержалась, надела — и вот те на, попала под мокрый снег.

— Ты поседел! — сказала она, заметив на его виске белую прядку. — Что в милиции?

— Написал все, как было. Просто неприятно: влез в семейную историю!

— Приятного мало. Действительно, идиотская история.

— Но как я мог поступить иначе, если бьют женщину?

Она сняла шубу, осторожно распялила на стульях. Сказала сдержанно, чуть приподнимая веки и глядя на него с едва уловимым недоумением:

— Понимаю, понимаю. — И неожиданно спросила: —

А та, рыжая и курносая девка, откуда? — и показала на этюд у стены.

Сергей смешался.

— Это она самая и есть. Из порта.

— Стервоза, поди? Предаст за свою семейную тишину.

— Не предаст. — Сергей стал снимать холст: развалился подрамник.

— Да?

— Уладилось бы у них дома. — Рука сорвалась, острый гвоздь царапнул палец.

— Не жалеешь, что пропадет задумка? Теперь как и когда встретишься? В ней что-то есть...

— Жалею, Лина, жалею. — Он зажал пораненный палец — сильно заструилась кровь.

Лина опять взглянула на него из-под чуть-чуть приподнятых век, и в глазах ее вспыхнула жалость. Ввязаться в примитивную историю и теперь еще маяться?

— Дружок мой! Муж, жена — одна сатана. Помни это! А ты один...

— Не один я, почему ты так думаешь, Лина?

— А с кем же?

— Ладно, оставь это мне и не сердись.

— Оставляю. И не сержусь. С одним условием. Выслушай меня. Зачем тебе Донской? И эта женщина? Ты знаешь войну. У тебя получается. Придумай еще какую-нибудь мадонну, а я посижу попозирую. Хочешь, напиши меня обнаженную.

— Лина, а гении тебя писали?

— Ну, писали. Жженой костью и бурой глиной. Я походила на негритянку.

— Иконников, что ли? А Нил?

Лина стала одеваться. Взяла беличью шубу, подержала на руках: какая легкая.

— Уж не ревнуешь ли ты, Сережа? Не ссорь меня с друзьями. Я из-за твоей ревности потеряла старого друга, Вадима Николаевича. — Она надела уже обсохшую шубу, голубовато-серую, с удивительно мягким природным блеском. Продолжала своим глубоким голосом, быстро меняющим интонации: — Я тебя не ревную к твоим героям, к той же, рыжей. И ты меня не ревнуй к моим учителям. Да, да, учителям! А Нил открыл во мне талант.

— Открыватель! Замутил тебе голову...

— Ах, да ты завидуешь ему?

— Почему я должен ему завидовать?

— Вместе учились. А он уже...

— Ну, знаешь!

— Ладно, ладно, я пошутила. Эх, недотепа, дай смажу палец йодом. Кровищи сколько.

— Смажь... А писания с себя у них забери.

— Чудной ты, право! Ну, разве не чудной? — добродушно поворчала она, примеряя перед зеркалом шапочку. — Готовь мольберт. Скоро будем работать вместе.

5

Фомич отвернулся к боковому стеклу, следя за сигналом снизу.

— Иных свергают с высоты на землю, а у нас, если свергнут, то вознесут над землей, в кабину крана.

— А что случилось, Федор Фомич?

— Да тот день проклятый!

Фомич коротко просигналил и взялся за баранку, повел стрелу в сторону причала. На гаке болтались храпцы.

— Сплоховал я. Комплексная бригада — это ведь крепкое дело, а начальство ни в какую: зачем к зиме баламутить народ? А я подумал: пусть ребята опробуют, к весне лучше подготовимся. Вот мне и врезали, снова на верхотуре оказался.

— Рисково работали, — вспомнил Сергей. — Видимости почти никакой.

— В том-то и дело! Аварийная погода. Вот за это мне и врезали. И Димке-начальнику тоже. Но его на земле оставили — инженер!

Пока Фомич брал из трюма груз и подавал на железнодорожную платформу, он был сосредоточен и молчал. Но вот храпцы, будто обрадовавшись, заплясали в воздухе, он повернулся к Сергею.

— В приказе, Сергей, мрачные слова: «Верба Ф. Ф. допустил работу в условиях плохой видимости, нарушил технику безопасности». Еще пожалеют, когда поймут, что не распознали новинку. Все равно придет она к нам через несколько лет, возвернется в том же комплексном виде. Но местом рождения будет у нее уже другой порт.

— Разве в этом дело?

— И в этом! Считаю, справедливость должна быть.

— Кто же вместо тебя? Виконт или Мария?

— Василий, мой зять. С третьего района кинули. Парень толковый, но для молодости слишком осторожный.

— Значит, с юности мудрый.

— А ну их, молодых старичков! — махнул рукой Фомич и, заметив, что Лобанов встал с инструментального ящика, предложил: — Поброди где-нито. Спущусь, пивка глотнуть сбегаем. Помнишь раков?

— Еще бы! А Маша где? — спросил Лобанов, только сейчас заметив на крючке свернутую в тонкий жгутик голубую выцветшую ленту из косы Марии. Она забыла! Ее кран! Сердце защемило, будто от неожиданной потери.

— Больна. Так жди внизу.

И вот они сидят в ресторане «Космос», в углу, за любимым столиком Фомича. Знакомый официант принес пива и по две воблы.

Сергею не хотелось рассказывать и о драке и о милиции, но не поделиться с другом он не мог.

— Так он, значит, на Марию? Эк прохвост! Да что же она терпит? — Фомич, раскрасневшийся после первой бутылки, стукнул кулаком по столу. — Любит она его, вот и сносит обиды. Ну так что же? Врезал ему? Полетел на землю? Ну, ты меня обрадовал, — восхитился старик. — Как же так ловко, а?

— Ты же знаешь, этот прием зовут «матросская защита».

— Да, история... — Старик задумался. — Однажды я его по-свойски тоже отлупил, но без свидетелей. Коварный он, Гришка. Дай потачку — в рот залезет и ботиночки отряхнет. Так что не будь полоротым. — Помолчал. Залпом выпил пиво. Прицелился в Сергея зоркими глазами. — А ты чего хочешь от меня?

— Ничего.

— Нет, все же? Не просто ведь так прилетел... Без этюдника, а?

— Без этюдника...

— Да не крути ты, матрос! Я по-флотски старшина, побольше тебя вижу.

— Я пришел к тебе, Фомич, — начал Лобанов и опять осекся. — С Марии хочу портрет... Она хороший человек... — И, осмелев и перестав смущаться: — Как она? Был у них? Не бьет он ее?

— А-а, вот ты о чем, голубчик! Портрет, значит?

— Перестань, Фомич! А то раздружимся...

Бригадир затих, брови серыми ежонками сбежались к переносью.

— Верю, Сергей... Зайду... Ежели что, я ему сам холку намну. Ты на Черном был удалой, а мы в Заполярье чаек ртом не ловили.

— Спасибо, друг!

Фомич покачал головой:

— Ну, ты меня к причалу носом поставил, удивил! Вот так и ходишь маешься за свои персонажи?

— Маюсь.

— Пиши нас, матросов. Они тебя, как брата, выручат. Всегда!

— Ты как в воду глядел! Начал я вещицу. И знаешь, как назвал? «Черные дьяволы»...

— Про нас! — обрадованно вскрикнул бригадир. — Дай я тебя поцелую, Сережа! — Фомич схватил Сергея за шею, прижался к виску лбом. — Да как ты опять вспомнил? Как это у вас бывает?

— Смешно иной раз... Подрались с Владычиным... Вспомнил, как в разведку на крымские берега ходил.

— Не было бы, говорят, счастья... Для кого драка, для кого — картина. Ну по последней! Успеха тебе!

— Спасибо, Фомич... А об уговоре не забудь, ладно?

— Ну что ты, право? Может, мне больнее, чем тебе. — Фомич полез в карман за деньгами, но Лобанов остановил его.

— На равных! — заартачился бригадир.

На другой день он позвонил Лобанову и сообщил: Мария простужена. Гришу строго предупредил — ежели что, плохо будет. У него борода ощетинилась от злости...

— Не тронет, — заверил Фомич.

— Фомич, ты уж постарайся, — сказал Лобанов. — Чтобы семья... Загладь трещину.

— Э-э! — протянул бригадир. — На камне трещину не затрешь, а тут живое дело...

На другой день в школе рабочей молодежи Лобанов вел кружок изобразительного искусства. Начали с обсуждения выставки ребят, пришедших в этом учебном году. Обсудили, а потом пошли посмотреть на занятия самбистов. Мальчишкам было интересно. Увлекся и художник. Он стоял и любовался мускулистыми телами парней, их ловкими, сильными движениями. Было приятно, что есть

на свете такие вот спокойные и крепкие ребята, которые уже умеют постоять за себя, и невольно вспомнилось ему, как учился этим приемам в коротких смертных схватках с врагом.

Пока самбисты упражнялись на ковре, Лобанов рисовал их, постепенно одевая в бушлаты и бескозырки, давая в руки кому автомат, кому кинжал, а кому поясной ремень. На следующий день он снова пришел сюда, в спортивный зал. Теперь он уже просил ребят фиксировать то или иное положение тела, зарисовывал. Поработал и над лицами. Потом еще раз пришел и еще... Так накапливался материал к «Черным дьяволам». Работа увлекла его. Три дня не уходил из мастерской, повторяя самого себя тех огненных лет, заново переживая не один бой, а все сразу. И получалась картина драматичной и кровавой: вихрь движений, предельного психического и физического напряжения — схватка не на жизнь, а на смерть. Взвившаяся в небо ракета освещала клочок неровного, каменистого берега, выступ скалы, какой-то кустик. Выписанных лиц нет — рот, раскрытый в ужасе, плотно сжатые в ярости губы и — глаза, глаза, глаза. И только один братишка на переднем плане, зажав рану под сердцем, широко расставив ноги, качается перед последним шагом к поверженному на землю врагу. Слева, чуть дальше, вспыхнувшая в пламенном всплеске гранаты вода, кусочек моря.

На этот раз Лобанов, работая, не говорил с героями, как обычно это делал, а дрался вместе. И вот почувствовал, что нет больше сил. Посмотрел на картину равнодушно, сел на стул и тотчас заснул. Во сне еще раз пережил бой. Ему снилась Мария в черном распахнутом бушлате. Немец целился в нее из винтовки, Лобанов пытался крикнуть, предупредить ее, но голоса не было. А немец все целился и целился, вызывая ужас. Мгновенно проснувшись, не сразу понял, где он — перед ним был все тот же бой, теперь уже на полотне.

— Вот черт! — проговорил он, провел ладонью по глазам, блестевшим от возбуждения. Пока пил крепкий чай, мысли его возвращались к «Черным дьяволам». Что-то легко идут они, а это боязно, будто тот сон: хочешь выстрелить, а ружье не стреляет. Хочешь убежать, а ноги не двигаются... Может, опять накатанная дорожка, по которой не шагаешь, а скользишь? Когда материал не поддается, а ты его одолеваешь, это ли не радость!

Он собрался домой, надо было отдохнуть по-настоящему, но куда-то запропастился берет, и, разыскивая его, он все ходил и ходил мимо полотна, посматривая на него то отрешенно, то сердито, то заинтересованно, пока не встал перед ним: его поразила ужасающая нелепость фигуры на первом плане. Если он еще живой, то должен бороться, этот братишка, а если уже мертв и не хватает лишь дуновения ветра, чтобы он упал, то это ведь надо еще выразить. Тогда те, кто будет смотреть на него, поймут и поверят. Сергей неторопливо снял бушлат, стал медленно выбирать нужную кисть, пробовать ее на ладони, на щеке.

Он не ждал жену и был приятно удивлен ее появлению. Беличья шуба и шапка искрились снежинками. Лицо горело румянцем.

— Боже мой, на кого ты похож! — воскликнула она, бросила на диван шубу и подошла к мольберту. — Что я говорила? Это твое, единственное, а ты не веришь. Но какой жуткий вид у этого братишки. Он что, умирает?

— Не знаю. Еще не знаю... Не вижу развязки. В картине у каждого своя роль.

— Не трогай этого! — упредила она движение его руки. — Какой милый мальчик. Таких у вас, кажется, называют салажонками?

— Да, он салага, молодой матрос, а корчит из себя морского волка.

— Хочешь, я тебя покормлю? У меня есть вкусные вещи.

— Я хочу домой! — смешно, по-детски пропел Сергей.

6

Они едут на Украину, художник Иван Зимнев и полковник в отставке Борков, бывший военный журналист. Их пригласил Комитет ветеранов в село Назаровку на Днепропетровщине, на районный слет пионеров. Такие слеты проходят каждый год. Иван еще не знал, что на всех слетах, что состоялись до сих пор, он присутствовал как павший смертью храбрых, и только нынче он будет присутствовать как живой. Местные власти уже приняли решение — Иван Зимнев — почетный гражданин района.

Пионеры Назаровки повязали ему на шею галстук. Но ни это, ни ясный осенний день, ни цветы, ни музыка не смогли расшевелить Ивана — он казался отсутствующим, и все, что происходило вокруг, происходило с ним и в то же время не с ним. И пока говорили взрослые и дети, пока гремела музыка, Иван стоял на трибуне напротив снежно-белого обелиска и читал слабо желтеющие свежей бронзой строчки надписей. Читал в третий, пятый, седьмой раз, все острее ощущая в них какое-то несоответствие, вызывающее и досаду и тревогу. И вдруг глаза его споткнулись на четвертой строчке сверху. Не отрывая от нее взгляда, он медленными шагами стал приближаться к обелиску, не разбирая дороги, подминая ногами земляной, обросший травой бордюр. Ошибиться было нельзя — четвертой в бронзовом списке стояла его фамилия. И он почувствовал, как в голову хлынул горячий шум, вспомнил голубое, в барашках зенитных разрывов небо над осенним Днепром и воду, вздыбленную взрывами мин и снарядов.

Он подошел к обелиску и упал на колени.

— Братики мои, да как же это так? Вы полегли, а я вот живой, дышу, вижу и слышу, хожу по земле. Как же... Умирали мы вместе, а судьба мне выпала жить одному...

Ивана подняли, увели, уложили. Врач сделала ему укол, и он уснул. Утром, проснувшись, долго сидел на постели, оглядывая избу, будто видел ее не в первый раз. Сказал Боркову тихо, неуверенно:

— Товарищ полковник... Я все вспомнил. Знаешь, как мы взяли Харьков, то спешно пошли вперед. Бежали в какую-то длинную гору. Добежали до окопов, откуда они стреляли... Я увидел немца... большую каску, под ней маленькое и узкое бледное лицо, и скорее не понял, а почувствовал, что немец стреляет в меня, но пули не попадают, и я все еще жив, и, падая в окоп, со всего размаха ударяю винтовкой по большой каске. И когда услышал крики своих и увидел над собой мелькающие ноги в кирзовых сапогах и в обмотках, я еще не понял, что немцы бегут.

А утром, обессиленный и подавленный, шел Иван пыльной дорогой меж высоких тополей, похожих на огромные веники. Веники начисто вымели небо, и знойное солнце повисло над степью раскаленным добела шаром. Иван вспомнил, как в ночь под Новый год роту капитана Улина выдвинули на передний край. Повзводно они вышли из деревни, и по зябкому сырому ветру, в тумане им приказали идти раскисшей от нежданной оттепели дороге.

Все это так не походило на украинскую новогоднюю ночь с кривым, кажется, усмехающимся серпиком месяца, с чертями и чертенятами, так и снующими под каждым окошком, у каждой речной полыньи. Младшему сержанту Зимневу и вовсе не представлялось, что он идет по сказочной украинской земле, в сказочную гоголевскую новогоднюю ночь. Конечно, он мог бы сообразить, что туман, с которым не может справиться тягучий, будто увязший в нем промозглый ветер, тоже чертовская хитрость и какая-нибудь их каверза. Лучше было идти и не думать, потому что думалось непременно о теплой тесной хате, в которой они обитали полных четверо суток, в хате, где была раскрашенная петухами печь, белые занавески на маленьких окнах, земляной пол, плотный, как гумно, и такой теплый, что по нему можно было ходить босиком. Вспомнилась хозяйка, своей молчаливостью похожая на его мать, и ее девочка, наверно, чуть помоложе Ивана, с прозрачным голубоватым лицом и серыми сторожкими глазами. Уж она-то не могла ему не напомнить Олену, ту девочку из сельсовета, которой он поклялся вернуться домой героем. Она приняла эту клятву взамен за подделку государственного документа, эту святую ложь, сделавшую Ивана солдатом. Лучше об этом не думать. Не думать, что в Новом году, который они настроились отметить в тепле и уюте, а отметят кто знает под каким кустом, в какой дорожной канаве или в воронке от бомбы. Но никто не мог и подумать, что всю новогоднюю ночь они будут зарываться в землю в лесопосадках под всплесками зеленовато-лунного света немецких ракет, под пульсирующими трассами крупнокалиберных немецких пулеметов. А когда окопы были вырыты и усталость свалила Ивана и его друзей в мгновенном беспамятном сне, побелел туман в предутреннем свете, и перед фронтом роты, в самой близи, можно было уже различить округлую землю — высокий курган, откуда и стреляли фашисты. В это время из окопа в окоп передали приказ: взять курган! Взять так взять, и он побежал в гору, скользя по жидкой черной земле, перемешанной со снегом. Чтобы успеть занять окопы врага, пока его солдаты не очухались после новогодней ночи и не заняли боевой рубеж. И, наверно, Иван успел, если бы не поскользнулся на обледенелом бруствере. Он видел, как, пригибаясь, по окопу бежал немец. У него широкая спина, туго обтянутая шинелью, готовой лопнуть по швам. Вот тут-то Иван впер-

вые подумал: каюк... Но деваться было некуда, и он прыгнул и ударом автомата выбил у немца из рук оружие и сам полетел на дно. Немец навалился, дышал в лицо душным перегаром шнапса, дрожащие руки его с толстыми пальцами норовили вцепиться в тонкую ребячью шею Ивана, но он крутил головой, извивался, бил немца по лицу, но вдруг ощутил холодные пальцы на горле...

Потом он узнал, что наблюдавший все это лейтенант Стодол, не видя Ивана, дал по немцу очередь из автомата. Пули пробили фашисту голову и шапку Зимнева.

Высоту они взяли легко, обдурили фашистов. Она была на стыке дивизий, и немцы решили вернуть такую важную позицию. Высота снова заполыхала огнем, и туман до самого неба стал пламенно-розовым. Нехода, усатый украинец, лежал за пулеметом, Иван подавал ему ленты, успевая стрелять из автомата по зыбким фигурам в тумане. А те все ползли и бежали по склону, падали и больше не поднимались. Туман отделялся от земли, под ним ползли танки, были видны лишь гусеницы и борта, а башни еще в тумане, будто срезаны.

«Сколько их!» — воскликнул тогда пулеметчик Нехода. Иван ответил ему: «Брось считать живых немцев. Будем считать только мертвых!»

Сейчас Иван явственно видел ту высоту, ужасную рану во всю голову пулеметчика Неходы. Иван с трудом оторвал руки Неходы от немецкого трофейного пулемета, оттолкнул его, чтобы взять уже остывшие рукоятки, как вдруг кто-то опередил его и, тяжело дыша, стал разворачивать пулемет вправо. Иван увидел копошащиеся в тумане фигуры немцев и услышал трезво-рассудительный голос комроты Улина:

— Собери гранаты, пока у меня есть патроны. Слышишь? А Неходу оттащи в ровик.

Пулемет редко и гулко застучал. А туман справа шевелился, клубился, полный неясным движением — там ползли и бежали немцы. Недалеко от засыпанных ящиков с гранатами ротный санинструктор Люба перевязывала раненого лейтенанта Стодола. И тут Иван увидел, как Люба вздрогнула, посунулась вперед, из рук ее выпал странно белеющий среди черной взрытой земли бинт. А Иван все рыл и рыл ободранными руками землю, вытаскивая мокрые грязные ящики. Потом бросал гранаты в туман, где ползли и бежали немцы, там тускло и глухо рвалось, и туман отделялся от земли, приоткрывая страш-

ную картину неравного боя. А когда туман расступился, горстка солдат увидела дугой ползущие к кургану немецкие танки. К тому времени уже не было в живых комроты Улина. Там, где он лежал за пулеметом, недолго дымилась воронка от взрыва танкового снаряда.

Гранатами они подбили шесть танков.

Немцы ворвались на высоту, когда на ней, кажется, никого уже не было.

Иван очнулся: кто-то тянул его за ноги. Вдруг ногам стало холодно: сняли сапоги! В глазах темно — лицо засыпано землей. Немцы, увидев шевелящиеся пальцы, стали откапывать Ивана.

В плен его вели босого по жидкому снегу, расквашенному оттепелью.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

1

Савел добрался до районного центра, лесного поселка, окруженного со всех сторон горами опилок, коры и горбыля, будто крепостным валом с въездными воротами. В колхозе сказали, что сын его работает то ли во Дворце культуры лесников, то ли в кинотеатре. Савел обошел поселок, Андрея Векшина никто не знал. Но когда он назвал его художником, сразу все разъяснилось: в поселке художника все знали! Показали дом, где он живет, и маленький клуб, где он работает директором. «Художник? Как же, как же... Все афиши в городе его. Детский парк оформил. Зимой изо льда и снега целые городища для ребятишек строит. Забавные, веселые...» Савел ничего не понимал: афиши, детский парк, ледовые города... А «Голубой демон» откуда? Озорство?

Ждет отец сына... Приходит нормальный молодой человек, побритый, волосы короткие, ведет за руку нормального сына, такого круглолицего, синеглазого. Откуда-то из-за дома с сумкой выскакивает нормальная молодая женщина, длинноногая, в цигейковой шубке, хватает мальчонку на руки: «Маленький мой, как я соскучилась!» Узнают деда, удивляются, приглашают в дом. Нормальная квартира, правда маленькая. Оранжевые обои на голые бревна наклеены, мальчишка кое-где пальцем дыр наделал. Все шло хорошо: ужин, рыба разная на закуску,

пока разговор не зашел об искусстве. Тут Андрей сразу быка за рога: «Зачем приехал? Свои цветные картинки распространять? Стоило ли: елок да берез тут полно в натуре». Савел о «Голубом демоне». Что это? Хулиганство? «Ха, ха! — отвечает сын. — Я так уничтожаю каноническое искусство. Зайди в столовую лесопилки. Там «Боярыня Морозова» во всю стену. Нет, нет, в санях не она, а Аленушка. И всем нравится». Не поверил Савел, утром отправился на лесопилку. Да, вместо боярыни в санях натуральная Аленушка сидит, поджав босые ноги. «Почему ты в столовые да кафе эту ерунду тянешь?» — спрашивает Савел сына. «Там народ всегда, — отвечает. — Ест, смотрит и ни о чем не думает». Пообещал Савел: «Запишу «Демона». Решение правления есть». — «Чем? — спрашивает сын. — Своими пейзажами? В первую же неделю всем надоедят». Погостил Савел у сына три дня, убеждал, стыдил, ругал. А слова, что камешки, пущенные по воде, бегут-бегут и тонут.

Савел отправился на этюды. Пора ранней зимы была прекрасная, много солнца и сверкающий белый снег, и этюды вышли отменные. Один он подарил невестке Рае, симпатичной молодой женщине, обожающей свекра, другой велел продать на рынке. Назначил большую цену. Вместе они отобрали из работ Андрея явно формалистический этюд, причем рамку для него покрасили бронзой. Вернувшись, Рая сообщила, что отцов этюд чуть с руками не оторвали, заказали с десяток, мужний принесла обратно. Узнав об этом, Андрей обиделся и на отца, и на жену. Рая заплакала:

— Время уходит. А ты ни для себя, ни для людей...

— Но пойми же, — сказал Андрей, — это примитивное доказательство.

— Посмотрел бы, за отца буквально дрались.

— Дураки!

— Дураки, и те деньги зря не бросают...

2

— Кому нравится «Голубой демон»? — Савел оглядел присутствующих в кафе. — Не стесняйтесь!

Недружно поднялось несколько рук.

— Кто его не замечает? Кому все равно?

Руки поднялись дружнее, на этот раз их было больше.

— Кому «Демон» не нравится?

Рук было немного, не этого ожидал Савел, но поднялись они решительно и высоко. Среди отрицателей большинство девушек. Савел обратил на это внимание, спросил сидящую перед ним белокурую доярку Музу Попову, чем ей не пришелся «Демон». Девушка звонко, как на уроке, сказала:

— Мы ищем идеал красоты!

— А ты что думаешь? — спросил Савел мальчика Викентия Попова, чьи акварели ему понравились, и он отобрал несколько картонок для будущей их совместной выставки в колхозе. Викентий — в деревне любили это имя, не меньше половины мужчин носили его или были Викентьевичами — засмущался, лицо его запунцовело. Встав, сказал:

— Это не искусство... — И сел, стараясь скрыться за спинами товарищей.

Векшин собирался побеседовать с молодежью об искусстве, в частности о Врубеле, раздобыл в библиотеке репродукции его произведений, считал, что народ тут подготовленный, поскольку сын председателя искусствовед и наезжает в родную деревню, просвещает людей. Но оказалось далеко не так: искусствовед пил по утрам парное молоко, отправлялся на озера пострелять уток, спиннинговал на реке. Человек в отпуске, какой спрос?

Савелу стыдно было признаться, что это «не искусство» — дело рук его сына. А если не признаться, кто же тогда поверит хотя бы одному его слову? И он начал с сообщения о том, что несколько дней назад вернулся от сына, тоже художника. Мужик, без сомнения, талантлив. Ученические его работы до сих пор помнятся. Но раннее желание быть замеченным, без хорошей школы и знания жизни, неизбежно потребовало путей, далеких от искусства. И вот «Голубой демон», скандальная дорога.

— Это ваш сын? — охнула Муза Попова.

— Да, это мой сын Андрей Векшин. Но мы поговорим сегодня о Врубеле. Если бы вы раньше спросили меня, люблю ли его, я бы затруднился ответить. Его немногие понимали, я тоже не понимал. Было время, Горький критически относился к нему. Стасов не понимал его условностей. Время забыло об этом, высветило художника, и он встал рядом с гигантами.

Почему я не понимал его и почему понял? Его считали

мистиком, а время определило ему место бунтаря, я бы сказал, и романтика. Его «Демон» — это протест против одряхлевшего старого строя, против худосочного модернистского искусства. По новизне формы и силе чувств и теперь мало кого можно с ним сравнить. Вот посмотрите его «Демона» сидящего. Репродукция крошечная, кому интересно, подойдите и посмотрите.

Застучали стулья, ребята вставали, шли к стене, где Савел прикрепил цветную репродукцию. По привычке сразу же выстроилась очередь. Одни отходили, едва взглянув, другие задерживались, их торопили. Когда сел на место последний человек, Савел спросил:

— Что это — реализм или фантастика? Смерть или жизнь? Героическое или упадническое? Стиль классический или модерн?

Какое-то время в кафе стояла тишина, потом снова загремели отодвигаемые стулья, снова ребята побежали к репродукции. Теперь уж возле нее образовалось что-то вроде свалки и загорелся спор. Савел не пытался навести порядок. Дискуссия пока свободная... Пусть сойдет пена горячности, легкомыслия, всезнайства. В стычках приходит трезвость. Постепенно молодежь снова рассаживалась на свои места. Савел не торопил с высказываниями, не тянул за язык.

— А вы что думаете? — встала разгоряченная Муза Попова. — А то ребята скоро подерутся...

— Это будет драка по самой благородной причине, — сказал Савел, — но обойдемся и без нее. Что я думаю о «Демоне» спящем? Скажу кратко, чтобы вы сами еще подумали, почему так. «Демон» сидящий, лично я считаю, — это прямой вызов людям: можете ли вы дальше так жить, как живете? Вызов тому обществу — оно не имеет права дальше так относиться к людям. Вызов искусству — оно не может больше мириться с несправедливостью общества по отношению к человеку. Теперь эта философская точка зрения даст мне право думать: «Демон» сидящий — своеобразно понятая героическая личность, он смотрит в будущее, а не ждет смерти; он не в небесах, а на земле, и существование его бесспорно; фантастическое в нем только оболочка, а не сущность.

Крушение идеалов художника вылилось в «Демоне» поверженном, — продолжал Савел. — Картина писалась в девятьсот втором году, писалась мучительно. От нервного истощения художник тяжко заболел. Здесь внутренние

терзания «Демона» доведены до предела. Поломаны могучие крылья. Хрупкое тело вжато в скалу, руки безвольны. Но по-детски капризное лицо полно прежней злобы и гордыни. Посмотрите, как решено это художественно. Я пошлю репродукцию по рядам... Обратите внимание на пейзаж.

И опять споры, крики, несогласие, обвинения Врубеля в том, что он не оправдал надежд, рано сдался. «Ах, молодость, молодость!» — думал растроганный Савел, потирая короткий нос.

После этого разговора бездумного «Голубого демона» никто уже не жалел. Но и Савел попал в безвыходное положение. Что он напишет вместо него?

3

Савел вернулся домой в солнечный ноябрьский день и застал Лобанова работающим над «Черными дьяволами». Картина «дичала», не писалась. Взглянув на мольберт, Савел с несвойственной ему патетикой воскликнул:

— Братишки? Снова братишки! Да здравствует Сергей Лобанов! — И обнял друга единственной рукой.

— Сбежал, что ли?

— Считай, сбежал. Повод уважительный: с женой повидаться. А впрочем, и с поклоном к тебе!

— Выкладывай!

— Потом, потом...

Савел сбросил полушубок, называемый ныне «вятской дубленкой», с пришитым к карману рукавом, подошел к картине, затем отодвинулся в угол. Стоял, вглядывался, молчал.

— Взял ты картину здорово, Серега! Фигуры разместил — не подкопаешься. Центр силен, все уравновешено. А знаешь, откуда это? Из опыта работы натюрмортов. Так что считай натюрморты благом, а Лину — благодетельницей.

— Ты так считаешь? Взято верно? — В диковатых глазах Лобанова вспыхнул огонек удовлетворения.

— Переживаешь?

— Как ты думаешь?

— Вижу по картине... Беспокойно тебе. Даже мертвый немец у тебя, кажется, хочет встать. А братишка... У него

уж сердце остановилось, а шаг навстречу врагу он еще сделал. А?

— А, ладно! Картина еще сырая. Сырая по мысли, — возразил досадливо Лобанов. — Мысль моя обострена. Ответственность человека перед обществом. Вот о чем я думаю.

Савел заметил, что друг его — это не прежний спокойный и уверенный удачник, окруженный в одинаковой мере почитателями и хулителями. Но он был как бы сам по себе — ни те, ни другие для него вроде бы не существовали. И Савел только сейчас, кажется, понял всю глубину исканий Сергея, однако не хотел об этом сегодня говорить. И все же попытался успокоить его:

— Да все у тебя есть, что ты уж так тревожишься? Преподносить мысли на блюдечке: на, товарищ зритель, на, почтенная комиссия? И у тебя на этом маленьком пятачке земли встретились человек и человеко-зверь. Как тебе удалось сохранить в высокой чистоте своих милых братишек? А смотри, они заставили вот этого немца-зверя перед смертью увидеть в себе человека. Какие у него глаза! Где ты их взял?

В глазах смертельно раненного молодого немца, что прижимается спиной к скале, такая жгучая жажда жизни, что нельзя было не пожалеть этого юнца. Какая мысль ему еще нужна?

— Глаза? — не сразу понял Лобанов. — Ах, немец. У скалы...

— Да. Я чувствую, если он отшатнется, то упадет.

— Что тут хитрого! А глаза? Глаза я зарисовал в отделении милиции. Мальчишка там был. Слямзил какую-то ерунду. Можно представить, как ему зябко было среди отпетых людишек! Ты бы посмотрел, какие у него были глаза, когда его отпустили! Ну, ладно, все обо мне да обо мне. А у тебя что?

Продолжение на стр. 193

**ЖУРНАЛ
В
ЖУРНАЛЕ**





УТРОМ 25 ОКТЯБРЯ 1917 года Владимир Ильич Ленин получил подробную информацию о том, что все важнейшие пункты города — вокзалы, мосты, Центральная телефонная станция, Государственный банк, электростанция — находятся в распоряжении Военно-революционного комитета. Ленин пришел к выводу, что часы Временного правительства сочтены, что восстание, по существу, уже одержало победу.

В 10 часов утра Ленин пишет знаменитое обращение «К гражданам России». Это был важный и ответственный исторический документ. Вождь революции стремился к максимальной точности выражения, он тщательно отбирал каждое слово, зачеркивал и вписывал новые фразы, стремясь написать первое обращение к широким народным массам предельно кратко и сжато...

В этом первом документе Октябрьской революции говорилось:

«Временное правительство низложено. Государственная власть перешла в руки органа Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов — Военно-революционного комитета, стоящего во главе петроградского пролетариата и гарнизона.

Дело, за которое боролся народ: немедленное предложение демократического мира, отмена помещичьей собственности на землю, рабочий контроль над производством, создание Советского правительства, это дело обеспечено.

Да здравствует революция рабочих, солдат и крестьян!»

В столице продолжалось наступление революционных войск. Отряд матросов занял Адмиралтейство и арестовал Морской генеральный штаб. В Неву вошли кронштадтские корабли. Мариинский дворец перешел в руки ВРК. Последним очагом сопротивления оставался Зимний дворец, где все еще заседали неизвестно на что надеявшиеся министры Временного правительства...

В 2 часа 35 минут в Белом зале Смольного началось заседание Петроградского Совета. Председатель Совета заявил собранию, что Временное правительство больше не существует, Предпарламент распущен, готовится штурм Зимнего и судьба его предрешена.

И вот на трибуну поднялся Ленин. Его встретили бурей оваций. Время от времени Ленин поднимал руку, чтобы прекратить овацию, но она становилась все оглушительнее... Наконец, сделав решительный жест и шагнув вперед, Владимир Ильич начал говорить.

«Точно из-под молота выходили его слова и мысли, — вспоминает М. Н. Скрыпник. — Всех присутствующих в зале охватило приподнятое настроение энтузиазма и революционного горения. Как говорил Ильич? Разве можно это передать! Его речь осталась в моей памяти как призыв, как суровая песнь борьбы. Во всей фигуре Ленина, в его напряженном голосе чувствовалось стремление передать всем присутствующим свою веру в победу, силу воли и решительность».

Ленин говорил о том, что составляло самые сокровенные мечты рабочих, солдат, матросов, — о мире, о земле, об уничтожении рабства на фабриках и заводах, о задачах, которые стоят перед Советской властью: «В России мы сейчас должны заняться постройкой пролетарского социалистического государства».

Петроградский Совет принял написанную Лениным резолюцию, в которой, в частности, говорилось: «Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов приветствует победную революцию пролетариата и гарнизона Петрограда. Совет в особенности подчеркивает ту сплоченность, организацию, дисциплину, то полное единодушие, которое проявили массы в этом на редкость бескровном и на редкость успешном восстании». Совет торжественно провозглашал, что революцией будет создано Советское правительство, которое предложит всем народам заключить демократический мир, немедленно отменит помещичью собственность на землю, создаст рабочий контроль над производством и распределением продуктов, национализирует банки.

Вечером 25 октября должен был открыться II Всероссийский съезд Советов. А Зимний все еще не был взят, Временное правительство не арестовано. Владимир Ильич отправил несколько записок в полевой штаб ВРК с требованием немедленно начать штурм Зимнего дворца, указывая, что задержка наступления на Зимний задерживает открытие съезда Советов.

В 9 часов 30 минут вечера на Дворцовой площади началась перестрелка. С Петропавловской крепости, где находился полевой штаб ВРК, был подан условный сигнал, которого ждали на крейсере «Аврора».

Выстрел «Авроры» мощным ревом прокатился по городу. Начался штурм последней твердыни Временного правительства.

Н. И. Подвойский вспоминает: «Это был героический момент революции, грозный, кровавый, но прекрасный и незабываемый. Во тьме ночи, озаряемые мечущимися молниями выстрелов, со всех прилегающих улиц и из-за ближайших углов, как грозные тени, неслись цепи красногвардейцев, матросов, солдат, спотыкаясь, падая и снова поднимаясь, но ни на секунду не прерывая своего стремительного, ураганоподобного потока...

Лязг оружия, визг и треск тарахтящего по мостовой «максима», стук железных подков на тысячах тяжелых солдатских сапог, шум броневиков — все смешалось на Дворцовой площади в какую-то неописуемую какофонию... Матросы, красногвардейцы, солдаты под пулеметную трескотню, волна за волной, перехлестывали через баррикады...»

В Смольном в 10 часов 45 минут вечера начал свою работу II Всероссийский съезд Советов. Состав делегатов съезда убедительно подтверждал слова Владимира Ильича о том, что большинство народа перешло на сторону пролетарской революции. Из 650 делегатов около 400 являлись большевиками. Меньшевики и правые эсеры, до этого господствовавшие в Советах, составляли небольшую группу в 70—80 человек, да и эта группа продолжала таять...

В 1 час 50 минут в ночь с 25 на 26 октября Временное правительство было арестовано, а затем под караулом доставлено в Петропавловскую крепость.

Сообщение о взятии Зимнего дворца и аресте Временного правительства съезд Советов выслушал с горячим восторгом. Под бурные аплодисменты было принято написанное Лениным воззвание «Рабочим, солдатам и крестьянам!», провозгласившее переход всей государственной власти в центре и на местах к Советам. Родилось Советское государство, государство рабочих и крестьян.

Ленин не присутствовал на первом заседании съезда: он руководил последними операциями по штурму Зимнего. Лишь после ареста министров Временного правительства он покинул Смольный и направился для короткого отдыха — Ильич не спал уже двое суток! — на квартиру В. Д. Бонч-Бруевича.

«Я постарался предоставить все для отдыха Владимира Ильича, — вспоминает Бонч-Бруевич. — Я лег в соседней комнате на диване и твердо решил заснуть только лишь тогда, когда вполне удостоверюсь, что Владимир Ильич уже спит... Слышу, почти бесшумно он встал с кровати, тихонько притворил дверь ко мне и, убедившись, что я сплю, еле слышными шагами на цыпочках, чтобы никого не разбудить, подошел к письменному столу... Он сел за стол, открыл чернильницу и, опершись на локти, углубился в работу...» Ленин составлял Декрет о земле, уже продуманный им ранее во время пребывания на последней конспиративной квартире у М. В. Фофановой, на Сердобольской улице, откуда вечером 24-го он ушел в Смольный...

Утром, по словам Бонч-Бруевича, Владимир Ильич вышел из комнаты энергичный, свежий, бодрый, радостный и сказал:

— С первым днем социалистической революции!

Первый день Советской власти, первый день диктатуры пролетариата... С утра в Петрограде было тихо и спокойно, не раздалось ни одного выстрела. Всякое военное сопротивление было прекращено, столица находилась под полным контролем Военно-революционного комитета, который в течение всего дня выступал как высший орган власти. Отряды красногвардейцев, революционных солдат и матросов охраняли город и вели решительную борьбу с контрреволюционными и уголовными элементами. В городе стала налаживаться нормальная жизнь: открывались магазины, работали предприятия, электростанция, трамвай, на всех вокзалах поезда отходили и приходили по расписанию...

В штабе революции — Смольном кипела работа. В большой комнате, где помещался Военно-революционный комитет, непрерывно раздавались телефонные звонки — сюда приходили вести из различных уголков огромного города. Дежурные комитета давали распоряжения, предупреждали, разъясняли, приказывали. Шла отправка на фронт красногвардейских полков: банды Керенского стояли под Петроградом...

Сотни людей — рабочие, солдаты, матросы, делегаты II съезда Советов — побывали в тот день у Владимира Ильича, получали задания и шли на предприятия, в казармы, выезжали в дальние города страны. И хотя еще не было создано Советское правительство, к Ленину шли как к вождю революции и народа, обращались с самыми различными просьбами.

Утром Владимир Ильич принял рабочего завода «Эриксон», депутата Петроградского Совета А. С. Семенова, пришедшего за разрешением на получение из Госбанка денег для выплаты зарплаты рабочим.

«Принял меня Владимир Ильич тепло, дружески, — вспоминает Семенов. — Я рассказал ему о наших незадачах с деньгами. Он слушал внимательно, потом взял бумажку и быстро написал:

«Сим уполномочен Семенов привезти в В-Рев. комитет комиссара Менжинского. Член В-Рев. Ком. Ленин».

— Вот, поезжайте и привезите мне Менжинского. Надо успеть получить деньги сегодня же.

Нужда рабочих одного завода в те дни, когда решалась судьба всего мира, казалось, не могла бы рассчитывать на такое внимание: для меня это было совершенно необычным.

Пробившись через отряды буйствующих около телефонной станции на Мойке юнкеров, я нашел Менжинского и вернулся с ним в Смольный.

Ильич был уже на первом этаже на заседании ревкома. Менжинский прошел туда и вернулся с новой запиской:

«Немедленно выдать т. Семенову 500 тысяч рублей для раздачи жалованья рабочим завода «Эриксон». Ленин».

Печатей и штампов на документе не было. Но зачем нужна была печать, когда одна в мире была такая подпись — Ленин!»

Среди множества забот первого дня одной из важнейших была забота о продовольствии, о хлебе. Борьба за хлеб потребовала огромных усилий и в дальнейшем: не проходило недели, чтобы Совнарком не занимался этим вопросом. Декреты и воззвания по продовольственным вопросам, принятые ЦК партии и Советским правительством, ленинские письма и телеграммы сыграли исключительную роль в решении важного продовольственного вопроса... А началом стал первый разговор с инженером-технологом П. А. Козьминым, которому Владимир Ильич сказал:

— Ну, мукомол, действуйте, не теряя ни минуты. Идите в Военно-революционный комитет, получайте мандаты, какие нужно, и давайте муку Петрограду. За цельность мельниц и правильную их работу на вас возлагается строжайшая ответственность...

Во второй половине дня 26 октября состоялось заседание фракции большевиков II Всероссийского съезда Советов, на котором обсуждался вопрос о составе Советского правительства, а затем, примерно в 7 часов вечера, — Центрального Комитета партии большевиков. Приглашенным на это заседание ЦК представителям левых эсеров предложили войти в Советское правительство. Левые эсеры отказались, и тогда было принято решение создать правительство из одних большевиков.

Вспоминая о первом назначении Совета Народных Комиссаров, А. В. Луначарский пишет: «Это совершалось в какой-то комнатушке Смольного, где стулья были забросаны пальто и шапками и где все теснились вокруг плохо освещенного стола. Мы выбирали руководителей обновленной России. Мне казалось, что выбор

часто слишком случаен, я все боялся слишком большого несоответствия между гигантскими задачами и выбираемыми людьми, которых я хорошо знал и которые казались мне не подготовленными еще для той или другой специальности. Ленин досадливо отмахивался от меня и в то же время с улыбкой говорил:

— Пока — там посмотрим — нужны ответственные люди на все посты; если окажутся негодными — сумеем переменить.

Как он был прав! Иные, конечно, сменились, иные остались на местах. Сколько было таких, которые не без робости приступали к поручаемому делу, а потом оказались вполне на высоте его. У иных, конечно, — не только из зрителей, но и из участников переворота — кружилась голова перед грандиозными перспективами и трудностями, казавшимися непобедимыми. Ленин с изумительным равновесием душевным всматривался в исполнение задач и брался за них так, как берется опытный лоцман за рулевое колесо океанского гиганта-парохода».

Второе заседание съезда Советов открылось 26 октября в 9 часов вечера. Белоколонный зал Смольного был до отказа заполнен народом. «Мы не отрывали глаз от президиума, ожидая, когда появится Ильич, — вспоминает бывшая работница завода «Промет» А. И. Круглова. — И вот он быстрыми шагами взошел на трибуну. Мы вскочили со своих мест и, охваченные непередаваемой радостью, захлопали, закричали, приветствуя своего любимого вождя. Полетели вверх рабочие кепки, матросские бескозырки, потертые солдатские шапки. Многие поднимали винтовки, словно давая клятву защищать с оружием в руках дело революции».

Обращаясь к делегатам съезда, Владимир Ильич горячо поздравил их со свержением Временного правительства и с победой вооруженного восстания. Затем Ленин начал доклад о мире. Назвав вопрос о мире наиболее жгучим и больным, он сразу перешел к чтению декларации. В Декрете о мире, предложенном партией большевиков на рассмотрение съезда, призывались все воюющие народы и их правительства начать немедленно переговоры о мире на условиях отказа от захвата чужих земель и контрибуций, немедленного заключения перемирия...

Зал замер, вслушиваясь в каждое слово вождя: Ленин говорил о том, что волновало миллионы и миллионы трудящихся.

«Предлагая немедленно заключить перемирие, — говорил Владимир Ильич, — мы обращаемся к сознательным рабочим

ПРИМЕР ГЕРОЕВ ЗОВЕТ

В УГОЛКЕ КУБЫ интернационального зала музея мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» много интересных экспонатов — флаг революционной Кубы, земля с мест, где началась революция, макет монумента, установленного на мысе Плайя Хирон, вымпел Союза молодых коммунистов, книга С. С. Смирнова «Герои Брестской крепости», переведенная на испанский язык, иллюстрированная карта, на которой отмечены места жестоких сражений кубинского народа за свободу и независимость.

тех стран, которые много сделали для развития пролетарского движения...

Правительства и буржуазия употребят все усилия, чтобы объединиться и раздавить в крови рабочую и крестьянскую революцию. Но три года войны достаточно научили массы...

Рабочее движение возьмет верх и проложит дорогу к миру и социализму».

Съезд единогласно принял Декрет о мире — первый декрет новой власти. Грянул «Интернационал», могучий напев заполнил зал, вырывался сквозь окна и двери и уносился в притихшее небо... «А когда кончили петь «Интернационал», — пишет в своей книге «10 дней, которые потрясли мир» Джон Рид, — и мы стояли в каком-то неловком молчании, чей-то голос крикнул из задних рядов:

— Товарищи, вспомним тех, кто погиб за свободу!

И мы запели похоронный марш, медленную и грустную, но победную песнь, глубоко русскую и бесконечно трогательную...»

Затем был принят Декрет о земле. Последним съезд обсудил предложение об образовании нового правительства. Большевистская фракция внесла на рассмотрение съезда резолюцию: «Образовать для управления страной впредь до созыва Учредительного собрания Временное рабочее и крестьянское правительство, которое будет именоваться Советом народных комиссаров».

Декрет о создании Советского правительства был принят большинством голосов. Избрав новый ЦИК, II Всероссийский съезд Советов закончил свою работу. Советская власть стала действительностью.

Наступило утро 27 октября, когда делегаты съезда покидали Смольный. У всех у них были листовки с декретами, принятыми съездом. Один из делегатов вспоминает, как, встретив в коридоре Смольного группу делегатов, Ленин пожелал им счастливого пути и посоветовал по приезде домой подробно информировать Совет, партийную организацию о победе революции...

— А главное, — подчеркнул Ильич, — помогать новым органам проводить в жизнь декреты и распоряжения Советского правительства, смело преодолевая, ломая всякое сопротивление противников Советской власти.

Н. ВАСИЛЬЕВ

Недавно в экспозиции «Куба в миниатюре» появились новинки, присланные с острова Свободы. Они имеют свою историю.

В 1966 году сотрудница музея Т. М. Ходцева сделала пометку в своей рабочей тетради: «Предательский выстрел с базы Гуантанамо. Убит кубинский пограничник. В кармане гимнастерки — листок из книги «Герои Брестской крепости». Об этом рассказал над гробом солдата Рауль Кастро». Когда в декабре 1976 года второй секретарь ЦК Коммунистической партии Кубы, первый заместитель председателя Государственного совета и Совета Министров, министр Революционных вооруженных сил Республики Куба Рауль Кастро Рус приехал в крепость, Ходцева обратилась к нему с просьбой рассказать

подробности той трагической истории.

Недавно от Рауля Кастро в крепость поступил пакет. Среди других в нем были материалы о пограничнике, убитом 21 мая 1966 года американскими морскими пехотинцами, — Луисе Рамиресе Лопесе. О жизни выходца из бывших бедных крестьян, о его службе в погранвойсках, о злодеянии американских морских пехотинцев свидетельствуют присланные Раулем Кастро фотоснимки, вырезки из журнала «Зеленая олива» — органа Революционных вооруженных сил Кубы. В пакете — биография погибшего воина, брошюра с текстом выступления министра Революционных вооруженных сил Кубы во время похорон Рамиреса Лопеса в городе Сантьяго-де-Куба на кладбище Санта Ифигения.

В своем выступлении Рауль Кастро, в частности, сказал: «...Выражая волю народа, мы не думаем, что ошибемся, если скажем от имени всей семьи Рамиреса Лопеса, что весь наш революционный народ — это единая и крепкая семья. И товарищу Рамиресу Лопесу, которого мы сегодня хороним на этом кладбище, где покоятся останки многих героев всех наших поколений, вспомнив тот факт, что в его военном билете был лист из книги «Герои Брестской крепости» со словами «Мы будем сражаться до конца!», мы скажем: «Да, товарищ Луис Рамирес Лопес, мы будем сражаться до конца врагов нашего народа!»

Так раскрылась еще одна страничка вдохновляющего примера защитников Брестской крепости. Примера, которому следуют борцы за правое народное дело на всех континентах.

СТУК ТЯЖЕЛЫХ кованых сапог в дверь дома Абдулкасымовых эхом разнесся над спящим Шейхантауром.

— Эй, открой! — горланил рослый жандарм, норовя выломать дверь.

Юсуп видел, как сестренки метнулись в угол и оттуда круглыми от страха глазами смотрели на отца.

— Юсуп! — голос отца был строг и спокоен. — О листовках, железнодорожниках, книжках, которые ты приносил из мастерских, — ни слова...

Лязгнул засов. Жандарм застрял в низенькой двери, чертыхнулся, а ввалясь в комнату, закрыл широкой спиной проем окна. Юсуп не успел заметить, как он выхватил нагайку. В такт ударам, обрушившимся на отца, сыпались вопросы:

— Где прячешь листовки? Где? Где?

Гремела об пол глиняная посуда, летела из подушек прелая, слежавшаяся солома, трещали по швам старые одеяла. Шел обыск. И чем меньше оставалось в глинобитном

ТАШКЕНТСКИЙ ГАВРОШ

В первых рядах восставших рабочих сражались большевики. Подростки тоже помогали восставшим. Некоторые из них были разведчиками и связными. 15-летний Юсуп Ташпулатов вместе со взрослыми сражался в боевой дружине.

(Из школьного учебника «ИСТОРИЯ УЗБЕКСКОЙ ССР»)

домишке необшаренных уголков, тем свирепее становились лица жандармов, злее свист нагайки.

Отца вели под конвоем. Руки его были заломлены за спину. Рубашка из белой превратилась в пунцовую, и с каждой минутой цвет ее густел.

— Давно пора этого голодранца в тюрьму, — неслись вслед злобные слова из байских подворотен.

— Может, ты, сын смутьяна, расскажешь о делишках отца? — остановил Юсупа старый мулла у двери духовной школы Арслан-кары.

Юсуп упрямо качнул головой.

Мулла сжал костлявыми пальцами плечо подростка:

— Хорошенько подумай, Юсупджан! А мы тебе поможем... Эй, кто там?

Сыновья муллы ловко связали Юсупа мокрыми ремнями и бросили на сырой глиняный пол, накрыв большущим казаном. Сколько времени пролежал Юсуп на холодном полу, под чугунным колпаком, он не помнил. Острые края тяжелого казана глубоко ушли в мокрую глину, закрывая доступ воздуху. Дышать под колпаком с каждой минутой становилось труднее.

...Сквозь жар и забытье Юсуп почувствовал, как теплая рука, пахнущая лепешкой, нежно скользит по его лбу. Он открыл глаза и от неожиданности вскрикнул. Отец смотрел на него с тревогой.

— Ота? — чуть шевеля сухими губами, спросил Юсуп.

Отец облегченно вздохнул.

— Едва выходили тебя... А ты молодец, молчал. Я тоже не сказал им ничего. Зубами от злости скрипели, а пришлось отпустить. Ничего, сынок, придет и наш час. Скоро придет...

...Казаки спешили. Они понимали, что железнодорожники вот-вот начнут наступление, и решили опередить рабочих, занять мастерские и разгромить центр восстания. 28 октября гудок в Главных мастерских возвестил о начале вооруженного восстания. Уже рвались у мастерских снаряды, свинцовым дождем поливали вражеские пулеметы. Но со

всех концов сюда стекались рабочие отряды.

Против железнодорожников были брошены юнкера, прапорщики, казаки. Баррикадами, винтовочными стволами ощетинилась рабочая крепость.

«Героизму рабочих не было предела, — вспоминает об этих днях В. Лапин, председатель ревкома по руководству Октябрьским вооруженным восстанием в Ташкенте, — и нет никакой возможности сейчас вспомнить и описать хотя бы тысячную долю ярчайших картин самоотверженности, подлинного героизма рабочих в октябрьские дни».

Но слишком неравны были силы. Плотнее сжималось белогвардейское кольцо вокруг мастерских. Поэтому в Ашхабад, Кушку, в районы старого Ташкента ехали, скакали, пробирались связные рабочих: нужна была помощь. Срочно, сейчас.

Старый город готовился к бою. Отряды ремесленников и старогородской бедноты вооружались, чтобы помочь рабочим. Там, за мастерскими, вполнеба поднималось зарево, слышались раскаты артиллерийских залпов, треск пулеметов. С тревогой глядя в ту сторону, где шел бой, Юсуп перебирал в памяти события минувшего дня. Он добывал продукты для отряда, навещал семьи бойцов, помогал строить баррикаду, вместе с мальчишками из соседней махалли поймал лазутчика. Много событий принес этот день.

— Ташпулатов! — прервал размышления Юсупа часовой у дверей старого дома, в котором расположилось руководство отряда ремесленников и бедноты. — Быстрей к командиру. По всему отряду тебя ищем...

«Зачем это я понадобился?» — подумал Юсуп.

— Знаем, парень ты отчаянный. — Командир говорил неторопливо, пристально глядя на Юсупа, как бы оценивая и раздумывая. — Помню, как под самым носом у жандармов листовки расклеивал. Слушай и запоминай. Прибыл связной из железнодорожных мастерских. Обратно ему возвращаться опасно — приметили юнкера. Ты отнесешь записку рабочим, а на словах передашь: пусть еще чуть-чуть продержатся. Мы идем!

...Ах, луна-предательница!.. Повисла над городом и светит, светит. Каждый камушек на дороге видно, каждый кустик тень бросает. А сердце стучит в груди так, что, кажется, и в новом городе слышно.

Юсуп отдышался... Первые, «нейтральные», улицы пройдены. По вспышкам выстрелов он определил: юнкера рядом. Их посты должны находиться через две улицы. Идти в обход? Юсуп выбрал кратчайший путь. От дерева к дувалу, от дувала к подворотне летел он по ночным улицам, не чувствуя ног. У полуразрушенного дома мелькнула тень. Раздался гулкий, торопливый топот копыт. Казаки!

Юсуп огляделся по сторонам. Укрыться было негде. В отчаянии он до крови закусил губу, с разбегу влетел в арык, шлепнулся в вонючую жижу и затих.

Патруль ничего не заметил. Только лошади, почуяв человека, тревожно заржали у арыка и понесли седоков дальше по узкой улице.

Чем ближе подходил Юсуп к железнодорожным мастерским, тем чаще встречались на его пути юнкера.

Сурово и холодно занимал-

ся рассвет. Проскочить незамеченным мимо юнкеров было уже невозможно. Юсуп скинул халат, плюхнулся в придорожную пыль, взлохматил волосы.

Теперь он стал беспризорником. К тому же глухонемым... И пошел напрямик через посты и казачьи заслоны.

— Да гони ты этого оборванца, — прохрипел у батареи костлявый артиллерист. — Ишь, хлеба ему!

— А нагайки хочешь? — гоготали казаки, готовясь к атаке на мастерские.

Юсуп петлял между казаками и юнкерами, клянчил еду, деньги, увертывался от ударов. И, улучив момент, рванул что было духу к крепости. Вслед понеслась ругань, загремели торопливые выстрелы.

Изумленные и радостные, окружили его рабочие.

— Ты откуда, пострел?

— Из старого города, от ремесленников. Вот записка! Идет помощь!

— Да ты понимаешь, что ты принес?! — усатый машинист сильными жесткими руками обнял Юсупа. — Качать его, братцы! Качать!

«В этот третий день, — вспоминает В. Лапин, — в самый жаркий момент боя, когда на одном из наиболее слабых участков юнкера школы прапорщиков грозили прорвать наш фронт, мы заметили, что в лагере бандитов вдруг произошло замешательство и началась быстрая перегруппировка сил. Сначала ничего нельзя было понять, но через некоторое время стало видно, что там идет чуть ли не рукопашный бой. Как выяснилось, вооруженный отряд узбеков с тыла напал на будущих прапорщиков и с боем пробивался вперед, на соединение с нами. Мы бросились на помощь товарищам и через несколько минут, загнав белых в крепость, соединились с пролетариями старого города».

В ХИВУ Я ПРИЕХАЛ совсем по другому поводу. В древнем городе-музее рассчитывал провести два дня, но получилось иначе. Время пролетело незаметно. В горкоме комсомола при прощании неожиданно спросили:

— А у Юсупа-ака Ташпулатова были?

— Нет. А кто он? — смутился я.

— Как? Вы из Ташкента и не знаете ташкентского Гавроша? Ему тогда пятнадцать лет было. В Хиве его все знают — от первоклассника до древнего старика. Спросите, где живет Юсуп-ака, — любой покажет.

Бурные события двадцатых годов забросили Юсупа-ака в Хиву, с этим городом он и связал свою жизнь. А до этого служил в продовольственных отрядах, сражался в ЧОНе, был на советской работе. Но где бы ни был Юсуп-ака, каким бы делом ни занимался, всегда находил время для книг. Тщательно, с любовью собирал он свою библиотеку. А когда вышел на пенсию, двери своей библиотеки распахнул для всех, передав книги в дар городу. Тесно стало сотням томов в небольшом домике Ташпулатова. А рядом, за стеной, старое медресе — исторический памятник. Сюда-то и помогли горожане перебраться новой библиотеке, в которой насчитывается сейчас около 10 тысяч томов. И первым ее общественным директором, конечно же, стал Юсуп-ака Ташпулатов.

Александра ДУГАЕВА

ОТКРЫТОСТЬ

Пусть чистая и светлая душа
В тебе пребудет до скончанья века.
Неси, как знамя, сердце человека,
Бесстрастие не стоит и гроша.

●

А. М. Лариной

Душа в своей открытости права,
И тишина ее полна звучанья
В тот миг, когда прекрасные слова
Еще дрожат на острие молчанья.
В миг откровенья, и святой и тайный,
Душе не нужно ни щита, ни лат —
Живые чувства не боится взгляд
Другому взгляду высказать случайно.
Под этим взглядом радостно и больно,
Под этим взглядом подлость — слабым быть.
Отстукивает сердце властно: «Жить!»
И на земле опять светло и вольно.

ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ

На протяженье многих сотен лет
Алхимики пытались безуспешно

Селькор порецкой районной газеты «Заветы Ильича» Чувашской АССР комсомолка Саша Дугаева больше десяти лет прикована к постели, она побеждает недуг страстным словом стиха, газетной заметки, очерка, своей любовью к людям.

Создать чудесный философский камень,
Способный старцу юность возвратить
И пыль дорожную оборотить
В крупицы благородного металла.
Что двигало их мыслью?
Восхищенье
Могучею земной извечной силой.
Земля, она способна возрождать
Из праха жизнь прекраснее, чем прежде:
В ней хрупкость и изящество цветка,
В ней мощь и гордость патриарха-дуба.
Не потому ль волнуешься весной,
Держа в ладонях комья почвы влажной,
Что ощущаешь в них биенье жизни
И чувствуешь бессмертие земли!

ПАМЯТЬ

Смешала память явь и сны...
В который раз уходят ветераны
На фронт Великой Праведной Войны:
И четко, будто не во сне,
У горизонта рвутся мины,
И кажется, на этот раз
Не пролететь осколкам мимо.
...А ты седой. Тебе за пятьдесят.
В шинели образца сорок второго...
И воины недавнего набора
Давно тебе годятся в сыновья.
Но ты в строю, с уставами вразрез.
Ты знаешь: без тебя не обойдутся.
...У горизонта чаще мины рвутся,
А ты проститься с внуком не успел.

Думается, что предлагаемые читателям «Молодой гвардии» стихи Саши найдут добрый отклик в их сердцах.

А. НЕДВИГИНА,
заслуженная учительница,
член Союза журналистов СССР


ТРУД
ДЛЯ НАРОДА –
СЧАСТЬЕ!

Петр СИТАЙЛО,
бригадир станочников
ордена Ленина Гомельского завода
сельскохозяйственного машиностроения,
лауреат премии Ленинского комсомола

НАШЕ КРОВНОЕ ДЕЛО

ИЮЛЬСКИЙ ПЛЕНУМ ЦК КПСС наметил грандиозную программу дальнейшего подъема сельского хозяйства страны. В постановлении Пленума отмечается, что одна из первейших задач в области сельскохозяйственного производства — более быстрое развитие животноводства, перевод его на промышленную основу, превращение животноводства в современную высокоэффективную отрасль. «Достижение нового подъема животноводства, — говорил Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета СССР Леонид Ильич Брежнев, — требует крутого поворота внимания к нему всей партии, всех наших министерств и ведомств, руководителей колхозов и совхозов, всех тружеников села».

В решении этой первоочередной задачи значительная роль принадлежит и нам, создателям сельскохозяйственных машин. Ведь мы обязаны обеспечить животноводов высокопроизводительной техникой. Не берусь судить о других, но о своих коллегах и о себе могу сказать: постановление июльского Пленума выполняем и будем выполнять как свое кровное дело, с сознанием всей меры ответственности перед партией и народом.

На «Гомсельмаше» трудится огромный коллектив, преимущественно молодежь. Завод и построен руками молодых, комсомольцами, почти пятьдесят лет назад, как техническая база для развертывания коллективизации. В цехах завода, где делали косилки, сортировки, веялки для первых колхозов, кипел молодой задор, рождались смелые начинания. Комсомольцы «Гомсельмаша» были в числе застрельщиков встречного планирования в социалистическом соревновании, здесь родились первые в стране хозрасчетные бригады, возникла традиция перехода передовиков в отстающие коллективы. После освобождения города от гитлеровских захватчиков разрушенный фашистами завод был в кратчайшие сроки поднят из руин методом комсомольской стройки и уже в августе 1944 года дал машины, необходимые для восстановления сельского хозяйства Белоруссии, Украины, республик Советской Прибалтики. Словом, партийная и комсомольская организации завода накопили немалый опыт в организации труда и социалистического соревнования на самых трудных, ответственных этапах, и весь этот опыт полностью используется сегодня при выполнении задач, поставленных июльским Пленумом ЦК КПСС.

На «Гомсельмаше» полным ходом идет модернизация старых и сооружение новых, дополнительных мощностей. По существу, создается новое, куда более совершенное производство. Досрочно вступил в строй большой сборочный цех, оснащенный самым современным оборудованием. С опережением сроков сданы под монтаж станков и автоматических линий другие цехи площадью в 61 тысячу квадратных метров. Все здесь рассчитано на выпуск высокопроизводительной сельскохозяйственной техники.

Мы создаем самоходные кормоуборочные комбайны и емкости к ним. Труженики сел уже получили от завода свыше 300 тысяч кормоуборочных агрегатов, а ныне в цехах завода впервые в стране освоено производство самых совершенных и высокопроизводительных в мире самоходных кормоуборочных комбайнов КСК-100. Эта машина не имеет аналогов среди ранее выпускавшихся. Она универсальна, ее можно использовать на заготовке сенажа, на уборке кукурузы и других силосных культур. Новый комбайн сам косит, измельчает и грузит на автомашины зеленый корм. Как утверждают специалисты, он втрое сократит номенклатуру выпускаемых кормоуборочных агрегатов, высвободит по стране на период ответственных работ более 200 тысяч механизаторов, принесет народному хозяйству примерно миллиард рублей экономии. Летом нынешнего года на полях страны работало 500 новых комбайнов, сейчас изготовлено и передано хозяйствам еще 1100 таких агрегатов, а к концу пятилетки труженики села получат свыше 10 тысяч высокопроизводительных КСК-100.

Наша бригада участвует в изготовлении новых комбайнов. Мы этим гордимся, потому что производство КСК-100 доверено лучшим коллективам и специалистам.

Когда заводчане узнали, что на «Гомсельмаше» будут строить «машину 10-й пятилетки» — так у нас назвали комбайны-универсалы, — то за право участвовать в их выпуске развернулось социалистическое соревнование во всех подразделениях предприятия. Наша бригада первый год пятилетки закончила с опережением почти на три месяца, ребята завоевали право сдавать изготовленную продукцию без ОТК, с личным клеймом. Словом, бригада заслужила доверие и в дальнейшем стремилась его оправдать.

Осваивать новую технологию далеко не просто. Тем более на серийном производстве. Меняется привычный режим работы, появляется много еще не испытанного, более сложного. И сам человек, осваивая новое, как бы вступает на более высокую ступень знаний, мастерства.

Так и у нас было. На первых порах, конечно, все отдали изучению технологии, согласно с ней изменяли рабочие приемы, совершенствовали свои профессиональные навыки. А вот когда серийное производство, как говорится, «пошло», когда твердо закрепились на взятых рубежах, то приобретенный опыт стал подсказывать: в новое тоже можно внести новое, от себя. Ведь в выпуске КСК-100 мы, гомсельмашевцы, образно говоря, первопроходцы, осуществляем первыми мысль конструкторов и технологов в металле и, естественно, эту мысль можем дополнить и развить.

Вошло у нас в обычай собирать своеобразные «ученые советы», где мы сообща, всей бригадой обдумываем, как лучше работать,

обсуждаем рационализаторские предложения товарищей. Кроме того, все ребята у нас освоили по нескольку смежных профессий, при необходимости могут работать на различных станках, изготовить для себя и для коллектива нужные инструменты, приспособления. При совершенствовании технологии производства деталей к КСК-100 все это сыграло важную роль. Помогло также и то, что большинство наших станочников учится в техникуме и на заочном отделении — филиале политехнического института при заводе. Так что основа для научно-технических поисков и находок есть.

В результате коллективного творчества бригады были разработаны и внедрены новые фасонные резцы, различные приспособления, которые позволили почти вдвое ускорить особо трудоемкие и сложные процессы в изготовлении деталей для КСК-100. Ребята внесли более 20 рационализаторских предложений. Примененные у нас и в других родственных коллективах завода, они принесли экономический эффект свыше ста тысяч рублей.

С начала производства КСК-100 бригада трудится под девизом: «Комбайну 10-й пятилетки — детали только отличного качества». К 60-летию ВЛКСМ и первой годовщине новой Конституции СССР бригада выполнила задание четырех лет пятилетки. Радует и то, что за этот период у нас выросли новые средние командиры производства. Наши станочники Петр Серов и Юрий Николайченко назначены бригадирами комсомольско-молодежных бригад, вывели их в передовые. А Юрий Николайченко, кроме того, стал комсомольским вожаком цеха. Недавно по путевке комсомола он поступил в Высшую партийную школу.

Таких бригад, как наша, на «Гомсельмаше» много.

Постановление Пленума стало для нас, молодых рабочих, боевой программой труда. Полней забился пульс социалистического соревнования. 98 коллективов, более семи тысяч производственников — свыше половины всех работников завода — завоевали почетное звание коллективов и ударников коммунистического труда. Заслуженной славой пользуются на «Гомсельмаше» комсомольско-молодежные бригады Владимира Губанова, Сергея Суворова, Владимира Пузеева. Одним из победителей трудовых вахт в честь 60-летия Ленинского комсомола и первой годовщины новой Конституции СССР стал комсомольско-молодежный участок старшего мастера М. И. Масензова. Именно сюда, на передний край производства, перенесен сейчас центр партийной и комсомольской работы, именно здесь в конкретных делах воплощаются в жизнь указания июльского Пленума ЦК КПСС.

На Пленуме отмечалось, что далеко не во всех хозяйствах налажен надлежащий уход за машинами, что большое количество техники простаивает из-за недоброкачественного ремонта и обслуживания. А ведь техника эта создается нашими руками... Так достаточно ли хорошо работать самим, не следует ли вместе с сельскими механизаторами взять под контроль эффективное использование и сохранность техники?

И вот комсомольцы бригады Сергея Суворова заключили договор с сельскими механизаторами, которые работают на гомельских комбайнах. Рабочие гарантируют надежность агрегатов, а механизаторы — надежность эксплуатации — так возникла эста-

фета надежности. Теперь налажен взаимный контроль. Наши ребята часто бывают в селах, а механизаторы приезжают к нам. Они непосредственно на заводе знакомятся со сборкой машин, видят, какой труд вкладывается в их создание. Наши ребята во время поездок в села помогают сельским труженикам в ремонте техники, в строительстве, в организации комсомольской и культурно-массовой работы. В нескольких хозяйствах Гомельского района заводские комсомольцы построили навесы для хранения комбайнов, помещения с обогревом и электровентиляцией для искусственной сушки зеленых кормов. Благодаря такому сотрудничеству работа механизаторов как бы становится и нашей работой, мы лучше узнали запросы села. Стоит отметить, что в хозяйствах, с которыми мы дружим, машины работают с полной нагрузкой, находятся в отличном состоянии. В колхозе «Красногвардеец», например, успешное использование механизмов позволило в значительной мере повысить продуктивность животноводства, и коллектив хозяйства наградили переходящим Красным знаменем ЦК КП Белоруссии, Совета Министров БССР, Белсовпрофа и ЦК ЛКСМ республики. Это и для нас, поставщиков техники, большая радость, можно сказать — признание конечных результатов нашего труда. Такое же чувство гордости испытали и наши сельские друзья, приславшие своих делегатов на торжество вручения «Гомсельмашу» переходящего Красного знамени ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. Так что в осуществлении задач, поставленных июльским Пленумом, мы идем в одном ряду с нашими сельскими товарищами.

«Гомсельмаш» — одно из тринадцати специализированных промышленных предприятий республики, выпускающих различную продукцию. Для того чтобы комбайностроители лучше представляли себе значение их труда в дальнейшем развитии сельского хозяйства, партийная и комсомольская организации завода регулярно проводят семинары, на которых производственники знакомятся с основными задачами отрасли в масштабах республики, изучают опыт своих коллег. Проводилось несколько семинаров, посвященных решениям июльского Пленума, их содержание доведено до каждого рабочего. Теперь мы отчетливо представляем, какие большие качественные изменения произойдут в сельскохозяйственном производстве, в частности, в Белоруссии.

Главный курс — выпуск высокопроизводительных машин. Минские тракторостроители полностью переходят на изготовление нового семейства тракторов МТЗ-80/82 с двигателем мощностью 75—80 л. с. Они имеют больший моторесурс, обеспечивают работу более чем с 200 навесными и прицепными орудиями, их производительность увеличилась на 30 процентов.

Машиностроители Лиды скоро дадут стране универсальные картофелеуборочные элеваторные агрегаты. Они работают с тракторами «Беларусь» любых модификаций и вдвое производительней ныне выпускаемых агрегатов. Здесь же, в Лиде, начато производство машин для уборки капусты. В Могилеве начато строительство завода, который будет выпускать прицепы емкостью 40—50 кубометров для транспортировки зеленой массы.

Перспективы широкие и вдохновляющие. Гомсельмашевцы вместе со всеми машиностроителями и сельскими тружениками идут к новым высотам.

Павел БЕЙЛИНСОН

СКОЛЬКО НИТОК В КЛУБКЕ?

ВОТ УЖЕ ДВОЕ СУТОК капитан милиции Михкельсон носился по городу, безуспешно пытаясь разыскать владельца черной папахи из искусственного каракуля. Этого рослого блондина надо было найти во что бы то ни стало: вероятно, именно он был убийцей. *Вероятно* — потому что папаха, найденная на месте преступления, не принадлежала убитому. Что касается роста владельца папахи и цвета его волос, то тут сомнений было еще меньше: человек, видевший из автомашины начало инцидента, сказал без колебаний, что «мужчина был длинный». А на стеганой подкладке внутри папахи эксперты обнаружили два человеческих волоса цвета спелой соломы. Этим, собственно, и ограничивалась скудная информация о владельце папахи, которого искал в большом городе инспектор уголовного розыска Лембит Михкельсон.

МОЛОДОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК в щеголеватом форменном пальто понуро стоял в редкой толпе и все время вытягивал вперед окровавленные руки с растопыренными пальцами, словно боясь испачкать одежду. Он сбивчиво рассказывал оперативникам, что убитый — его двоюродный брат Аксель Корьюс, моряк рыболовного флота. Сам он — Якоб Корьюс — служит дежурным по железнодорожной станции за пределами Эстонии, приехал в Таллин на побывку к родителям. Сегодня у него день рождения, и по этому поводу в родительском доме, вот здесь, по соседству, собрались родственники и знакомые. Пришел и Аксель Корьюс. Часов около двенадцати ночи гости стали расходиться. Якоб остановил на улице такси и отвез домой, в Мустамяэ, племянницу. Обратно вернулся минут через сорок, на этой же машине. Хотел войти в парадное, но дверь оказалась запертой. Тогда он пошел к черному ходу и во дворе наткнулся на пьяного Акселя. Тот почему-то был зол, стал ругать Якоба бранными словами, а когда они, поблуждав по задворкам, вернулись к парадному входу, Аксель набросился на брата с кулаками. Улица была пустынной, только невдалеке ожидала кого-то машина такси, да от улицы Тээстусе приближался незнакомый человек — высокий, в темном пальто и папахе. Он

стал разнимать сцепившихся братьев, оттолкнул Акселя, но тот изловчился и повалил парня на землю. Якоб оттащил Акселя, а парень в темном пальто, вскочив на ноги, отбежал на середину улицы. Аксель — сильный мужик, он вырвался из рук Якоба и бросился к парню. Они сшиблись и сразу же разбежались в разные стороны: Аксель бросился к парадному дома, а парень в темном пальто — в сторону улицы Теэстусе. Якоб видел, как Аксель с размаху ударился грудью в запертую дверь парадного и, словно подкошенный, рухнул на тротуар. Якоб поднял было с асфальта папаху, видимо упавшую с головы убежавшего парня, но тут же бросил ее в растерянности, потому что заметил: Аксель лежал без движения. Якоб подбежал к брату, попытался поднять его и под расстегнувшимся пальто увидел кровь. Аксель был мертв.

— Вот и все, — закончил там, на улице, свой рассказ Якоб Корьюс. — Больше я ничего не знаю.

Собака не смогла взять след. Она не отыскала даже ножа, — вместо ножа нашла неподалеку от места убийства часы марки «Победа» со сломанным браслетом, и неизвестно было, чьи это часы...

ДЕСЯТКИ РАБОТНИКОВ милиции получили приказ начальника уголовного розыска обойти все жилые дома и учреждения Калининского района, прилегающие к месту происшествия, опросить дворников, жителей, рабочих и служащих и получить любую информацию о молодом мужчине высокого роста, утерявшем черную папаху из искусственного каракуля. И люди в милицейских шинелях и гражданской одежде, дружинники и активисты оперативных пунктов правопорядка начали делать свое трудное, кропотливое, нужное дело. Работники специальной пресс-группы, созданной при штабе операции, составили обращение к населению с просьбой помочь органам милиции в розыске молодого человека, обронившего на месте преступления черную папаху. Обращение было опубликовано в вечерних газетах, его передали по радио, а папаху показали крупным планом на телевизионных экранах. Уже через несколько часов пресс-группу буквально завалили информацией. Люди звонили по телефону, приходили сами, обращались к дежурным работникам со своими предложениями и подозрениями...

Инспектор уголовного розыска Николай Плеханов отрабатывал вроде бы второстепенную версию о возможной причастности к убийству знакомых Акселя Корьюса. Их было очень много, этих знакомых. Да и неудивительно: молодой общительный парень, моряк, да еще и холостой...

Плеханов почти сразу выяснил, что у Акселя была подруга — одинокая молодая женщина Хельга Моор, официантка из кафе. Корьюс был счастливым обладателем ключа от ее квартиры и обычно жил у нее во время коротких перерывов между выходами траулера в море.

За несколько дней до трагедии подвыпивший Аксель ночью пришел к Хельге и постучал в дверь. Та долго не открывала. Аксель стал стучать так громко, что поднял на ноги соседей, а потом открыл дверь своим ключом. Соседи в один голос утверждали, что в квартире Хельги Моор началась драка — слышалась брань, звенела посуда, падала мебель, и все это сопровождалось визгом хозяйки, которая то и дело выкрикивала имена Акселя и Герберта. Акселя соседи знали, а вот имя Герберта они слышали впервые...

Кончился скандал тем, что Хельга выставила за дверь и Акселя, и Герберта — парня с усиками, в расстегнутой кожаной куртке на «молнии», который на ходу надевал на голову и никак не мог надеть морскую фуражку — блин с лакированным козырьком.

Дом, в котором живет Хельга Моор, отметил про себя Плеханов, находится не далее пятисот метров от места убийства. Случайное совпадение? А если нет?.. Когда слухи об убийстве дошли до жителей дома, там стали поговаривать о том, что это дело рук того самого Герберта, не иначе...

Итак, кто же этот Герберт? Проще всего было спросить о нем у самой Хельги Моор, но за день до убийства она уехала в Ленинград с экскурсией и до сих пор не вернулась.

По-видимому, он был моряком, если только морская фуражка не являлась для него случайным головным убором. Плеханов решил отыскивать таинственного Герберта через отделы кадров морского пароходства и республиканского объединения Эстрыбпром.

А в это время Лембит Михкельсон занимался часами «Победа», найденными на месте убийства: о них, конечно, не забыли. Но что можно узнать по часам об их владельце? Так, самую малость. Например, был ли он опрятен. Да и то весьма условно. Ни на стекле, ни на корпусе не осталось никаких следов...

...В одном из кабинетов УВД вокруг обычного письменного стола с настольной лампой посередине сидели пятеро пожилых мужчин. Поочередно каждый из них подносил к глазу часовую лупу и придвигался ближе к лампе... Что могли пятеро лучших часовщиков города сказать Михкельсону и его коллегам об этих часах?

— Мы полагаем, — начал наконец один из мастеров, — что часы с номером механизма 735257, изготовленные на Чистопольском часовом заводе в 1953 году, были в ремонте. Видите, тут маленький заусенец на корпусе и на крышке тоже. Это след ножа, которым открывали механизм...

Оперативники насели на часовщиков: когда ремонтировались часы, в какой мастерской? Но часовщики развели руками:

— Когда? Кто его знает... Но не более года, от силы — года полтора назад. Масло, которое им дали во время ремонта, хорошо держится только год-полтора, а оно почти высохло.

— А где, — с надеждой в голосе спросил Михкельсон, — где их ремонтировали? Может быть, можно установить?

Часовщики отрицательно покачали головой:

— К сожалению, мастер своего автографа не оставил. Вы уж извините.

Да, не слишком-то обильной была информация о владельце часов...

МЕЖДУ ТЕМ ТЕЛЕТАЙП из Пярну отстучал депешу: «На пярнуской базе Рыбфлота установлен тралмастер Герберт Вельман, двадцати восьми лет, родом из Таллина, холостой, характеризуется отрицательно. Других лиц с таким именем не обнаружено. Жду указаний». Далее следовала фамилия начальника Пярнуского уголовного розыска.

Окончание на стр. 186



ПЕРВЫЙ КРАСНЫЙ АДМИРАЛ

В КОНЦЕ 1938 ГОДА семь советских моряков во главе с капитаном дальнего плавания Модестом Васильевичем Ивановым выехали в Англию на приемку парохода «Анатолий Серов». Почему только семь? Ведь чтобы обеспечить нормальное плавание такого судна, нужна команда минимум из 25—30 человек. Но об этом надо было спрашивать правительство Великобритании, которое отказалось выдать визы всему экипажу. Нет, правительство не помешало фирме продать судно, но помогать советским людям доста-

вить его домой оно не собиралось. Каждый день возникали новые трудности. То нельзя было получить уголь, то адмиралтейство тянуло с выдачей пропуска на выход в море. Потом все же выдали, но обусловили такой маршрут, что ясно было — пароход попадет в чужие руки.

Вот почему, выйдя в море, капитан приказал погасить ходовые огни, запретил радисту выходить в эфир и повернул в океан Он знал, что делал. Обогнув Великобританию с запада, он пошел прямо на норвежские шхеры и ночью без лоцмана прошел по ним 160 миль. Только на подходе к Лодингену капитан вызвал лоцмана. Прибыл старый норвежец и, не выпуская из зубов трубки, процедил, что не поведет судно, так как в Норвежском банке якобы кончились советские деньги на лоцманское обслуживание. Модест Васильевич молча вынул из бумажника 30 английских фунтов — собственную валюту, так и не потраченную в хлопотах на берегу. Проворчав нечто невразумительное, лоцман поднялся в рубку.

Но в Баренцево море пароход снова пришлось вести одному капитану... 31 сентября «Анатолий Серов» вошел в Кольский залив и вскоре ошвартовался в Мурманске. Это было последнее плавание капитана Модеста Иванова, человека, которому первому в советской истории было присвоено звание красного адмирала. И как присвоено!..

В Центральном архиве Октябрьской революции хранится необычный документ. Это «Приказ по флоту и морскому ведомству» от 21 ноября 1917 года, подписанный П. Е. Дыбенко. Согласно этому приказу, на основании постановления I Всероссийского съезда военного флота, капитану I ранга Модесту Васильевичу Иванову присваивалось звание контр-адмирала «как истинному борцу и защитнику прав угнетенного класса».

Кто ж был этот удивительный человек?

Недавно выяснилось, что Модест Иванов был внуком Павла Ивановича Пестеля. Его отец был незаконнорожденным ребенком декабриста. Поэтому после казни Пестеля мальчика отняли у матери, поместили в Гатчинский воспитательный дом и присвоили фамилию Иванов. В 1834 году Василий Иванов окончил училище и поступил в Дерптский университет. Но, видимо, сильны были свободолюбивые гены в его крови, и никакое сиротское воспитание не смогло их вытравить. В 1839 году он написал выпускную работу о Пушкине, несмотря на указание министра просвещения Уварова «не упоминать Пушкина в курсах университетов, как человека нечиновного и в государственной деятельности себя не проявившего». А студент Василий Иванов в это время писал, что «имя создателя Полтавы» будет равно сиять с именем Великого при оной Победителя».

11 апреля 1875 года у скромного петербургского учителя родился сын, названный Модестом. В те годы дети разночинцев не могли мечтать о морской карьере. Но нашелся у Модеста дядя — двоюродный брат матери. Он был морским офицером и сумел устроить мальчика в Морской корпус. После выпуска в 1894 году Модест совершил кругосветное путешествие на фрегате «Генерал-адмирал», затем окончил гидрографический факультет Морской академии. Здесь он жадно слушал лекции С. О. Макарова, познакомился с преподавателем минных классов А. С. Поповым. В начале русско-японской войны он находился в Порт-Артуре. С приездом Макарова лейтенант Иванов возглавил отряд траления. Че-

рез год в Петербурге вышла его книжка «Траление в Порт-Артуре», с большим интересом принятая в морских кругах. При обороне Порт-Артура Модест Иванов был трижды ранен и награжден золотым оружием. Но затронуто было не только его тело — ранена была душа молодого офицера. В то время он, очевидно, впервые задумался над тем, за что воевал, какому делу служил. Модест и раньше-то не одобрял поведения офицеров, которые насаждали дисциплину на флоте мордобоем и карцером, теперь же он преисполнился глубоким уважением к русскому матросу.

В 1915 году Иванова назначили командиром крейсера «Диана». На этом корабле существовала большевистская ячейка во главе с П. Д. Мальковым, будущим комендантом Смольного, а затем Московского Кремля. Большевики присматривались к офицеру, который сильно отличался от своих коллег; Иванов присматривался к матросам. И было так, что Иванов отказался вести свой корабль на подавление восстания матросов с линкора «Гангут», отговорившись тем, что «не ручается за собственную команду». В феврале 1917 года Иванов по рекомендации большевиков был единогласно избран командиром «Дианы». А Мальков стал председателем судового комитета. Вот так и вышло, что двум таким разным людям пришлось ежедневно встречаться, чтобы решать все вопросы жизни корабля. И они учились друг у друга. Месяцы, проведенные рядом с Мальковым, не прошли даром: Модест Иванов многое понял в политической обстановке, сложившейся после Февральской революции в России. В июне матросы избрали любимого командира начальником 2-й бригады крейсеров Балтийского флота. А когда в августе Керенский пытался уволить его в отставку, на многотысячном митинге в Гельсингфорсе была принята матросская резолюция: «Капитану I ранга Модесту Иванову предложить остаться начальником бригады, а всякого, вместо него назначенного другого — выбросить за борт».

...29 октября 1917 года в салон командира бригады постучался рассыльный. Он держал в руках бланк радиограммы: «Модесту Иванову. Капитану I ранга. Гельсингфорс. Просим немедленно приехать Петроград, Смольный. Председатель Совета Народных Комиссаров Ульянов (Ленин)».

Модест Иванов явился в штаб революции в парадном мундире, при всех орденах. «Я ведь отправляюсь представляться главе правительства России», — отвечал он на недоуменные вопросы. Два часа беседовали Ленин и Иванов. Вождь революции подробно расспросил моряка о его отношении к политическим событиям, предложил ему принять командование военно-морскими силами Петроградского военного округа... Ленин знал, что 2-я бригада крейсеров Балтфлота подчиняется только приказам ЦК большевиков. Знал о заявлении Иванова о том, что тот отдает себя в распоряжение народа и никогда не пойдет против народа. Вот почему Ленин счел возможным предложить этому человеку высокий пост.

Сам Модест Иванов так рассказывал об этой памятной встрече:

«Теперь я попробую передать дословно наш разговор.

ЛЕНИН. Вас прислал флот?

Я. Да.

ЛЕНИН. Вы социалист?

Я. Думаю, что да, только, конечно, неважный, «майский», во всяком случае, смотрите на меня как на социалиста елового.

ЛЕНИН. Но во всяком случае вы же читаете газеты? Интересуетесь развертывающимися событиями?

Я. Не только читаю и интересуюсь, но волею судьбы неожиданно для самого себя принимаю участие в самих событиях.

Ленин улыбнулся... Улыбка удивительно скрашивала лицо Ленина.

ЛЕНИН. Но вы, надеюсь, против правительства Родзянко, Керенского и т. д.?

Я. Вообще я против всякого правительства, опирающегося на штыки!

Тут произошло некоторое молчание. И мне почему-то показалось, что Ленин просто-напросто читает мои мысли.

Я должен сделать маленькое отступление, чтобы дальнейшее было более понятно.

Я морской боевой офицер. Политикой никогда не занимался. В силу моего военного воспитания и сравнительно долгой боевой жизни я как-то на все чуждое военно-морскому делу привык смотреть свысока.

И, сидя тогда перед Лениным, я невольно думал: «Вот я, старый моряк, и почему-то мы сидим вместе и собираемся обсуждать какой-то вопрос?» И мне почему-то показалось, что Ленин догадался, что у меня происходит в мозгу. Он мне сказал:

— Не правительство, а народ будет штыками защищать завоевания революции!

Тогда я невольно пристально посмотрел на этого человека, сыгравшего такую грандиозную роль не только в России, но и во всем человечестве.

Некоторое время мы смотрели друг на друга, после чего Ленин сказал мне:

— Примите командование всеми морскими силами Петроградского округа!

...Мы простились, и я ушел из Смольного. 4 ноября И. И. Вахрамеев, член Революционного комитета, сообщил мне, что тов. Ленин подписал приказ о назначении меня товарищем морского министра с исполнением обязанностей председателя Верховной коллегии Морского министерства».

В 1921 году Модест Иванов был назначен начальником морских сил ВЧК. Их тогда еще не существовало в природе. Но он создал эти силы — те самые, что и нынче бдительно стерегут морские границы нашей Родины.

Потом много лет Модест Иванов плавал капитаном Совторгфлота. «Красногвардеец», «Комилес», «Харьков», «Ворошилов»... Рейсы в горящую республиканскую Испанию на «Каменец-Подольске». 7 мая 1936 года ЦИК Украины по представлению Черноморского государственного пароходства присвоил Модесту Васильевичу Иванову звание Героя Труда.

Умер моряк в феврале 1942 года в блокадном Ленинграде. По его просьбе Иванова похоронили в том самом старом морском парадном мундире, в котором он был когда-то на приеме у Ленина.

А в феврале 1972 года, через тридцать лет после смерти славного моряка, спустили на воду новый океанский сухогруз, названный «Капитан Модест Иванов»...

Феликс ЗИНЬКО

СКОЛЬКО НИТОК В КЛУБКЕ?

Окончание. Начало на стр. 179

Плеханов затребовал фотобильд, и через полчаса валик фототелеграфного аппарата раскручивал снимок симпатичного парня с усами под крупным орлиным носом и с ухарским чубом, смешно расчесанным на пробор. На минуту заскочив в кабинет и прихватив фотоснимки нескольких парней с усиками, он помчался в дом, где жила Хельга Моор. Единственная оказавшаяся дома соседка долго поочередно вглядывалась в разложенные на столе фотоснимки и наконец схватила один — именно тот, на котором был изображен Герберт Вельман.

— Вот он, негодяй! — решительно заявила она.

Плеханов не бежал — летел в управление. Он ворвался в кабинет начальника и выпалил:

— Это он... В доме, где бывал Аксель, опознали его!

— Кого его? — слишком ровным голосом, не предвещавшим ничего хорошего, спросил подполковник.

— Пярнуского Герберта Вельмана опознали в доме, где живет Хельга Моор! Из ревности он... Акселя...

Подполковник протянул Плеханову листок бумаги.

— Почитай.

В документе значилось: «В дополнение к нашей информации... установлено, что Герберт Вельман в составе команды МРТ-26 «Сигма» вышел в море в качестве тралмастера восемь дней назад. Судно ведет промысел без захода в порты. Удостоверено судовой ролью, состав команды проконтролирован пограничным постом».

Что ж, в розыскной работе такое случается не так уж редко: тянешь, тянешь нитку, и кончик ее вроде бы верный, а она так легко вытягивается из клубка вся без остатка. И клубок по-прежнему остается запутанным...

ЗАКАНЧИВАЛИСЬ ТРЕТЬИ СУТКИ безуспешного поиска, убийство оставалось нераскрытым.

Утром следующего дня Плеханов объехал все часовые мастерские города и изъял все до единого корешки квитанций на часы, находившиеся в ремонте за последние три года. Группе сотрудников милиции предстояло переворошить многие тысячи корешков, чтобы найти среди них один — на часы «Победа» с номером механизма 735257. Только величайшее внимание и добросовестность позволяли надеяться на успех: предстояло найти иголку в стоге сена...

Листок к листку, еще листок к листку, еще и еще. Пачки за пачками откладывались в сторону — все безрезультатно: корешок с нужным номером не попадался. Люди спали по два-три часа сидя тут же, в кабинетах, а потом снова усаживались за столы.

В воскресенье, под вечер, младший инспектор уголовного розыска Вайке Саар, щуря красные от бессонницы глаза, вдруг громко пробормотала:

— Пропустила, честное слово, пропустила... Или приснилась мне эта проклятая квитанция? — И лихорадочно листала недавно просмотренную пачку: — Есть! Вот он, корешок!

Плеханов растроганно чмокнул Вайке Саар в щеку и уставился на корешок. Его интересовало одно: фамилия владельца, сдавшего в ремонт свои часы.

— Тооде А., — прочел он вслух и задумчиво добавил: — Вместо имени только буква А. Ну, ничего, теперь-то найдем.

На короткой оперативке решено было начать проверку с тех Тооде А., которые прописаны в Таллине.

НА ЗАВОДЕ «ИЛЬМАРИНЕ» Лембит Михкельсон встретился с молодым ремонтником по имени Арви Тооде. Долгий разговор с ним ничего не дал: Арви оказался непричастным к убийству. Его алиби было бесспорным, он не мог быть на месте преступления.

У Арви Тооде был брат — Антс, работавший фрезеровщиком на судоремонтном заводе.

...Антс был высоким, статным юношей, с длинной светлой гривой и голубыми смеющимися глазами. Его ничуть не смутил визит Михкельсона. Он даже не поинтересовался, зачем нужен милиции. По дороге в управление он норовил поддать ногой то скомканную пачку от сигарет, то окурок, то валявшуюся бумажку...

Усадив Антса возле стола, Михкельсон придвинул к себе чистый бланк допроса и как бы невзначай спросил: который час?

Антс взглянул на часы и ответил:

— Шестнадцать часов десять минут.

— Что это — «Слава»? Новенькая... Давно купил?

— С полгода назад расщедрился.

— А где же твоя старая «Победа» с металлическим браслетом?

У Тооде округлились глаза:

— Откуда вы узнали?

Михкельсон молчал, испытующе глядя на Тооде. Что это — позерство прижатого к стене мальчишки? Или отчаяние отпетого негодяя? Он достал из ящика стола часы с переломленным браслетом и положил их на стол. Антс в растерянности поглядывал то на часы, то на Михкельсона. И вдруг затараторил:

— А я-то думал, зачем меня в милицию вызвали... Значит, нашли мои часы. Еще отцовские. Их у меня полгода назад увели, прямо из рабочего шкафчика... — Он на минуту умолк, потом спросил: — А кто же... украл? Нашли его? Ведь наверняка из своих кто-то. Морду бы ему набить!

И опять надо было начинать все сначала.

В ГРУППЕ ПРЕСС-ЦЕНТРА сотрудники едва успевали обрабатывать поток информации о людях, утерявших или сменивших в последние дни головные уборы.

Виктор Якобсон крутил в руках клочок бумаги с записью сообщения, которое он только что принял по телефону от домохозяйки с улицы Нийне. Она рассказала, что в их доме живет некий Альфред Силласте, «хулиган из хулиганов, который вечно ходит пьяным, да еще и оскорбляет жителей дома и лезет в драку». Женщина смотрела телевизионную передачу с обращением милиции к населению и решила позвонить, потому что раньше видела на Силласте папаху, как раз такую, как показывали на экране, а вот уж несколько дней он ходит в каком-то берете...

Подобных сигналов было много, но Якобсон почему-то медлил отдавать полученные сведения в проверку, хотя время поджимало,

ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ москвичей и гостей столицы побывали на выставке «Природа и фантазия», организованной Всероссийским обществом охраны природы. Успех ее был велик, как, впрочем, велик был успех и многих других подобных выставок. Книга отзывов полна благодарных слов авторам многочисленных работ, отличавшихся изяществом, выдумкой, фантазией.

Все, что экспонировалось в выставочном зале, — композиции, фигуры, картины, портреты, панно — было выполнено из материалов, любезно предоставленных природой. Авторы использовали дерево, корни, сучья, листья, траву, цветы, соломку, тополиный пух... В их умелых руках все это стало великолепным изобразительным материалом, и можно только поражаться, какое таит он в себе богатство красок!

ПРИРОДА И ФАНТАЗИЯ

Композиция с цветами и ветками, которую вы видите на этом снимке, выполнена Валентиной Павловной Исаевой из города Фрязево Московской области. Три ее работы публикуются на третьей странице обложки журнала.

а работы было невпроворот. Он никак не мог вспомнить, где слышал эту фамилию — Силласте...

Так и не припомнив ничего, он передал сообщение девушкам, обслуживающим информационно-поисковую систему, и снова окунулся в бумаги. А минут через десять оператор принес ему перфокарту. В ней значилось, что Силласте Альфред Карлович, тридцати одного года, трижды привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство, в том числе за ношение холодного оружия, и дважды доставлялся в медвытрезвитель. «Самодельный нож типа финского с наборной рукояткой, — всплыло наконец-то в памяти. — В прошлом году летом его задержали в Коплиском парке — приставал к прохожим, размахивал ножом...» И Якобсон помчался с перфокартой к Михкельсону. Они решили навести все справки по дому, а затем докладывать руководству.

Якобсон отправился в дом на улице Нийне, а Михкельсон поехал на завод, где работал Антс Тооде.

Михкельсон смутно представлял, как он может найти похитителя часов среди многих сотен работающих в механическом цехе. Для начала он решил просмотреть картотеку цеха и попросил сотрудника отдела кадров дать краткую характеристику некоторых молодых рабочих.

Перебирая карточки, Михкельсон не обращал внимание на старых, кадровых рабочих. Но и карточек на молодежь было мно-



го. «Бломберг... Мельцер... Петерсон... — читал он, — Корба... Корпманн...»

— Как можно охарактеризовать Корпманна? — спросил он у сотрудника отдела кадров скорее для того, чтобы убедиться в его познаниях, нежели по делу.

— Как вам сказать... Спортсмен, в баскетбол играет, рост под два метра.

— А Борис Меркулов?

— Золотые руки. Слесарь-лекальщик. Ему поручают самые сложные работы.

«...Мельдер... Орав... Силласте... Петрикеев... Саарметс... Нет, так ничего не выйдет, надо идти в цехком, в бюро комсомола, к мастерам...»

Внезапно он замер с карточкой в руке. Что-то беспокоящее шевельнулось в мозгу. Он взял со стола стопку только что просмотренных карточек. «Мельдер, Орав, Силласте... Вот!»

Михкельсон облегченно вздохнул. Потом прочел: «Силласте Альфред Карлович, сорок седьмого года рождения, беспартийный, слесарь третьего разряда... Адрес: улица Нийне, 68, квартира 5...»

СИЛЛАСТЕ ВЗЯЛИ при выходе с завода. Он сразу все понял, рванулся было, но, схваченный как клещами за руки, перестал сопротивляться.

УДИВИТЕЛЬНЫЙ ГРЫЗУН

НЕМНОГИМ животным обширного отряда грызунов так досталось от людей, как шиншиллам. Маленькие серые зверьки, никому никогда не мешавшие, не наносившие ни малейшего вреда, были истреблены практически по всему ареалу их обитания.

Раньше высокогорные районы Перу и Боливии буквально кишели шиншиллами. Во времена завоевания Америки испанцами на склонах Анд мирно жили семейства по сто и более особей. Хронисты отмечали, что «эти животные далеко не робкого десятка и смело бегают под ногами лошадей, не обращая внимания на всадников». Тогда эти животные смело выбирались из своих норок и грелись на солнце.

Нежная, мягкая и толстая шубка шиншилл сыграла роковую роль в их судьбе. Индейцы издревле охотились на них, но добывали шкурок ровно столько, сколько нужно было для племени, и охота практически не сказывалась на численности животных. Но вот в XVIII веке в Европе появились первые шкурки шиншилл. Их показывали как исключительную редкость. Начался «шиншилловый бум». Он продолжался и весь XIX век... Вывоз шкурок из Южной Америки приобрел такие масштабы, что целые индейские племена жили за счет охоты на зверьков и сдачи их европейским скупщикам. В 1890 году шкурка животного стоила 13 долларов. За один лишь 1905 год только из порта Чимбото на Тихоокеанском побережье вывезли 216 тысяч шкурок. Через четыре года вывоз сократился в 10 раз — число шиншилл резко уменьшилось. Цена на шкурку подскочила до 40 долларов. Все выше в горы уходили опытные охотники за зверьком, все глубже в скалы зарывались немногие уцелев-

ОЛИМПИЙСКИЕ ЭТАЖИ

ПОДГОТОВКА к Олимпийским играм стала у нас всенародным делом, в ней участвуют все союзные республики, коллективы сотен предприятий и организаций. Комсомол взял шефство над объектами Олимпиады-80 — олимпийские сооружения объявлены Всесоюзной ударной комсомольской стройкой. Это крупные спортивные, гостиничные, туристские и технические комплексы, культурные центры. Многие из них уникальны, отмечены интересными инженерными решениями, своеобразием архитектурного облика. В Москве рекон-

шие из семейства шиншилл... Не помогали никакие законы, которые срочно принимали заинтересованные страны. В 1930 году за шкурку давали 200 долларов, но практически шиншилл уже не было.

Почти двести лет назад известный испанский хронист Хуан Игнацио Молина (именно он в 1782 году предложил дать одному из видов шиншилл научное название «длиннохвостая») призвал разводить грызунов в домах — это не требовало больших расходов и не вызывало особых затруднений. Но должно было пройти 150 лет, чтобы мысль его поняли и развили. 20 индейцев-поставщиков сбились с ног, чтобы доставить горному инженеру Чайману зверьков для первой фермы... За три года они поймали всего 17 особей. В 1923 году одиннадцать из них Чайману удалось довезти до США. От них пошли те самые шиншиллы, которые растут сейчас там на фермах. В 1934 году 16 шиншилл привез на родину норвежец Хольст. Сейчас их сотни тысяч на фермах, но ни одного в природе...

Недавно было принято решение выпустить шиншилл в горы. Удастся ли эта затея? Неизвестно. Во-первых, у зверьков, несколько поколений которых выросло в неволе, могли исчезнуть многие инстинкты диких животных, без которых жить на воле невозможно. А во-вторых, — и это основное препятствие — их снова могут истребить: охранные законы, принятые еще в начале века, практически не соблюдаются.

Удивительна, печальна и поучительна история маленького пушистого грызуна, ставшего жертвой европейской моды. Его нужно было систематически истреблять, довести до полного исчезновения, чтобы потом, через двести лет, разводить на фермах и прилагать титанические усилия для разведения в природе... Как непоследовательны и жестоки бывают порой люди в своих действиях по отношению к диким животным, к братьям своим меньшим!..

струируется и строится 76 объектов. Значительная часть из них будет готова летом 1979 года, чтобы провести финальные соревнования VII Спартакиады народов СССР, которая явится своеобразной репетицией Олимпиады-80.

Успешно трудятся строители гостиничного комплекса в Измайлове. По итогам социалистического соревнования за первую половину нынешнего года коллективу строителей вручено переходящее Красное знамя МГК КПСС, исполкома Моссовета, горкома профсоюза и МГК ВЛКСМ.

На первой странице обложки «Товарища» — комсомолки Галина Царик и Татьяна Савко. На строительство олимпийского объекта — гостиничного комплекса в Измайлове они прибыли по комсомольской путевке из Брестской области. Фото В. ЧУДАКОВА.


БАМ-СТРОЙКА ВЕКА!

Андрей БЛИНОВ

УДАР МОЛНИИ

Роман

Продолжение. Начало на стр. 7

— Много кое-чего я там поделал, но с главной, договорной работой застрял, — признался Савел. — Театральный задник в эскизе. Материал подготовлен, загрунтован. А вот Ленина я не смогу написать. В центре должен быть Ленин. Три метра. Идет по березовой аллее в зал, на зрителя.

Лобанов, прищурившись, смотрел, как Савел в смущении валял кулаком свой маленький нос.

— Ясно, начинал бы с этого. Значит, я должен за тебя Ленина написать? Правильно тебя понял?

— Правильно! — воскликнул Савел. — А работы еще много. Колхозный музей у них. Работы в нем — года не хватит. По рукам, что ли?

— Не нажимай! Как там живут?

— Знаешь, колхоз работящий, по тем местам богатый. Вот насчет культуры... Но люди тянутся... Такие я дискуссии развернул об искусстве. Поедешь, а?

Сергей не ответил, спросил:

— Ты поживешь здесь?

— Поживу с недельку.

— Увидимся. К Ивану заедем. С Украины вернулся. Что-то молчит.

Ночью, около двенадцати, в мастерскую Лобанову позвонил Савел.

— Ты можешь приехать на Большую Гору?

— Что стряслось?

— Кипяток, понимаешь. В мастерской по колено. А у него вся жизнь тут...

— Говори толком, в чем дело?

— Залило мастерскую Гривцова. Открываю дверь будто в парную баню. Он на стуле и не двинется с места. Ты понимаешь, картины плавают в кипятке. А в доме — ни души.

«Что за ерунда? — думал Сергей, выбегая из мастерской. — Откуда вода?»

Увидел такси, побежал, махая рукой.

...Из открытых дверей валил пар, качался под потолком бело-туманным облаком. Векшин уже перекрыл воду, через порог черпал ведром и куда-то по коридору бегал выливать. «Нет, так не годится, так погибнет все», — подумал Лобанов. Среди пожарного инструмента на стене он увидел острый багор. Кирпичный порог поддавался трудно, но вот образовалась щель, полилась тонкая черная струйка. Наконец выпал расшатанный кирпич, и в коридор хлынул настоящий поток.

Шлепая по мокрому полу, Лобанов и Векшин вбежали в мастерскую. Старик стоял на коленях на стуле.

— Алексей Ипполитыч! — Лобанов схватил старика, усадил в низкое кресло у окна, расстегнул ворот белой мятой рубашки.

— Открой форточку! — попросил он Савела.

Ипполитыч глубоко вздохнул, веки его дрогнули, ничего не понимающими глазами оглядел мастерскую и, как бы не желая видеть того, что было вокруг, или не веря в то, что случилось, вновь устало закрыл их. Лобанов стал легонько трясти его за плечо. Савел бережно держал голову старика.

— Да, да, — услышали они слабый голос. — Это должно было случиться. Всю жизнь боялся... Лобанов, поднимите меня, дайте взгляну... Савел, погляди, что там, в углу. Самые первые мои, самые сокровенные...

В мастерской тесно, все забито: картины в рамах, на подрамниках, просто свернутые в трубочку. Этюды, как блины, сложены стопками. Картонки, перевязанные шпагатом крест-накрест, заброшены на антресоли. Акварельные миниатюры составлены в ящиках наподобие картотеки. Лобанов никогда еще не видел ничего подобного. Свободное место было лишь посредине — от двери до окна, где стояли дубовый стол и старое кресло. Сергей со стра-

хом оглядывал монбланы овеществленного труда и таланта художника, с тоской думая о том, сколько всего безвозвратно погибло.

— А где вода? — вдруг спросил старик.

— Стекла в коридор, — ответил Сергей.

Алексей Ипполитыч ожил, дошел до стены, дрожащими руками схватился за мокрую раму. Он что-то искал, может быть, самую дорогую свою работу. Лобанов попытался помочь ему, но старик оттолкнул его: «Я сам!» Превозмогая одышку, он все же нашел и вытащил из самой середины небольшую картину. Подрамник потемнел от воды, но полотно было сухо — старик погладил его и, успокоившись, поставил на стул.

Деревня, написанная как бы издали. На переднем плане — старая баня. Крыша с изумрудно-зелеными оползнями мха. Пролысины на жухлой соломе. Дома по косогору. Справа — туманный луг и красный ольшаник. Кисть художника легко, без принуждения, решает формы почти слитным мазком-пятном, законченно вылепливает образы. А какая фактурность! У дверей, связанных из прутьев ивы, деревянное ведро. Клепка кленовая, по ней обручи старой меди. Перевеслышко поистерто ладонями. Чувствуется тонина и гладкость. И все вокруг какое-то такое вечное, как в сказке. Вот отшатнется, скрипнет прутьями ивовая дверь, и откроется какая-то тайна, такая же, как окружающий мир глубокой и грустной задумчивости. Но это очарование длилось недолго — Савел разрушил его.

— Ипполитыч, надо срочно поднимать картины. Холсты отсырели.

Старый художник развел руками и устало сел в кресло.

— Мы попробуем, — предложил Лобанов, оглядывая мастерскую. — Вон там, на атресолях, что?

— Стеллаж намеревался, да, видно, петух опел...

Сергей со стула достал бруски. Савел пролез через узкий проход между рядами картин в дальний угол. Поднимая раму за рамой, они стали подсовывать под них лаги. Тут было темно, душно, жарко, пахло олифой, краской, мокрым паркетом.

Усталые и мокрые, вылезли они из угла. Пока работали, старик расставил по свободной стене мокрые картины. Лобанов и Векшин остолбенели: перед ними была целая галерея пейзажной живописи.

— Алексей Ипполитыч, — спросил Векшин, — почему

это все под спудом? В конце концов, не для себя пишем. Такое скопидомство, извините меня!

— Да, да, — покачал головой старый художник, — есть у меня такая слабость... Боюсь расстаться. — Он помолчал, скрестив на впалой груди руки с бахромой белых манжет. — Ну вот как я расстанусь со своими баньками? Они до смерти со мной.

— Это изначальное? — спросил Лобанов.

— Нет, Сергей, нет. Это мое озарение. Искал долго и нашел свою песню. Негромкая она, знаю, но иной не выучился. Она для меня честь и совесть. Моя правда, моя истина. Не из пальца — натура! Не для баталий приноровлен мой глаз. Не для жанровых хитростей, нет. И портрет — боже упаси. Не мое дело. Не мое! Набрел на единственное, что само из души льется, природа, мать наша, врачующая и беспредельная. Вот! Поглядите на все, поглядите, дорогие мои! — Он широко повел дрожащей рукой. — Никого так не звал, не было ни жены, ни сыновей. Друзей мало. Один с природой... Дней осталось — малая крошка. А душа ненасытна...

Старик устало откинулся на спинку кресла. Лобанов снова взял его руку. Пульс выровнялся. «Крепкое сердце», — подумал Сергей.

Всю ночь не выходили Лобанов и Векшин из мастерской, смотрели одну работу за другой. Восторг и ужас охватывали их, когда они воображали, как писал это художник, ползая на коленях по земле или по полу мастерской — такая у него привычка. Тысячи и тысячи часов на коленях! Это была работа каторжная и вдохновенная, работа до изнеможения и тихой усталой радости, когда уже нет сил хотя бы улыбнуться. И все это лежало, скрытое от людского глаза.

— Как же мы богаты, если такие сокровища держим втуне, и как же ленивы, если даже не знаем, что такое есть с нами рядом! — говорил Лобанов, вытаскивая новую картину к свету. — Как он может жить, похоронив свой труд? Что движет им, какая сила?

— Чудак какой-то, — отвечал Савел. — Все могло погибнуть, если бы не ты. Смотри, еще сколько подмоченных. А ему хоть бы что...

— Это шок. Просто он еще не понимает.

В углу Лобанов нашел полотнышко — полметра на сорок. Вынес к свету. Натюрморт. Васильки. Три краски — золотистая, голубая и белая. А как богат в цвете рисунок,

как жестковаты и стебли и лепестки самого дорогого в деревенском детстве цветка! Какая редкая, непривычная для него манера письма!

Дремавший в кресле старик встрепенулся.

— Сохранились! — Лицо его просветлело. — В деревне Волнухе писал. Без кисти писал. Приехал из города поздно, багаж не разобрал. Утром рано гляжу: золотой подоконник! Как сумасшедший, хватаюсь за краски, бросаю на стол холст. «Боже мой, боже, дай полчасика солнца». Солнышко постояло в окошке минут десять. Но я успел: залил низ холста жженой охрой. Поднял глаза: стекла синие. Такая синева — чистая, лазурная... И вдруг глаза вроде открылись: на лавке васильки. Ставлю в глиняный кувшин, ставлю на потухший уже подоконник. Раз-раз — окно заливаю лазурью. Ножом проскребаю до грунтовки стебли и головки цветов, контуры горшка. Тебе нравится, Сережа? Бери!

— Спасибо! Великолепная вещь.

— А тебе, Векшин, что нравится?

— Я люблю весну, а у вас все осень да осень, серые, без света дни, сумеречные дали, туманы над рекой, мокрый снег на черном поле, голубовато-серый, а то грязноватый. Деревушки, мокрые от дождя, осенние облетевшие леса, жухлые, лежалые листья на дорогах. Печальная в общем-то земля, Алексей Ипполитыч. Глубокая грусть, от нее в груди ноет и рождается тревожная дума о вечной правде жизни и смерти.

— В грусти — глубина души, — сказал старик. — Грусть — хорошее чувство, не поверхностное. По-настоящему грустить умеет добрый человек, здоровый. Это вам не тоска-печаль...

— В колхозе расскажу о нем, — пообещал Векшин. — Вот только есть ли у него репродукции? Маловато его издают.

К утру все устали. Старик сделался равнодушным ко всему, точно сработал большую и трудную картину и силы его кончились. Лобанов пошел провожать старика домой, натянув на него пальто и надев шляпу на его взлохмаченную голову. Они спустились по лестнице, вышли на улицу. Ветер дохнул в лицо морозцем. Лобанов почувствовал, как старик вздрогнул всем телом.

Они направились к темнеющим древними стенами деревянным домам, в одном из которых жил старый художник. Этот дом Лобанов знал. Четырехгранные деревянные

колонны, открытая веранда внизу, а выше как бы бельэтаж, прихотливая вязь деревянной резьбы по карнизам, темно-серебристые толстые кряжи в стенах. Сергей хорошо помнил эти дома, но никогда не предполагал, что в одном из них живет такой интересный человек. Старый художник, его заставленная комната, даже его привычка таиться от чужого глаза — все, что писалось им, ставилось лицом к стене, все это теперь казалось Лобанову естественным и даже приятным.

— Маня, кому говорят? Отстань от человека. Вот же нахальница! И в кого ты у меня такая? Хоть плачь с тобой, Маня...

Хрипловатый старческий голос Алексея Ипполитовича звучал ворчливо, хотя Лобанов и видел, что он играл, искусно, тонко, как делают это любящие родители со своими детьми.

Ворона Маня надуто топорщилась на высоком старинном буфете.

Лобанов не успел отвернуться, как его опахнуло запахом старой птицы; Манька спикировала на стол и тотчас взвилась с куском хлеба в клюве.

— Ревнуют, шельмы! — проворчал Алексей Ипполитыч и покосился на другую ворону, затаившуюся в темном углу за изразцовой печью.

Маня спрятала корку, Ипполитыч притворно обругал ее.

Чтобы избавить Лобанова от ворон, постелил ему на кухне.

4

Старик вздремнул, сидя в кресле, и проснулся бодрый. На кухне было еще тихо, и старик немного постоял у двери. Какое-то странное чувство владело сейчас им, более сильное, чем вчерашнее утро. У него не было ни брата, ни сына. Отец, ивановский ткач, умер рано. С однокашниками по ВХУТЕМАСу, а потом ВХУТЕИНу отношения поддерживать не умел и растерял всех, хотя они и жили тут. рядом, и виделся он с ними, нельзя сказать, чтобы редко. Но он мог жить без них, и они тоже обходились без него, и это было как-то естественно. Только сейчас утром он почувствовал, что под конец жизни остался один. Лоба-

нова он знал мало раньше. Встречал у Векшина, слыхал о нем от златоуста Полторанова. Видал его картины. Резковато все у него, выпукло. Впрочем, Ипполитыч не считал себя судьей жанру.

Он отошел от кухонной двери, боясь помешать сну своего гостя, и вдруг услышал за собой шаги. Лобанов с пакетами в руках стоял на пороге.

— Уже на ногах? Хвалю, хвалю... — Гривцов подивился, услышав в своем голосе странные интонации. — В магазин, вижу, заглянул? И в мастерскую, поди?

— И в мастерскую.

Гривцов помолчал, не осмеливаясь спросить, что там. Лобанов сказал, что холсты еще не высохли и сейчас трудно судить о разрушениях.

— Ладно, Сергей. Ну что ты, право. Пойдем завтракать. По утрам я пью только чай, а ты вон с едой.

— Нелишне, Алексей Ипполитыч. Матросский завтрак.

Старик вытащил початую бутылку коньяка, достал две рюмочки величиной по наперстку:

— Из рук не выпускай. Варя, видишь, проснулась. Блестящие вещи ее страсть. Украдет.

Лобанов развернул пакет. Там были колбаса, сыр, селедка.

— Ну! — сказал старик и наполнил наперстки.

Но не успел Лобанов взять рюмку, как Варя, бесшумно слетев, украла ее. Ворона устроилась на своем излюбленном месте за печкой, золотой стаканчик поблескивал в клюве.

— Ведь говорил! — тихо смеясь, укорил Ипполитыч. — Возьми в буфете да не выпускай из рук.

Они пили до горечи крепкий чай. Гривцов держался удивительно, как будто и не переживал, но Сергею было больно за него. Полсотни лет отдать пейзажу и почти все сотворенное держать при себе! И вот случай, печальный случай... Он заговорил об этом, не понимая, зачем, собственно, тратить свой талант.

— Сейчас я еще раз взглянул...

Старик энергично запротестовал:

— Хватит, хватит, Сергей. Ну его к богу! Пусть лежит весь мой труд. Но я выразил себя. Это мой главный стебель.

— Главный стебель? Но почему ни одной выставки? Критики вас обидели или веры в себя лишили? Шедевры в пыли! Художник божьей милостью и экономит на еде.

Мыслимо ли! Напишу статью, во весь голос скажу: глядите!

— Не горячись, Сережа! Шедевры, говоришь? Но пыль к ним не пристанет, запомни. А насчет еды... Что мне, старику, надо? Пенсия есть, кормит. Ловчить я не стану, нет. Песни у меня свои, другое не запою. Мы в природе живы, а она и без нас жива. Моя работа есть правда. Начни я ловчить, кончусь тотчас. А это мое и держит меня среди людей. Умру с ним. А продавать?

— Для меня судьба ваша небезразлична! — сказал горячо Лобанов. — Я хочу понять: откуда у вас такая сила? Взгляните: мое поколение войну прошло, все одолело, а киснем, ленимся. Неужто у нас кишка тонка? А может, устали, на войне себя надорвали?

Старик стучал скрюченными пальцами по подлокотникам.

— Сергей, свои вопросы обращай к себе. О них не говорят — думают. Если нашел свою песню, будет у нас одним художником больше. А зачем нервничать? Обиды? Они сушат сердце, мутят взор. Самоедство? Оно размягчает душу, лишает ее пружины. А без пружины, без главного стебля ничто не стреляет, даже детский пугач. Отвернуться от всего: сгинь, сгинь, ничего не было, не было? Художник не может поддаться этому чувству.

Старик замолчал. Он сидел в глубоком кресле с затертыми и прохудившимися подлокотниками, спустив на глаза седые взлохмаченные брови. Тонкие губы его были плотно сжаты, обозначив морщины у рта, похожие на глубокие трещины. Его старчески-аскетическое лицо было непроницаемо холодным. Лобанову показалось, что кожа его отдает неживой белизной. И он тотчас спохватился: на кого он жалуется? На себя? На свое поколение? Разве он не знал, что художник кончается тогда, когда начинает искать причины своих неудач не в себе самом? Он знал это, не мог не знать.

И увидел, как напряглась, выпрямилась спина старика, а худое узкое лицо с морщинами-бороздами у ввалившегося рта судорожно искривила гримаса боли. Он шевельнулся в своем глубоком кресле, видно, намеревался подняться, но не поднялся, обессиленно опустил руки на рваные подлокотники. В глазах его Лобанов увидел тревогу. И вдруг он спросил:

— Значит, ты считаешь, что я не зря прожил жизнь?

— Алексей Ипполитыч. Надо же ценить себя.

Старик легко встал.

— Тогда пойдем. В мастерскую. Если ты думаешь, что все это нужно, будем смотреть по-иному.

Погибли двенадцать этюдов, главным образом писанные по картону, и две картины, краска с которых осыпалась почти полностью. Старик вместе с Сергеем отобрал то, что можно было восстановить закреплением красочного слоя специальными составами. Таких полотен было много, и Гривцов, кажется, только сейчас почувствовал всю тяжесть беды. Поникнув головой, он сидел в низком кресле, как старая уставшая птица, полуприкрыв глаза и выставив острый подбородок. Сколько редкостных душевных потрясений пережил он, работая над этюдами и картинами, весь отдаваясь необъяснимому влечению уловить и запечатлеть один раз и на короткое время появившееся состояние природы. Писал почти всегда в один прием «алла прима» по сырому, без подмалевки. Для нанесения красок все годилось: и локти, и коленки. Зато он успевал схватить невидимую для других душу природы. И вот теперь это просто хлам, восстанавливать который нет смысла да и времени.

В середине дня пришел Векшин. Он походил между рядами картин, потрогал руками холст, поскреб ногтем.

— Не расстраивай старика, — предупредил Лобанов.

— Что ты! Хочешь, тебя немного развеселю? Только что распрощался с дипломатом. Помнишь, в прошлый раз был? Визитки раздавал. Так вот... Семь этюдов отобрал. — Савел повалял кулаком нос. — Самые любимые. А я не успел их повторить.

Алексей Ипполитович поднял голову, усталые глаза его оживились.

— Солнце, весна? — спросил он.

— Солнце и березы. Березы, березы в ходу... — с шутливой веселостью закончил Векшин.

Гривцов насупил брови, ушел в себя.

Заговорили, как помочь старику восстановить картины, чтобы подготовить выставку.

— Тут и без того семь выставок, если не больше, — заметил Векшин.

Старик строго взглянул на него:

— Экий ты еще ребенок, Савел. На одну бы наскрести.

Лобанову пришла мысль уговорить реставратора Алика Ивушкина заняться поврежденными полотнами. Заработок, а главное — поучится работать.

— Нет, нет, — проговорил старик решительно. — Я все сделаю сам. А с выставкой подождем.

Друзья распрощались со стариком, вышли за дверь.

— Ну, ты надумал? — спросил Савел.

— Не думал еще. Не торопи, — ответил Лобанов.

Речь шла о поездке на Печору.

5

— Знаете, ребята, что меня мучает? — Иван прищурился, и взгляд его ушел куда-то в невидимую даль. — Чужую жизнь живу. Понял это, как поездил по своим святым кровавым местам.

Лобанов и Векшин повернули головы и внимательно взглянули на друга.

— Моя дошла до той высоты, и там ей предписано было кончиться. Вместе со всеми! И поставлена была ей точка, законная точка на белом камне, а ты живешь. За кого? За себя? Да нет тебя, нет, и ведь все согласились с этим! — Иван замолчал, сглотнул тяжело. — Чего же ты карабкаешься из тьмы? Чем ты лучше Неходы, он такой был аккуратный, толковый и старательный, и как он спокойно лежал за пулеметом и как метко стрелял? Чем ты возвысился над Стодолом, лейтенантом, который спас тебе жизнь, а сам погиб? И почему ты пережил капитана Улина, такого вдумчивого и неторопливого в решениях и быстрого в действии? А Люба, медсестра? Уж за нее каждый мог отдать свою жизнь... Разве ты не знал об этом? Все отдали, а ты нет. Что бы ты чувствовал, если бы она вдруг сейчас встала и узнала, чем тогда все там кончилось?

— Ты напрасно себя мучаешь, — сказал Векшин, воспользовавшись паузой, но Лобанов сердито моргнул ему глазами: пусть, мол, выговорится.

Иван продолжал:

— Полковник Борков принес мне снимки. Он получил от родственников погибших, и это стало для меня новым потрясением. Теперь я стал сверять с фотографиями, делать этюды. Сложившиеся по памяти образы моих друзей были такими дорогими, что не хотелось их трогать, придавать портретное сходство. Постепенно я стал жить вместе с друзьями той давней жизнью, которая вернулась ко мне. И мне стало казаться, что они вовсе не умирали, не покидали землю, свою высоту, с которой не сошли и не

сойдут никогда. Это общение с мертвыми не только сделало их живыми, но и поставило меня в мир неизвестного измерения, с обманчивостью нереального и твердостью земного. В этом новом мире все делалось легко. Можно было вообразить живого Стодола и расстаться с ним, не открывая ему дверь. Можно было лечь рядом с Неходой к пулемету и подавать ему ленту. И я начал писать картину, — закончил Иван.

Савел повернул мольберт, чтобы лучше видеть написанное. Увидел грязно-серую высоту, снег, перемешанный с землей, освещенную пожаром рощицу, намеченные, еще неясные фигуры, кое-где белые мазки выстрелов. Замысел был широк. Лобанов тоже постоял перед полотном.

— Покажи этюды, — попросил.

— Этюды? При чем этюды? — удивился Иван. — Ну, вот они, смотри!

Он стал ставить один этюд за другим, со злостью и вызовом, как будто своей просьбой Лобанов глубоко обидел его.

— Зачем тебе этюды? Зритель их не видит.

Лобанов внимательно просмотрел все, что Иван показал.

— Здорово! — сказал он искренне. — Память у тебя обостренная. Теперь осталось немного: проработать главные персонажи на натуре. Хочешь, я тебе попозирую? Неходу или Стодола, хочешь? Тогда не придется тебе листать альбом, списывать руку у Сурикова, спину у Нестерова, поворот головы — у Петрова-Водкина. У всех у них разная манера, и в картине это сразу вылезет, как шило из мешка...

— По-твоему, я все это буду сдирать? Хорошо ты обо мне думаешь!

— Да не думаю я так о тебе! Но где нашему брату все это брать? У матушки-натуры или друг у друга. Спорить будешь?

— Не буду.

— Ты правильно вначале говорил: мы живем и за тех, кого оставил ты на своих высотах, я — на своих морях. У меня тоже есть это чувство. Оно меня подгоняет, а порой стыдит. Покажи мне еще портреты.

— Ага! — Оживленный Иван бросился показывать портреты. Сергей и Савел стали смотреть их один за другим.

— Крепко, — похвалил Лобанов. — Портреты-харак-

теры. А этот конник в красном башлыке и черной бурке просто великолепен... И одежда, и пейзаж выразительны. А главное — лицо. Лысый ребристый череп сурового человека смягчен чертами лица, движением доброй души. Человечность и ради нее — подвиг.

— Портрет — твое будущее, Иван, — сказал Савел. — Попомни мое слово. Только не списывай с моментальных фотографий.

— Идите вы к черту! Я буду продолжать в том же духе. Пусть Савел хвалит твоих «Черных дьяволов», Сергей, но придет и мой черед.

Иван после той встречи стал работать с такой яростью и ожесточением, будто знал, что нет у него в запасе ни одного дня. «Я, пожалуй, так и назову картину: «Моя война», — думал он.

А Лобанов, проводив Савела, грустный вернулся в мастерскую, к своим братишкам. Рядом с его мольбертом появился другой, старенький, заляпанный краской. На станине нашел надпись: «Нил. Гор.». Горбаткин! Вот откуда он у Лины. Ему сделалось не по себе. «Нил поступил скверно, — подумал он. — По крайней мере, я бы должен был знать об этом от него самого».

А у Лины было много дел, в мастерскую заходила лишь по вечерам. Сергей считал, что блажь жены скоро пройдет и она забросит и свой мольберт, и картонки, и замечательный черный халатик из саржи, который она сшила специально для мастерской.

Сегодня Лина появилась рано, часа в четыре, вбежала с мороза в распахнутой шубе. Быстро разделась и, набрасывая на плечи халат, подошла к мужу, взъерошила ему волосы.

— Здравствуй! — сказал он мрачновато.

— Не сердись! Я совсем сошла с ума. Нил будет смотреть, что у меня получается. А тут еще и конь не валялся. — Она взглянула на его «Черных дьяволов» и ахнула: — Как можно так, Сережа? У тебя опять все заново.

— Повезло! Вчера был на занятиях в милиции. Зарисовал альбом от корки до корки. Движения, позы, лица, глаза. До чего интересно! — Он помолчал. — Когда мы там, с немцами, врукопашную цапались, разве можно было что увидеть?

Он каждый день что-то прибавлял к картине и что-то убавлял, надеясь найти то единственное, что ускользало от него, но завтра все начиналось сызнова. Он еще не да-

вал себе отчета в том, что сколько бы он ни выверял движения, ни находил более точные жесты, ни утончал выражение лиц, все это было еще не то, что сделало бы картину картиной, высказало бы людям самое сокровенное о самой страшной войне. Он и сам, оказывается, еще не все знал о ней.

— В милиции... Что, еще не все закончилось?

— Все, не волнуйся. У меня там появились друзья. Можно найти типажи. И весьма интересные.

— Прелестно! — сказала она. — А до тебя дошло, что Нил будет смотреть мою картину? К нему мне ехать или пусть он приедет сюда? Как ты думаешь?

— Мне-то что? Не могу же я распоряжаться Нилом!

— Ты сердишься?

— Вот еще!

Лина сдернула тряпку с мольберта и забыла о муже. Сергей полюбопытствовал, взглянул на ее работу. Жена переписывала этюд, привезенный из Крыма.

Лобанов не хотел встречаться с Нилом, собрался и ушел из мастерской.

Лина не заметила.

Ожидая Горбаткина, Лина волновалась. Волнение это проявлялось не в том, что она хватала кисть и бежала к картине и что-то поправляла. Она собрала разбросанные мужем кисти, упрятала тряпки, без которых ни один художник не обходится. Но для нее они были сейчас просто тряпки, а тряпки — подальше от чужих глаз. Попробовала привести в порядок мужнин «запасник» и не успела. Неторопливо открылась дверь, и вошел Нил. Лине нравилась его значительность. Он и сейчас на миг замер у порога, будто запечатлел сам себя. Был он в короткой дубленке с белым воротником, всегда поднятым, в фуражке из овчины с цигейковыми наушниками, завязанными кверху. Метр, знающий себе цену и умеющий держать себя. Дубленку он бросил на стул и, оставшись в замшевой вишневой куртке, прошел в мастерскую, попытался зажать в горсть сиво-голубую бороду, но крутая заросль не поддавалась, и это, как приятная игра, смягчило жесткий взгляд его сине-темных глаз. Подошел к Лине, стоящей в некоторой растерянности, поцеловал руку. Его плотное могучее тело легко согнулось в полупоклоне.

— Извини, — сказал он глухим, несвойственным ему

голосом. — Я на ходу. Обсуждаем кандидатов на премию имени Репина. Пропустить не могу.

— Что ты, Нил! Ты мог бы приехать и в другой раз, — сказала Лина.

Как бы не слыша ее, он подошел к мольберту, на котором стояли «Черные дьяволы». Лина заволновалась: гость не успеет взглянуть на ее картину.

— Нерасчетлив Сережа, ох, нерасчетлив, — услышала она. — Целая война! Хватило бы на пять полотен. А помнишь Верещагина? «Смертельно раненный». Один солдат, а вся трагедия войны.

На полотно Лины он едва взглянул. Крупное лицо его в сиво-голубой бороде было бесстрастно.

— Что-то есть, — сказал он. — Хотя это и не в моем вкусе, Лина. Но каждый по-своему с ума сходит, если уместно так сказать. Условность театра развязала тебе руки. Но такой логический произвол...

— Ах, Нил, ты забываешь, что я женщина! — Лина почувствовала себя в своей тарелке.

— Разве что женщина, — ответил Нил неопределенно, и она уловила колебания в его оценках. Ему все-таки что-то нравилось.

— Я просто решала задачу света, — пояснила Лина.

— Свет — наш язык. Он не может болтать пустое. А твой выболтал кое-что весьма определенное. К тому же заманчиво и не бесталанно.

«Заманчиво! Не бесталанно!» — с внутренним восторгом отметила она.

— Что же, что выболтал мой беспутный язык?

— У тебя чистейшее сюрреалистское мышление. Этим я сказал все. Жаль, жаль! Помню твои этюды. Такие милые! Что-то в них наивно-серьезное, если можно соединить эти понятия. — Горбаткин отошел от ее мольберта, вновь остановился возле работы Сергея. — Мучается Сергей? Я понял, отчего. Ищет новую большую мысль. Искусству о войне ее зачастую не хватает, он это понял.

Нил оделся. Постоял молча, как бы запечатлевая себя, и, не оборачиваясь к ней, проговорил:

— А как ты вообще... Как живешь? — В его голосе Лина уловила волнение. Ах, как он умел скрывать свои чувства к ней, прятать за внешней монументальностью позы. Ни разу не напомнил о своем увлечении в те годы, когда он, студент института, приходил в мастерскую ее дяди Вити. Да кто из учеников профессора не влюблялся

в нее? Кто не мечтал как художник писать ее? А потом все разошлись, и никто так и не писал ее. Есть же счастливые жены художников, хотя бы та же Любушка Судогдина... А Лина лишь однажды появилась на полотне Лобанова «Матросская мадонна»...

Недавно в Крыму Нил впервые вспомнил прежние годы. Уж лучше бы не вспоминал! Лучше бы она не знала, что его тоже мучает старое. Все мужчины жалуются на свою опрометчивость и нескладную жизнь, но Нилу-то что жаловаться? Оказывается, и у него что-то не сложилось. Тогда в Крыму она ему ответила: «Каждый выбирал свое сам». После этого все стало, как и было: Нил спрятался за свою монументальность и вроде замечал и не замечал ее, и Лина тоже не меняла своего отношения к нему, слегка подтрунивала над его молчаливой сосредоточенностью. Она и придумала тогда название этому его выразительному состоянию: «Нил запечатлел себя...» Ничего не изменилось между ними, хотя вчерашнего товарищеского соседства уже не стало. Но Лина, увлеченная своими этюдами, морем, удивительной природой Гурзуфа, тогда не придала этому значения. Только после, вернувшись домой, она отметила то, что произошло в Гурзуфе.

И вот снова. Странный вопрос: «А как ты вообще... Как живешь?» Не мог же он не понять ее слова, сказанные в Гурзуфе: «Каждый выбирал свое сам». Нетрудно догадаться, что она имела в виду. Разве женщина может простить, когда ею пренебрегли? Разве забудет Лина женитьбу Нила на Руфине Шварц, миниатюрной и грустной дочери академика живописи, с черным пушком усов и большими страдальческими глазами? Что ж, пусть! И Лина вышла за матроса Лобанова. Как много времени прошло с тех пор! Изменилось ли что в ней, Лине Лобановой? Что она ответит Нилу? Как она живет? Может быть, она никак не жила и только сейчас начинает жизнь.

— Ну что же ты молчишь?

— Почему тебя это заинтересовало? Уж не надоела ли тебе твоя Руфина?

Она увидела, как Нил опустил голову и вышел, забыв запечатлеть себя в дверях.

Алик был восхищен работой Лины, только и говорил, как здорово у нее получилось. Горбаткин сказал ей: «Заманчиво и небесталанно» — как раз в точку.

— Ты застал Лину Леонтьевну?

— Как же! Мы посудачили и о Горбаткине, и о безумном старике...

— Безумном?

— Ну, да! Развлекается воронами и портит добротный холст.

— Ты, Алик, не научился ценить чужой труд. Разве за тем я посылаю тебя к почтенному человеку, чтобы потом ты охамил его?

— Что там ценить, Сергей Сергеевич? Очевидно: раскрашенные фотографии.

— Врешь! Не поверю, чтобы нормальный человек ничего не понял. Можешь не принять, но понять должен.

— Но кому это нужно? Кто придет на его выставку?

— Придут, не беспокойся! Люди, чувствующие красоту. А их больше, чем ты думаешь. Значит, не хочешь старику помочь?

— Руки не поднимутся, Сергей Сергеевич. Разве что из-за вас...

— Ну, значит, решили! Ведь деньги получишь.

— Придется зайти.

Лобанов, кивнув одобрительно, сел на табурет. Странно, никакой радости не было от того, что Алик согласился, что сам он сейчас может взять кисть и доделать лицо молодого немца, которое так трудно у него получается. А этюд был толковый. Парнишка из ПТУ с полуслова понимал все, что требовал от него художник. Но настоящей боли на лице он не мог изобразить — боль переносил удивительно терпеливо. Экспрессии не получилось, потому что бровный мускул (болевой) у него не сокращался.

— Алик, — попросил Лобанов, — изобрази на лице боль. Настоящую. Тебе очень больно. Понимаешь?

— Пожалуйста...

Глубоко скрытый под кожей, как он мгновенно сократился, этот бровный мускул, притянул брови внутрь и вверх, лоб Алика в середине полоснула складка, концентрически ломая брови.

— Спасибо, Алик! — и схватился за кисть.

Выражение боли на лице молодого немца стало психологически куда более точным, но работа дальше не пошла. Он бросил кисть, снова сел на табурет, глубоко задумался. В душе Сергея было пусто, и картина была пуста, и все вокруг напоминало пустыню.

Как всегда, когда не писалось, Лобанов стал бегать по

чужим мастерским, с особенным рвением брался за общественные дела. Он зашел к Нилу и не сразу обнаружил его в кабинете. Только огляделись и привыкнув к полумраку, увидел у окна его массивную плотную фигуру.

— Здравствуй, Нил!

— Здравствуй, Сережа. Да, твои «Черные дьяволы». Видел. Трудно их закончить. Сложно. Боюсь за тебя. Упрости, если можешь.

— А ну их к дьяволу! — вдруг вскипел Сергей. — Надоели! Не вспоминай.

Нил с интересом взглянул на него.

— Думал, на выставку спешишь. На республиканскую просят. Грандиозная будет. Не прогадай!

— Ладно. — Сергей сел на стул. — Об этом потом. Дам «Старика». Пройдет?

— Пожалуй... — Нил положил руки на стол, сцепив толстые пальцы с квадратными ногтями. — До республиканской и всесоюзной не будет вакуума. Утвердили ряд персональных. — Он смешался. — Лина просила о твоей. Хотя... Хотя я не уверен в цельности твоего будущего вернисажа, но как ей откажешь?

— Лина? — Сергей от неожиданности привстал. Жена ничего ему не говорила, и ни о чем он не просил ее. — Блажь! Я не хочу, Нил.

— Вчера утвердили.

— Нечего мне показывать! — Лобанов с ожесточением посмотрел на Горбаткина. — И подачек не прошу. Я уступаю зал Гривцову. Ему выставка нужнее, чем мне.

— Не играй в благородство, Сергей! Разве ты не ждешь своей выставки? А Гривцову, как ты просил, мы выставку утвердили. Пусть несет на суд людской свои баньки. Но от него заявки до сих пор нет. Да и не хочет он, как я слышал. Вроде тебя, блаженный!

— Баньки! Блаженный! Испортила тебя власть. — Лобанов встал. — Я просил командировку еще весной. Поеду на Север.

Горбаткин пожал плечами:

— Поезжай. Пополнишь свой вернисаж свежим материалом. — Он величаво поднялся над столом. — Как ты находишь работы Лины?

«Сам заговорил!»

— А ты?

— Что-то есть свое!

— Что-то есть! Замутил голову бабе, а зачем? Посмеяться над ней и надо мной?

— Сергей! Я не представляю тебя в роли эгоиста и домостроевца. В наше-то время? Все мы не хотим, чтобы жены были похожи на нас, но в чем они виноваты, если талантливы? Я Руфину тоже не подпускал к краскам. А теперь каюсь!

В тот вечер Лобанову позвонила Вика Владычина. Тоненький голосок прерывался от волнения.

— Сергей Сергеевич, извините и не перебивайте, а то я смешаюсь и все забуду. Мы плохо живем. Мама, когда одна, все плачет. Жалко ее. А папа что? Он как чужой. Ну, что мне делать, дядя Сережа? Ну, скажите мне хотя бы слово! Я одна между ними, и сил никаких больше нет...

Сергей не успел ничего сказать — Вика повесила трубку.

6

В пятом классе двенадцатилетняя Вика постепенно утрачивала детские черты характера. Капризная и обидчивая, она делалась замкнутой, упрямой и мстительной. Первый раз она это почувствовала, когда не позволила отцу ударить мать, и тот не сумел ничего с ними сделать, потому что их было уже двое. Если бы Вика знала, что у нее есть смелость и сила, то и раньше не давала бы мать в обиду. В тот вечер она открыла в себе еще одно непонятное чувство, которое как бы образовалось из обиды и гордости. Потом она узнает, что новое чувство называется ненавистью, и было оно тогда таким сильным, что если бы она знала, как это делается, то убила бы отца, так он был ей чужд, неприятен, ненавистен. Вот тогда, в тесной постели вместе с обиженной матерью выросло и окрепло у нее это чувство. Утром Вика не боялась отца. Собираясь в школу, она как бы не замечала его, но все время чувствовала, что ему хочется с ней заговорить. Она же не хотела говорить с ним из-за своего упрямства и его подлости.

Теперь девочка понимала, что и раньше, когда отец обижал мать, не пуская ее ночью в квартиру, она могла бы защитить ее. Это не страшно.

С той поры, как между старшими Владычиными произошла ссора, ни мать, ни отец не знали, что в их квартире появилась пара зорких, всевидящих глаз. Отец, правда, заметил, что дочь не ищет с ним контакта и замыкается, когда он приходит домой. Изредка он ловил на себе ее допытливый взгляд, но ему было не до выяснения отношений с дочерью. Лера все больше подчиняла его себе и все больше отделяла от семьи, превращая его жизнь в этой когда-то счастливой квартире в настоящую неволю. Странно, и Мария вроде потеряла к нему интерес. Она не выговаривала ему, когда он поздно является домой или вовсе не приходит ночевать. Наивная она, что ли, или что-то задумала?

Вика видела, как отец делается все более чужим, а мать вроде и не чувствовала этого. Иной раз мать по две смены кряду пропадала в порту, прибегала оживленная, даже веселая. Но разве от Вики упрячешь тоскливые глаза? Разве утаишь слезы по ночам? «Мама, мама! — молит про себя Вика. — Скажи, все скажи... Я твоя, я все сделаю, чтобы не тосковали твои глаза, чтобы не слепли они от ночных слез...» Но мать не замечала, как повзрослела ее капризная девчонка, как рвется она разделить с ней невзгоды, не замечала и не допускала ее в свои тайны. И не задумала она ничего против мужа, нет. С наивной верой ждала развязки событий. Считая справедливость вечным законом жизни, надеялась, что все образуется, и она хотела, чтобы все образовалось, чтобы мир и любовь вернулись в ее дом. Мало ли разведенок одиноко кукует по свету? Если бы не художник, чего бы Грише ревновать ее? А если бы не его ревность, чего бы им ссориться?

— Мам, скажи, что с тобой? — спросила Вика.

— А что со мной, дочка?

— Вот я и спрашиваю. Ты то весела, а то плачешь.

— Плачу?

— Не скрывай. Я все вижу и слышу. Зря ты отцу веришь. Подлый он у нас.

— Что ты говоришь! Что ты знаешь?

— Ничего не знаю, чувствую.

В тот вечер она позвонила Лобанову.

Не шла, бежала на работу Мария. Стужа жмет. Мысли тревожные не дают покоя. Гриша то придет домой зверь зверем, то вдруг слова начнет говорить прежние, ласко-

вые, прикрывает ими что-то. И у него что за жизнь: к одному берегу человеку льнуть, посередке долго не удержится. Сегодня Гриша опять дома не ночевал, и Мария почувствовала — развязка близка... уйдет Гриша, совсем отбился от дома. Безотцовщина для детей, а для нее — снисходительное грустное слово: разведенка. Конечно, Гриша не поверил, что Вика сама, без спроса и без ее наущения позвонила Сергею Сергеевичу и рассказала, что творится в семье. Опять капля горячей смолы на открытую рану. Мало сказать, жену смутил, так и детей туда же... «А почему Вика позвонила художнику? А ты, ты кому бы позвонила, если захотела?»—И не ответила себе.

У Марии дыхание перехватило от мороза, остановилась у самого своего крана, белого от куржака. Будто крупной солью посыпаны станины. Утренняя морозная дымка крыла белое пространство реки. Вдали желто расплывались огни Заречья.

Ночной смены не было, и кабина остудилась, греть теперь ее — не согреешь, как дом разлюбивших друг друга хозяев...

Мария включила печку и перчаткой стала тереть заиндевевшее стекло. Всходило солнце, и морозная дымка над рекой начинала розоветь тепло и нежно, как газовая косынка, которую она любила в юности. Кабина прогревалась, стекла начинали синеть. Из-за длинного и низкого склада тихо выкатывались пульманы с раскрытыми в небо железными пастями, будто голодные, требующие еды огромные животные.

На гаке висел грейфер, зубастая пасть его была тоже раскрыта и ждала работы. Слева глыбилась припорошенная снегом гора леса. За зиму ее придется сровнять до основания, перевалить на железную дорогу. Хлопотное дело брать пучки связанных бревен. Проволока поржавела, может порваться, и тогда шестиметровые кругляши с грохотом посыплются па землю. Лягут они, конечно, как попало, попробуй их тогда разобрать. Мария приловчилась работать с лесом. Она повела стрелу к горе, с торца легонько стукнула грейфером. Отделились сразу несколько связок, теперь надо поточнее угадать середину, а затем брать и брать.

За изгибом причала работал Виконт. Он переваливал на стеновозы железобетонные панели, то и дело коротко сигналил, и Мария знала, что это для нее.

На стыке смен сегодня занятия по комплексной орга-

низации труда бригад. Занятия нравились Марии, она ходила на них с охотой.

Мария спустилась с крана и замерла от неожиданности: на выпавшем из связки бревне сидел человек. На голове и на плечах его белел снег. Значит, сидел давно. Конечно, она сразу узнала его.

Поздоровался. Мария ответила.

— Пришел... Такое дело... Вы разрешите мне поговорить с Гришей? В первую минуту, понимаете, что я чувствовал? Бежать, бежать тотчас же, проучить грубияна.

Мария была спокойна:

— Не сердитесь, Сергей Сергеевич. Вику я осуждаю. Если мы сами с Гришей ничего не сумеем, никто не поможет. А она славная, все у нее близко к сердцу... Не переживайте за меня. Прошу... Перемелется — мука будет.

— Как же не переживать? Вот уеду, что тут будет?

— Уезжайте. — И спросила тихо: — Куда, если не секрет?

— На Север.

— Ой, что вы! — сдернула со своей головы пушистый шарф, надела ему на шею.

Повернулась и побежала, будто хотела поскорее скрыться.

А Сергей еще долго бродил по запорошенному снегом порту, думал о Марии и, трогая ее шарф, улыбался.

...Лина его застала за сборами. Удивилась:

— Большой этюдник? В дорогу?

— Да, еду на Печору, к Савелу. Потом — на трассу газопровода... Где-то там его тянут, «Сияние Севера». На обратном пути загляну к старикам в Красное. Деньги за «Старика» получишь. Что заработаю, пришлю.

— Не беспокойся. А ты не без денег? Командировочные как? Получил? Ну, хорошо. Белье взял? Шарф у тебя откуда? Такой роскошный!

Она спросила об Анне. Он ответил, что уже попрощался и наказал, чтобы они с Аликом не оставляли Гривцова, довели дело до выставки. Лина поморщилась, но Сергей сказал решительно:

— Для них это важнее, чем для него. Надеюсь, ты это понимаешь?

— Ладно, — согласилась она, — тебе надо успокоиться.

Вагонные колеса всю дорогу повторяли эти слова: «Тебе

надо успокоиться, тебе надо успокоиться». В конце концов они убедили его.

«Жена художника, — говорил как-то Миша Судогдин, — половина его самого, а то и больше». Ах, Миша-Миша, какой ты мудрый и счастливый. А я все думаю о себе».

7

Григорий Владычин зашел в магазин, хорошей еды понабрал: вот ребята бы полакомились... Мария из одной грудинки на всех бы ужин устроила. Виноватость непрошенно скребнула сердце, но терпимо, боль скоро растаяла. Сегодня встреча с Лерой. Дело предлагает, рисковое дело. «Деньги рисковых любят», — повторяет она с удовольствием. Купил себе водки, ей коньяку. Уложил в емкий портфель. От прошлой осени не одни ссоры остались у них в памяти. Жила цыганская бездомность, неуютная, но сладкая. И пусть она, эта сладость, отдавала продымленной у костра одеждой, запахами мокрых ботинок, рыбы, сургучно-горькой «Старки», все же это была не домашняя однообразность, тем более не теперешняя неприкаянность. И хотя Григорий не любил Леру, расхристанную и разбросанную, но перед ней не было никаких обязательств. Жалость к Марии прошла. После того как она натравила на него детей, особенно после драки с художником, когда стало ясно, что у них уже все было, иначе чего бы дураку лезть на чужие кулаки, Григорий стал мстить жене. Каждая встреча с Лерой была этой местью.

Лера отчитала его за драку. «Чем меньше шума вокруг тебя, тем лучше, — говорила она. — И с женой по-хорошему расстанься. Мало ли, бывает: разлюбили — и все. А тут столько разговоров, сплетен. И милиция, и суд — ни к чему. Первое знакомство с ними всегда лучше, чем второе». А когда его вызвали в милицию из-за драки, он перетрусил — боялся услышать от следователя совсем другие вопросы. Слава богу, скоро все кончилось.

Для встреч Лера сняла в центре города хорошую комнату. Хозяева уехали в длительную командировку за границу. Остались две старушки, которые вполне обходились комнатой и гостиной. Лера ежемесячно выкладывала полсотни целковых, они брали, как свои кровные, делили между собой, и каждая в отдельности несла на свою сберкнижку. Иногда Лера звала их поужинать, старушки

охотно садились, болтали разную ерунду про свою старую жизнь или пересказывали радионовости, сводки погоды и ели ужасно много. Григорию хотелось их тут же пристукнуть за болтовню, за те дармовые полсотни в месяц, за еду, которую он покупал и готовил сам. «Если ты еще раз позовешь их, я не ручаюсь за себя», — грозил он Лере.

Григорию нравилась их комната. Она просторна, обставлена дорогой удобной мебелью, какая в его квартире вряд ли появится. Люстра и бра — хрустальные, как бы слезятся светом, когда включишь электричество. Ковры, гобелены, картины. Но все это было чужое, и Григорий никогда не чувствовал себя тут свободно. Зато Лера вела себя как дома. Валялась на диване, босая бегала по коврам, а больше спала. Она как будто всю жизнь недосыпала. Кровать для нее была тем единственным, куда она всегда стремилась.

Он застал ее спящей, отнес продукты на кухню и стал готовить ужин. Но Лера скоро позвала его. Если она была встревожена, то странно морщила губы, то ли засмеяться хотела, то ли заплакать. Рассказала: потолочные перекрытия гаражному кооперативу отгрузила, половину без документов. Только не понравились ей гаражники. Недружный народ, каждый к себе тянет, поскорее закрыться. Среди таких всегда найдутся злопыхатели. «Отправь им еще, пусть заткнутся», — посоветовал Григорий, холодея. Он боялся провала, всегда чувствовал над собой физически ощутимую опасность и, как только она хоть чем-то напоминала о себе, делался злой. Обозлился он и сейчас и не мог взглянуть на Леру, чтобы не выдать своего душевного состояния. И заторопился на кухню готовить ужин. Он сносно справился с кухонными делами, научившись этому в скитаниях по рекам.

Старушки вместе с ними посидели за столом, старательно пересказали прогноз погоды на апрель, все прибрали со своих тарелок и тихо скрылись. Лера, потягиваясь, глядела, как Григорий убирает со стола и перемывает посуду в огромной белой раковине. Она радовалась тому, что Гриша все больше отвыкает от семьи... Глядишь, скоро заговорит с женой о разводе. А он между тем брезгливо мыл посуду после старушек, руки чесались трахнуть о прочное чугунное литье эти древние дорогие тарелки, обломки выбросить вместе со старухами. Почему он такой злой? На них? На всех злой. Раньше он злился,

когда не было денег, семья приковывала к дому и не давала роздыху, и светом ресторанных ламп и громом джаз-оркестров он мог наслаждаться лишь в редкие вечера. Теперь есть деньги, ни к кому и ни к чему он не привязан, ходит по ресторанам, пьет, ест, танцует с расхристанной Лерой разные танцы. Но сейчас он еще злее, чем бывал когда-то.

Лера расстегивала пуговицы куртки.

— Ты бы еще при старухах рассупонилась, за столом, — мрачно сказал он.

— Напоминаю о себе.

— Помогла бы лучше. Ну!

— Не нукай, — одернула она его. Но пальцы, только что расстегивающие куртку, теперь застегивали ее.

— К черту, надоело! — Он влепил тарелку в стену. Со звоном посыпались осколки.

— Не дури! — сказала она спокойно. Она была уверена, у нее над ним большая власть. Встала и направилась в комнату, ожидая, что он последует за ней.

Но Григорий стал одеваться. И вот уже за ним хлопнула дверь...

Через два дня они снова здесь встретились.

— Поговорить надо, Гриша, — сказала Мария. — Дети укоряют, волю тебе большую дала.

— Ну? — Он мрачно посмотрел на нее.

— Кончай гулянку. Прошу тебя. А то они говорят: подлый у нас отец.

— Подлый? Так оно и есть.

— Детей забыл, чего может быть хуже.

— А-а! — Он махнул рукой. — Заберут меня скоро...

— Заберут?

Григорий увидел, как побледнела Мария.

— Заберут. Украл я и продал... Много продал разных материалов.

— Вот что, Гриша, — сказала она глухо. — Не жить нам... Не хочу я так...

Долго шло следствие. Три дня продолжался суд. И вот приговор: шесть лет.

Среди множества событий, происшедших в городе, это никого не сделало счастливым, а несчастными оставило многих.

Окончание следует



ПОЭЗИЯ

Алим КЕШОКОВ

ИЗ НОВЫХ СТИХОВ

* * *

За любовь заплатишь годы,
Ночи темные без сна,
Но поверь:
глотка свободы
Выше красная цена.

Кто свободою упьется,
Тот навек ее должник,
А тому, кто отречется
От нее, как отступник, —
Опозоренно придется
Вырвать собственный язык.

* * *

Махмуду Дервишу —
певцу палестинского народа

Меняют очертанья облака...
Вглядись, Дервиш:
бредет невесть откуда
Одно из них в обличии верблюда
В закатном небе, как среди песка.

А чуть поодаль — вылитый ходжа
С молитвою и бедною сумою,
Не в Мекку ли,
увенчанный чалмою,
Идет, святым призваньем дорожа?

Но вдруг его седая голова
Нежданно отделяется от тела
И уплывает вдаль осиротело,
Где пурпурною стала синева.

А перед этим слышал гром копыт
Я белых кобылиц в небесной сини,
И тени их метались по пустыне,
Взметая пыль до самых пирамид.

Смотрели палестинцы в небеса,
И мысленно коней они седлали,
При этом их патроны обвивали,
Набитые в тугие пояса.

О нет, не безъязыки облака,
Лишь до поры они летают немо,
Но в час грозы вновь сотрясают небо
И обнажают лезвие клинка.

ГОРНЫЙ РУЧЕЙ

От века путь он начинал,
Где барс не ведает тревоги,
И омывал среди чинар
Когда-то мне босые ноги.

Летит, свободою влеком,
И кажется под бездной сини
Мне белоснежным башлыком
Он на спине горы поныне.

Его старается мороз
Зимою оковать снаружи,
Но непокорно под откос
Он прыгает, не сдавшись стуже.

Во дни войны через него
Прошли тяжелые колеса,
И не забыл он ничего,
Как прежде, прыгая с откоса.

В ту осень красная листва
На пятна крови походила.
Иноязычная молва
Его с опаской обходила.

Бреду над ним через луга,
Где буйны травы молодые,
А в небе вечные снега
И ветра табуны седые.

* * *

Где в безветрие прячется ветер,
Пыль взметая, проносится где,
И макушки податливых ветел
Где привычно склоняет к воде?

Где зимою венчает метели,
Воет волком в какой стороне,
Где качает он, как колыбели,
Птичьи гнезда в лесной вышине?

Может быть, над вершиною белой
Он, как неук, несется опять?
Если б мог,
как объездчик умелый,
Постарался б его оседлать.

И на лезвиях троп непологих,
У безумной свободы в чести,
Мне известных наездников многих
Удалось бы в горах обойти.

СУДЬБА ДХОНИ

Море будто бы на ладони,
На прибрежной волне слегка
Предо мною качает дхони —
Лодку утлую из тростника.

И о чем бы волна ни пела,
Провожает на край земли
Дхони легкая,
словно пена,
Океанские корабли.

Ждут их морок взамен лазури
И взбесившихся волн гурты,
Будут в бездны швырять их бури
И вздымать на свои хребты.

Легкой дхони такая участь
Не по чину во все века,
Ведь в груди у нее певучесть
Пустотелого тростника.

БАЛЛАДА О ЗЛАТОКУДРОЙ

Когда я в честь мужской красы
Стал холить юные усы,
Мать, слывшая горянкой мудрой,
Шутила:
— Может быть, сынок,
Послать нам сватов самый срок
К отцу красотки златокудрой?

Хоть путь надежды не пухо́в,
Но златоусых женихов
Затмишь ты, может статься. —
Была любви она полна,
Но вскоре грянула война,
И я ушел сражаться.

Легли два мира на весы,
И я подкручивал усы,
Вдевая ногу в стремя.
И снова брали мы рубеж,
Где вряд ли свадебный кортеж
Проехал бы в то время.
И жизнь одна, и смерть одна —
Была четвертый год война,
И грозно тучи висли.

А фронт широк, и путь далек,
Вошли мы, помню, в хуторок,
Который был на Висле.

Нас вышли девушки встречать,
Нас вышли девушки обнять,
Чьи ликовали слезы.
И в роли девичьих подруг
Золотокудрые вокруг
Теснилися березы.

Была средь девушек одна
Золотокудра и стройна,
А я был офицером.
И Леонтина до зари
Мои считала газыри.
Ах, был я кавалером!

И мне один лишь бог судья,
Что надевал черкеску я,
Красуясь перед пани.
Мы расставались у ольхи,
И голосили петухи
В предутреннем тумане.

Прошло с тех пор немало лет,
И в Польшу прибыл, как поэт,
Я, чьи густы седи́ны.
Полячки юной красоты
Стремились мне явить черты
Прекрасной Леонтины.

Я в сердце все сумел сберечь,
И если б лихо сбросил с плеч
Годов я половину,
Наверно, снова до зари
Считать в лесочке газыри
Позвал бы Леонтину.

* * *

Я детище горского поля
И сам у вершин на виду,

Отеческих слов не мусоля,
Как сеятель, сев свой веду.

Тружусь не за славой в погоне,
И слово, что жизни полно,
Я взвесить могу на ладони,
Как будто крестьянин зерно.

Я детище горского поля
И сам я — частица земли,
И с пашней одна у нас доля
Вблизи от вершин и вдали.

Лица я не прячу от ветра
И, небо о грозах моля,
Дарю вас то скупо, то щедро,
Как дарит родная земля.

И горше печали, как прежде,
Не знаю всем землям под стать,
Чем ложью убитых в надежде
Остынувший прах принимать.

ЖИЗНЬ В СТРОИТЕЛЬНЫХ ЛЕСАХ

Жизнь в строительных лесах...
Кем заложен первый камень,
Разведен кем первый пламень,
Свет зажжен как в небесах?

Этой стройке нет конца,
А быть может, и начала.
Для опалубки немало
Есть цемента у творца.

К небу лепятся стрижи,
И всегда готовы блоки,
Чтоб в положенные сроки
Воздвигались этажи.

Жизнь в строительных лесах,
И хочу, чтоб забывали

Все невзгоды и печали
В ней о ваших адресах.

Жизнь в строительных лесах,
Было так и вечно будет.
И любовь пусть не забудет
В ней о ваших адресах.

ШАХМАТНОЙ БАТАЛИИ СУДЬБА

Вот грянул бой на шахматной доске,
И белые в атаку устремились.
Минутам счет идет невдалеке,
И полководцы в думы погрузились.

Что ожидает их в пылу борьбы:
Венец победы или пораженье?
И оба полководца морщат лбы
И наблюдают войск передвиженье.

Их замысел порой неуловим,
И на поле успехов переменных
Обменивать дается право им
В бою фигуры, как военнопленных.

Бывают редко на передовой
Два короля,
где действует пехота,
И есть у каждой пешки рядовой
Пройти в ферзи великая охота.

Всегда полна превратностей борьба,
Где так обидно ошибиться в спешке.
И шахматной баталии судьба
Не раз решалась грозным ходом пешки.

ЛЕСНОЙ ПОЖАР

Плясал огонь на старом пне
В своем воинственном набеге.

И гибель быструю в огне
Нашли зеленые побеги.

Кипела дымная смола,
Взметались искры то и дело.
И старый пень сгорел дотла,
И все в соседстве почернело.

Пришла зима, и черный след
Собой запорошили снеги,
А по весне на белый свет
Взметнулись от корней побеги.

ПСЫНА ДАХА

Псына Даха — имя речки,
Что в серебряной насечке
Мчится, тихо лепеча,
С каменистого плеча.

Псына Даха, Псына Даха,
Речка малая, как птаха,
Три красавицы придут,
В трех кувшинах унесут.

Отражает небеса
Родниковая краса,
Перед ней аул в долгу,
Что стоит на берегу.

Почему? Да потому,
Что сумела встарь ему
Имя собственное дать,
Как земную благодать.

И с прадедовских времен
Мост над нею вознесен.
Глянешь вниз на Псыну Даху
И увидишь в ней папаху:
На волнах во все века
Отражались облака.

Псына Даха, Псына Даха,
Речка малая, как птаха,
Но она в сезон дождей
Страх наводит на людей.

Мчится, буйно клокоча,
С каменистого плеча,
И в волнах, грозней пальбы,
Камни сталкивают лбы.

Но невмочь под гром камней
Имя собственное ей
В эту пору унести
И другое обрести.

Псына Даха, Псына Даха,
Речка малая, как птаха.
Три красавицы придут,
В трех кувшинах унесут.

Перевел с кабардинского
Я. КОЗЛОВСКИЙ





ПОЭЗИЯ

Максим ГЕТТУЕВ

СВЕТ ЗЕМНОЙ

ВЕЧНЫЙ ПЛЕННИК ВЫСОТЫ

Вокруг,
От края и до края,
Как частокол, —
За пиком пик.
С утесов,
Силу набирая,
Летит поток,
Студен и дик.
В снегах,
Безмолвных, белопенных,
Величественны и чисты
Вершины гор.
Я — вечный пленник
Их первозданной красоты,
Я — вечный пленник высоты.
Здесь песни матери поныне
Доносит ветер до меня.
Здесь все мое:
И сумрак синий,
И теплое дыханье дня.
Вполнеба яркие восходы,
Гнездовья птиц,

Зверей следы.
Проходят чередою годы, —
Я — вечный пленник высоты,
Я — вечный пленник высоты.

Люблю я мшистые поляны,
Озер густую синеву,
И плес речной,
И луг духмяный,
И лес,
Роняющий листву.
Необозрим простор,
А все же
Нет в мире ничего дороже,
Чем островерхие хребты.
Я — вечный пленник высоты,
Я — вечный пленник высоты.

Не жест,
Не фраза,
Не причуда —
Мое стремленье к крутизне.
Мне дальше видится отсюда,
Здесь дышится привольней мне.
Здесь высотою,
Как межою,
Я отделен от суеты.
С горами сросся я душою,
Я — вечный пленник высоты,
Я — вечный пленник высоты.

Стоят, как исполины, горы
Неколебимо, день-деньской —
Моя судьба,
Моя опора,
Моя тревога,
Мой покой.
Я там,
Где снег укутал скалы,
Где глохнет долгий гул обвала,
Где тропы немы и круты,
Где зорь рожденье,
Рек начало, —
Я — вечный пленник высоты,
Я — вечный пленник высоты.

ЧЕГЕМСКОЕ УЩЕЛЬЕ

По лугам,
Где тишь да мгла,
По снегам,
По бурым скалам
Ночь взошла над перевалом,
Звезды спелые зажгла.
И привычно,
Чуть устало
Месяц встал из-за горы,
Как из ночи в ночь бывало
С незапамятной поры.
Встал над пустошью унылой
Из-за каменных громад, —
Все, как прежде,
Все, как было
Год назад
И век назад:
И обвалы,
И туманы,
И утесы,
Что кругом,
Как немые великаны,
Дремлют в сумраке ночном;
И чинара,
Что застыла
На весу,
Тревожа взгляд, —
Это тоже, тоже было
Год назад
И век назад.
Крепкий наст,
И льда наросты,
Что свисают со скалы,
Склон пологий,
Гребень острый,
Гнезда,
Где живут орлы,
Громыхающая бездна,
Тропка,
На которой тесно
Одинокому коню,
Облака над краем этим —

Все принадлежит столетьям,
Как и нынешнему дню.
От восхода до восхода
Воды пенные шумят.
Годы,
Годы,
Годы,
Годы —
Словно долгий камнепад.
И не в счет судьба крутая,
И века уже не в счет,
Словно,
Горы огибая,
Время медленней течет.
Между скал легла теснина
Так, как будто в толще гор
Выбит темный,
Выбит длинный,
Выбит узкий коридор.
Скалы слева,
Скалы справа
В исполинский встали рост
И просеивают плавный,
Зыбкий свет
Далеких звезд.
Ты идешь глухой тропою
И с волненьем смотришь ввысь,
Где, как своды,
Над тобою
Скалы вечные сошлись.
Белоснежная одежда
Перевалов,
Острие
Горных пиков —
Все, как прежде,
Все, как было, —
Да не все.
Высоко,
На дремной круче,
Над кипением реки
Металлические крючья
Вбили в камень смельчаки.
Словно струны,
Вдоль ущелья

Натянули провода,
Чтобы лампочки горели
Здесь приветливо всегда.
Чтоб, незримо мчась по струнам,
Над рекой,
В тиши ночной,
Мог со звездным
Или с лунным
Дерзко спорить свет земной.
И в полуночную пору,
Звездам крохотным сродни,
Путь указывают в горы
Рукотворные огни.
Та же высь,
Ущелье то же,
Все, как встарь,
А между тем
И красивей и моложе
Нынче сделался Чегем.
Только к вечеру в ущелье
Станет глуше и темней —
Сразу вспыхнет ожерелье —
Ожерелье из огней.
И, застигнутый в дороге
Тьмой,
Закрывшей небосвод,
Без боязни,
Без тревоги
Человек идет вперед

* * *

Налетает ветер жгучий,
Хлесток ветер,
Ночь длинна.
И осколком темной тучи
Косо срезана луна.
И с полуночного неба —
Хоть бы дрогнула рука! —
Вырывает ветер слепо,
Словно перья,
Облака.
Он крепчает,

Он серчает,
Повышает голос свой,
Месяц на небе качает,
Как фонарь над головой.
По сугробам пляшет ветер,
Вьются белые дымки,
И снежинки в лунном свете
Мечутся,
Как мотыльки.
Жди, родная!
Свет неярок,
Я иду сквозь пелену, —
Я несу тебе в подарок
Снег, и ветер, и луну.

* * *

Пришел я к умирающему другу,
Он хрипло и прерывисто дышал.
Беспомощную жилистую руку
Погладил я —
И лютый вспомнил шквал.
Шквал бушевал,
Равнину сотрясая,
Взметая волны грома и огня,
И пуля,
Точно молния косая,
На склоне дня ударила в меня.
Я падал в бездну,
Тьмою налитою,
Уже не слыша ничего вокруг.
Но жилистою, крепкою рукою
Меня, пригнувшись, обнял верный друг.
Он дотащил меня до медсанбата
И, попрощавшись, в бой ушел опять...
Друг умирает.
Плотно веки сжаты,
И мой черед теперь его обнять.
Проститься с ним,
Темнея от печали,
Чтоб завтра вновь,
Как велено судьбой,
Пойти вперед —

В немереные дали,
В наш общий поиск —
Многотрудный бой.

* * *

Не требуй, чтоб искусство развлекало,
Коль кошки на душе твоей скребут,
Чтоб рассмешить во что бы то ни стало
Тебя оно старалось,
Словно шут.
Иное у искусства назначенье,
Иная красота,
Иная суть.
Оно — не отдых и не развлеченье,
А пламя,
Обжигающее грудь.
Оно придет и высоко поднимет
Тебя над повседневной суетой.
И будет небосклон ветрами вымыт —
В лучах отвесных,
В радуге крутой.
Оно тебя задуматься заставит,
Чего хотеть
И что искать в пути.
Оно печаль в надежду переплавит,
Чтоб легче было по земле идти.
Оно для сердца вспыхнет,
Как жар-птица,
И возродишься ты в его огне.
А тот, кто рад бездумно веселиться,
И без искусства проживет вполне.

* * *

Погоды ясной, как спектакля, ждали мы, —
Густой туман,
Недвижен, плотен, бел,
Перед глазами нашими усталыми,
Как занавес опущенный, висел.
Попробуй-ка в таком тумане выдели
Хоть штрих один,

Хоть линию одну!
Мы ничего вокруг себя не видели
Сквозь дымчатую эту пелену.
А время было вовсе и не раннее —
Катилось время к третьему звонку.
Проснулись петухи без опоздания,
Кукушка всполошилась на суку.
И вдруг тот занавес,
Томивший зрителей,
Раздвинула незримая рука,
Чтоб все собравшиеся здесь увидели,
Как зелен лес,
Как голуба река.
И солнце над землею, как над сценою,
Взошло,
И так земля была светла,
Что нам казалась необыкновенною,
Как будто нарисованной была.

* * *

Не знаю я,
Чей век длинней —
Того, кто для себя живет,
Иль век живущих для людей
День изо дня,
Из года в год.
Не знаю я,
Чья жизнь трудней —
Тех, кто о выгоде своей
Печется,
Суетой томим,
Иль тех,
Кто свет несет другим.
Пусть, безучастья невзлюбя,
Себе укоротил я путь, —
Мне лучше ноги протянуть,
Чем жить для самого себя.
Друг,
Говорю я, не тая:
Везде,
От века,
Навсегда

Твоя печаль —
Печаль моя,
Твоя беда —
Моя беда.
Живу для тех,
Презрев покой,
Которым жизнь моя нужна.
А как иначе?
Жизнь — одна,
Не знаю жизни я другой.

Перевел с балкарского
Яков СЕРПИН





ПОЭЗИЯ

Александр **КОВАЛЬ-ВОЛКОВ**

ПОД НЕБОМ РОДИНЫ

КУРАНТЫ КРЕМЛЯ

Как солнечен курантов перелив!
Над Красной площадью
и над страною
Плывет,
волнуя слух прозрачным
боем,
В сердцах не затухающий мотив.
В нем — озаренье неба и порыв.
И Родины счастливая безбрежность,
Ее забот взыскательная нежность,
Волшебная краса лесов и нив.
И марши революции моей.
И вещая весна победных дней:
В сияющих раскатах перезвона
Гремят салюты одухотворенно.
И сердце
жадно
ловит каждый звук.
И в нем запечатленное мгновенье
Осмысленною силою прозренья
Высвечивает
жизни
новый круг...

ЗАБОТЫ НЕБА

Оно посылает снежинки
В рассветную даль горизонтов.
Потом выверяет их крылья
По звездным узорам вселенной.
И холит.
И носит по свету
В руках облаков многослойных,
Пронизанных стрелами молний,
Овеянных ветрами странствий.
Оно открывает им солнце
И дум голубых бескорыстье.
И зорь чистоту.
И надежды.
И песни зовущих высот.
Оно посвящает их в память
Разумных и вещих заветов,
Которыми люди и боги
В эпохи минувших столетий
С лихвой наделили его.
А после
оно на планету
Свои посылает снежинки,
Чтоб стала добрее и чище
От белых снежинок Земля...

ПЕРВЫЙ ПРЫЖОК

Вчера ребята приобщились к небу.
И сын
в прыжок отвесный, затяжной
Шагнул,
крыло оставив за спиной,
И плавно вниз пошел,
к просторам хлебным.
Отчетливо
в глазах росла земля,
Поля и реки
выгибая трудно.
Стучало сердце,
меряя секунды,
Кольцо рукою трогать не веля.

Я знаю,
как
сбываются мечты.
И победить себя
не так-то просто.
Лети и жди:
сработает устройство,
И распахнется
радость
высоты.
И выдержка его не подвела:
Свободное паденье срезав круто,
Он распахнулся, купол парашюта,
И синева
в ладони
потекла...
Стоит мой сын
среди цветов и трав.
Впервые он
сошел на землю
с неба,
И ты, аэродром, его поздравь.
Завидую:
такую радость мне бы!
В нем юность
опаленная моя,
Что грозно начиналась
под Варшавой,
Вчера взошла
счастливо
над державой:
Дороги
продолжают
сыновья.

ДОН

Виталию Закруткину

Ты, как радуга детства,
Слепи мне глаза,
Но разлукой меня не кори:
До сих пор бригантины твоей паруса
Озаряют меня изнутри.

Вот она: ветер в солнечных вантах гудит.
Алый флаг — в развороте крутом.
И высокие мачты уходят в зенит.
И вода как лазурь за бортом.

Бригантина...
Ее нелегко сохранить,
Хоть и даль горизонтов светла.
Это счастье, когда путеводная нить
И любовь не сгорают дотла...

Под обрывом камыш ловит голос волны.
Веет волглой прохладой песка.
Я смотрю в твою синь, и сиротские сны
Проплывают в провале виска.

Но, размыв отраженье,
Ты смыл мою грусть.
Зачерпнув стылой влаги в ладонь,
Вновь губами к твоей чистоте прикоснусь,
И по жилам польется огонь.

И зажгутся в твоей глубине облака,
Словно буйная грива коня...
Ты течешь в моей жизни не годы — века.
Хорошо, что ты есть у меня.

ОСЕННЕЕ

Капли на липах голых
Тонко провисли вниз.
В них, как янтарь, тяжелых,
Тысячи солнц зажглись.

Кружится отраженно
Вечного неба синь.
Небо горит на кленах
И на ветвях осин.

Над перекрестком просек
Ясная даль плывет.
Щедро пылает осень
Всей красотой высот.

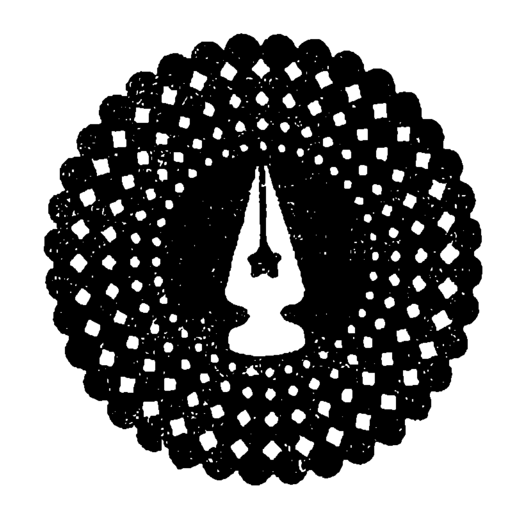
Льются потоки света
Прямо в душу мою.
Я, высотой согретый,
Небо благодарю.

И снегири гурьбою,
Прыгая там и тут,
Весело надо мною
Капельки неба пьют.

МОСКВА ВЕЧЕРНЯЯ

С Ленинских гор
Дай обнять тебя взором:
Чашу рекордов — твои Лужники,
Мост и метро над прохладой реки
И Комсомольский, летящий просторно.
Столько огней!
Хоть и сумерки в силе —
Я без труда различаю вдали
Улицы,
Парки,
Высотные шпили,
Словно людей, что мне в душу вошли.
Вон корпуса именитых заводов
Так многотрубно плывут в вышине, —
Знаешь, я счастлив: сквозь грозы и годы
Пульс твой наполненный
бьется во мне.
Я не искал безопасных обочин.
Ветер опасностей жег мне лицо.
Славный мой город, солдат и рабочий!
Я как твое окружное кольцо:
Пальцы сцепил, переполнен тобою,
Здесь до утра охраняю твой сон...
Светится Кремль первозданной красою,
Радугой дерзостных звезд озарен.





ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

Виктор ПОДКОВА

С ДУМОЙ О ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ

...перевод сельского хозяйства на индустриальную основу — одна из коренных наших задач.

Ключевой проблемой партийного руководства сельским хозяйством была и остается работа с кадрами.

Л. И. БРЕЖНЕВ.
Из доклада на Пленуме ЦК КПСС
3 июля 1978 года

Середина июля, разгар лета, а нынче дождь — льет, льет и льет неделю подряд. Загорский район — одно из красивейших мест Подмосковья, но в такую погоду тускнеют краски, дождь как бы смывает природную красоту, все вокруг — и кроны деревьев по обочинам дороги, и асфальт, и крыши домов — блестит тяжелым металлическим блеском. И даже когда дождь перестанет ненадолго, кажется, что воздух насыщен мельчайшими водяными каплями так, что трудно дышать.

Время горячее — полным ходом идет заготовка кормов, вот-вот начнется уборка урожая, а в такую погоду это не-

легко. Тяжело сейчас и на фермах — трава на выгонах сырая, снижаются надои. Даже на птицу, которая содержится в закрытых помещениях, влажность действует не лучшим образом.

Лев Евгеньевич Хреновской сидит за рулем «уазика», механически следит за дорогой, за идущими на большой скорости встречными грузовиками, и все мысли его сосредоточены на главном событии сегодняшнего дня — пленуме Загорского райкома партии, на котором будут обсуждаться задачи тружеников района в свете постановления июльского Пленума ЦК КПСС. Ему предстоит выступить как секретарю парткома одного из передовых хозяйств района.

Ему есть о чем сказать. Урожайность зерновых в хозяйстве более 40 центнеров с гектара, это неплохо даже для Украины. Надои — более 5000 килограммов молока в год от каждой коровы — результат заметный и в масштабе всей страны. Планы по сдаче говядины, мяса птицы, яиц, молока перевыполняются. Заготовка кормов, несмотря на дожди, идет с опережением графика — тут план будет перекрыт, смогут даже помочь другим хозяйствам. С такими показателями не стыдно выйти на трибуну. Но не это занимало мысли секретаря парткома. Коммунисты района собираются, чтобы обсудить новые задачи, поставленные Пленумом ЦК КПСС. Задачи эти огромны, такие никогда еще не стояли перед тружениками села. Он, как секретарь парткома, лично ответствен за успешное решение этих задач.

...Вот уже и поселок Березники — центральная усадьба хозяйства. Новые дома со всеми удобствами, школа, детский комбинат, универмаг. Только контора хозяйства еще ютится в старом помещении, но и она в этом году справит новоселье. Административное здание начали строить в последнюю очередь, зато рабочим, живущим в поселке, созданы все условия.

Лев Евгеньевич свернул с шоссе и, взглянув на часы — половина седьмого утра, — включил радиоприемник. Вот уже около трех лет практически каждый день подъезжает он к конторе в это время и включает радио — послушать прогноз погоды. «В Москве и Подмосковье в ближайшие сутки ожидаются дожди». Сквозь профессиональную бесстрастность в голосе диктора чувствовалась досада, которая передалась и Льву Евгеньевичу. Он резко щелкнул выключателем и остановил машину возле приземистого одноэтажного здания с вывеской: «Племенной птицеводческий завод «Смена».

Да, именно так называется хозяйство. Не колхоз, не совхоз — завод. Название это говорит о многом. О том, что это высшая организационная форма сельскохозяйственного предприятия, уже прочно стоящего на промышленных рельсах. Но, с другой стороны, и о том, что название это устремлено в будущее, ибо не все задачи еще решены, не все проблемы.

Дверь директорского кабинета приоткрыта, оттуда слышатся голоса. Директор, как всегда, уже на месте. Вызвал кого-то из главных специалистов. Директор Лев Ипполитович Тучемский, кандидат сельскохозяйственных наук, — почти одногодок секретаря парткома, ему тоже чуть больше тридцати. Они пришли сюда вместе около трех лет назад, сменив старое руководство, и за это время, не говоря уж обо всем остальном, прибыль хозяйства выросла с шестисот тысяч до полутора миллионов рублей в год.

В кабинет вошел секретарь комитета комсомола Михаил Орлов.

— Вот, Лев Евгеньевич, мы решили! — без предисловий выпалил он. — Решили вызвать на соревнование ветеранов... — И, заметив удивленный взгляд хозяина кабинета, горячо добавил: — Вы не сомневайтесь, мы все продумали!

Секретарь парткома слушал его, пряча невольную улыбку. Однако же заело комсомольцев! На последнем парткоме слушали отчет комсомольской организации, и Лев Евгеньевич, довольно, впрочем, мягко заметил, что комсомольцам надо бы подумать о новых формах соревнования. Видимо, это было воспринято как упрек. Хотя упрекать комсомольцев никто не собирался. Как раз наоборот. Сразу, как закончился Пленум ЦК, они приняли повышенные обязательства. Комсомольцы — машинисты АВМ (агрегата витаминной муки) Николай Ефремов и Александр Воронин обязались перевыполнить план на 25 тонн, а фактически дали уже 46 тонн сверхплановой продукции. Шоферы-комсомольцы Владимир Комаров и Александр Демидов обеспечивали своим товарищам бесперебойный подвоз зеленой массы с полей. В птицеводческом цехе комсомольская группа операторов-селекционеров перекрыла норму вдвое. «Комсомольский прожектор» под руководством Анатолия Ефремова провел рейд по заготовке сена. Когда начали формировать звенья по уборке зерновых, в каждом звене был создан пост «Комсомольского прожектора». Словом, ни одно серьезное, насущное для хозяйства дело не обошлось без комсомола.

— Значит, решили потягаться с ветеранами? — переспросил секретарь парткома. — Что ж, это интересно, ново... А не боятся ребята? Ведь по итогам соревнования можно и премий немалых лишиться, и доплат...

— Мы и об этом думали. В общем, никто не испугался. Но комитет решил так: деньгами рискнуть нетрудно, а честь — другое дело. Поэтому каждую кандидатуру ставили на голосование. Отобрали лучших.

Пока происходил этот разговор, в кабинете собирался народ. Люди заходили и, поздоровавшись, садились на стулья, ждали, пока освободится секретарь парткома. Кое-кого из них он вызывал на сегодня, кто-то пришел сам. Здесь была и Валентина Петровна Челнокова, управляющая первым отделением. Кавалер орденов «Знак Почета» и Трудового Красного Знамени. Под ее началом полеводческая бригада из 25 механизаторов и молочная ферма. Становление ее как руководителя тесно связано со становлением хозяйства. Более десяти лет назад пришла она работать в отделение. Урожайность зерновых была тогда менее 15 центнеров с гектара, надои молока около 3000 килограммов на корову. Сейчас эти цифры поднялись соответственно до 42 центнеров и 5000 килограммов. Вот в постановлении Пленума ЦК записано: «Довести в одиннадцатой пятилетке средний по стране удой молока от одной коровы... до 3000 килограммов, а в районах развитого молочного животноводства выйти на рубежи 4—5 тыс. килограммов», «...повсеместно обеспечить динамичный рост урожайности зерновых культур, доведя ее в среднем по стране до 20 центнеров с гектара». В отделении, да и в целом по хозяйству вышли на эти рубежи, а по зерновым даже

перекрыли их уже в середине десятой пятилетки. И это происходит не на Украине, не на Кубани, а в Нечерноземье.

За счет чего это достигнуто?

«Когда пришел новый директор...»

Лев Евгеньевич заметил: с этой фразы всегда начинают передовики «Смены» свой рассказ гостям — будь то журналисты или делегация, приехавшая перенимать опыт. Но это факт: изменения начались именно три года назад...

Так вот, когда пришел новый директор (и с ним новый секретарь парткома), урожайность в 40 центнеров зерна с гектара была мечтой. Взялись за культуру земледелия. Сейчас легко сказать «взялись», а тогда это понятие — культура земледелия — было для многих механизаторов некой отвлеченностью, не связанной с землей.

Но скоро все поняли, что ничего сложного тут нет. Культура земледелия — хозяйское, грамотное отношение к обработке земли. То, о чем всегда было известно, да не всегда осуществлялось на деле. Паши без огрехов, запахивай до последнего сантиметра края, следи за исправностью каждой детали в каждом агрегате, сей и убирай точно в срок и так далее. Были, конечно, и трудности. Например, с перекрестным севом. Времени он отнимает в два раза больше, что при сжатых до предела сроках сева немаловажный фактор. Зато при таком способе зерно распределяется по полю равномерно и урожайность заметно повышается. Сейчас никто уже не задумывается, как сеять, всем ясно — только перекрестным способом. Конечно, культура земледелия — это большие заботы, но и большая отдача. Сейчас механизатор зарабатывает в среднем 300 рублей в месяц, а в конце года — до 2 тысяч премиальных.

Всего этого можно, оказывается, добиться и в нечерноземной зоне. Пример земледельцев и животноводов «Смены» говорит о том, что Пленум ЦК ставит перед сельским хозяйством нашей страны вполне выполнимые, реальные задачи. Надо только умело и грамотно подходить к их решению.

Валентина Петровна пришла к секретарю согласовать последние приготовления к уборке зерновых. На предыдущем заседании парткома был поднят вопрос о создании партгрупп в уборочных звеньях. Основная задача этих партгрупп — организация социалистического соревнования, ежедневное подведение итогов, выпуск «молний» и т. д. Если в «Смене» говорят, что соревнование — мощный стимул, это не пустой звук, и в этом нет ни капли натяжки. Действительно стимул, и моральный и материальный. Достигается это простым и доступным для всех хозяйств способом. Вот, скажем, комбайнер по итогам дня вышел победителем. Вечером ему тут же, в поле, вручается вымпел и денежная премия (кстати, не деньгами, а талоном в бухгалтерию, который он может реализовать в день зарплаты. У лучших механизаторов из таких талонов по 3—5 рублей за полмесяца набегает изрядная сумма). На полевом стане бригады вывешивается «молния» с сообщением о его успехе. Такая же «молния» висит у конторы хозяйства, у подъезда дома, где он живет. Каждому приятно, возвращаясь после трудового дня, видеть, что о твоем успехе знают и товарищи по работе, и руководство, и соседи. Такие итоги в полеводстве, в птицеводстве и в животноводстве подводятся еженедельно, ежемесячно. Семьям особо отличивших-

ся работников направляют специальные благодарственные письма.

— В шестидесятых годах мы по пять центнеров с гектара ежегодно добавляли, — говорила Валентина Петровна. — С пятнадцати до двадцати центнеров урожайность поднять одно дело, а сейчас с 41 до 42 — совсем другое. Придется учитывать каждую мелочь, каждую возможность. Привлечь все резервы...

— Так уж и все? — улыбнулся секретарь парткома. — И про запас ничего не оставим? На будущий год?

Ему всегда нравилась четкость и определенность, с которой Валентина Петровна умела формулировать мысли, ее мужская логика и то, что она умела не только хорошо работать, руководить мужчинами-механизаторами, но и хорошо сказать — ясно и просто.

И еще одна черта Валентины Петровны — абсолютная искренность во всем. Ведь вот встречаются еще среди руководителей среднего звена этакие хитроватые, себе на уме, люди. У них всегда есть в «заначке» какой-нибудь секрет, который они при нужде пустят в дело. Но сделают это так, чтобы никто не заметил. И порою выручат все хозяйство. Их уважают, считают незаменимыми, чуть ли не волшебниками. На самом же деле такой «незаменимый» не видит дальше своего носа. Он единоличник современного типа. Хозяйство он выручит. А район, область, страна в целом? Руководитель в наше время обязан мыслить по-государственному. Иначе задач, поставленных Пленумом, не решить. Лев Евгеньевич давно присматривался к Челноковой и с удовольствием отмечал в ней черты руководителя нового типа, современной генерации. Она никогда и ничего не держала в «заначке», делилась всеми секретами.

— Про запас всегда что-нибудь остается. — Валентина Петровна тоже улыбнулась. — Вот, скажем, мы нынче сеяли не самым лучшим зерном. В следующем году это учтем. А сейчас надо взять максимум того, что выросло. — И она четко, пункт за пунктом изложила свои соображения. Партгруппы в зерноуборочных звеньях себя оправдали — это хорошо. Паспорта качества, которые имеет каждый механизатор, — что-то вроде талонов предупреждений, где ежедневно отмечаются все плюсы и минусы работы, — тоже делают свое дело. Все вроде бы хорошо, но в этом году дули сильные ветры, и хлеб положило на землю. При уборке придется применять специальные приспособления, чтобы избежать потерь зерна. Она предлагает нацелить партгруппы на то, чтобы при подведении итогов соревнования максимально учитывалась эффективность использования этих приспособлений. И еще — включить в паспорта качества особый пункт, тоже учитывающий эту эффективность. Причем этот пункт должен быть максимально весомым, чтобы он заметно влиял на общие итоги. Таким образом, достигается двойной контроль за использованием приспособлений — партийный и административный.

Лев Евгеньевич внимательно слушал ее и согласно кивал головой. Это как раз и было то новое, о чем шла речь на последнем парткоме.

— А кормить механизаторов в этом году опять сама будешь? — спросил он, когда Валентина Петровна собралась уже

уходить. — Это вроде и не входит в обязанности управляющего отделением...

Дело в том, что как-то раз заведующая столовой Надежда Хренова удивилась при секретаре парткома, что управляющая первым отделением почему-то сама приезжает за обедом и сама его развозит по полям.

— Кормить опять сама буду, — ответила она. — У меня тут своя стратегия. Я и покормлю, я и поругаю, если надо. Да мы с ними друг друга понимаем...

Вот такая она, Валентина Петровна Челнокова. И строгая, и добрая, и искренняя, и непростая. Характер. Личность. После разговора с ней всегда остается уверенность: в отделении, которым она руководит, все будет в порядке.

Лев Евгеньевич принял еще несколько человек, глянул на часы и засобирался в Загорск.

Дождь не прекращался. Лев Евгеньевич медленно ехал по шоссе, обдумывая свое выступление на пленуме райкома. Сказать надо о многом. Надо выбрать главное. Он вспомнил недавний разговор с бывшим директором «Смены» Алексеем Ивановичем Скибиным, ныне пенсионером. Это было спустя несколько дней после того, как в газетах появились материалы Пленума. Они и послужили поводом для разговора. Собственно, это был даже не разговор: Алексей Иванович говорил, а он слушал.

— Вот прочитал доклад, постановление, и что-то во мне поднялось, вспомнил старое, — как бы смущаясь, говорил Алексей Иванович. — Вспомнил еще один Пленум ЦК, мартовский шестьдесят пятого года. Честно сказать, мы тогда не совсем еще и понимали, какой это поворот в сельском хозяйстве. Это ведь только сейчас все хорошо видать, а в то время... Приехал я вместе с представителями министерства принимать дела в хозяйство. А хозяйства-то и нет... Есть две с половиной тысячи гектаров пашни. Урожайность зерновых — семь центнеров с гектара. Есть пять механизаторов и полтора трактора. Фермы разбросаны по семи деревням, ютятся в каких-то сараях. О надоях и говорить нечего... Пришли в контору — пусто. Директор сбегал куда-то, принес два стула. Потом оказалось, согнал с них бухгалтеров, чтобы нас посадить.

Принял я дела, начал работать. Помню, пришла ведомость на зарплату. Смотрю — заработки по шестнадцать, восемнадцать, двадцать рублей. Ну, думаю, возмутятся люди. Ничего подобного. Прошел день зарплаты — все спокойно. Понял, что живут они здесь не на эту зарплату — кто личным хозяйством, кто на стороне подрабатывает. И еще понял: надо прежде всего искать подход к людям. Заинтересовать их. Пошел к механизаторам, потолковал с ними. Убеждал: поставим на ноги хозяйство — заживем как люди. Поверили, стали работать, создали звенья, собрали урожай. И когда ко мне в день зарплаты прибежал кто-то из рабочих возмущаться, я чуть не обнял его. Значит, интерес появился!

Лев Евгеньевич слушал старого хозяйственника и думал, что у них-то сейчас другие задачи, никакой проблемы с кадрами нет, люди и так никуда не уйдут.

— ...Моральный стимул великая вещь, — продолжал между тем Скибин. — Подходит недавно ко мне старушка, бывшая колхозница, говорит: помнишь, мол, Иваныч, как мне грамоту-то

за хорошую работу давал? Она у меня по сей день хранится.

Я, конечно, не помню, много грамот приходилось подписывать.

...Не обижайся, секретарь. но и ты иногда агрономов да зоотехников подменяешь. Твое дело — работать с людьми. Вот, скажем, вспашка плохая, всходы недружные. Иной из вас тут же готов сам сесть на трактор и перепахать. А ты лучше вызови на партком хозяйственных руководителей, с них спроси. Люди главное, люди. Не напрасно и в докладе на Пленуме говорилось, что ключевой проблемой была и остается работа с кадрами. Мы это иногда недооцениваем.

...Но и не со всякими кадрами можно работать. Вот вы сменили многих специалистов. А я с ними десять лет проработал. Но правильно сделали. В мое время они были на месте. Уровень был не тот, что сейчас. А когда поднялось хозяйство, они не смогли подняться на новый уровень. Думаешь, я ушел на пенсию и ничего уже не знаю? А я долго к вам с директором приглядывался: молодые, думаю, по возрасту в сыновья мне годятся, куда-то повернут хозяйство? Нет, смотрю, здорово взялись. И работа идет, и, главное, настрой в коллективе хороший. Значит, есть будущее.

Та же мысль красной нитью проходила через выступление второго секретаря Загорского райкома партии Валентина Николаевича Миронова, который вел пленум.

— Все мы внимательно изучили постановление Пленума Центрального Комитета КПСС, — говорил он. — Там прямо записано: «Считать главной задачей в сельском хозяйстве всестороннее, динамичное развитие и значительное повышение эффективности всех его отраслей, надежное снабжение страны продовольствием и сельскохозяйственным сырьем с тем, чтобы обеспечить дальнейшее повышение уровня жизни народа. Всемерно наращивать усилия для решения задачи сближения материальных и культурно-бытовых условий жизни города и деревни».

Что уже сделано и делается в нашем районе для решения этой главной задачи? С 1965 года, который для всех нас в течение многих лет являлся точкой отсчета, урожайность зерновых поднялась с 12 до 28 центнеров с гектара. Годовая сдача молока государству увеличилась с 15 до 28 тысяч тонн. По итогам 1977 года район получил переходящее Красное знамя ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. Но есть и существенные недостатки в нашей работе. Вот, скажем, мы теперь в среднем вносим 13 тонн удобрений на гектар. Этого очень мало в Нечерноземье. Надо бы минимум 25 тонн. Количество жилой площади на одного работающего увеличилось с 1,7 до 7 квадратных метров. Тем не менее этого недостаточно. Теперь у нас новая точка отсчета — 1978 год, июльский Пленум ЦК. Начинается новый этап в развитии сельского хозяйства страны, которому партия уделяет все больше внимания. Может быть, через 10 лет наши хозяйства нам будут казаться такими же слабыми, какими кажутся сейчас хозяйства 1965 года. Но это потребует длительного, упорного труда.

Решение задач, поставленных Пленумом, следует начинать с людей. Все идет от них — и успехи и недостатки производства. Положительное явление в этом плане — омоложение кадров в наших хозяйствах, в том числе руководящих. Но этого недоста-

точно. Надо внимательнее относиться к людям, больше поощрять тех, кто этого заслуживает.

Потом, уже в неофициальной обстановке, он еще развил и пояснил свою мысль:

— Поругаешь человека, поймет он свои ошибки или не поймет, а неприятный осадок у него останется. После этого он в лучшем случае будет работать, как говорится, за страх, а не за совесть. В наше время мы не можем позволить себе такую роскошь, чтобы человек работал «за страх». Нам нужно только «за совесть». Иначе задач, поставленных Пленумом, не решишь...

Из горкома они вышли вместе — директор «Смены» Лев Ипполитович Тучемский, секретарь парткома и председатель рабочкома Галина Александровна Волкова. Сегодня у них намечалась встреча с выпускниками школы, решившими идти работать в хозяйство, и директор предложил всем вместе заехать в школу, посмотреть, как идет ремонт, чем можно помочь, и на месте решить все вопросы. Это, кстати, стиль его работы — решать все на месте, без проволочек.

Для школы племзавод сделал многое. Хозяйство помогло построить новое трехэтажное здание по типу городских школ. За счет хозяйства настелили паркетные полы, оборудовали кабинеты — физический, химический, лингафонный, биологический, столярную и слесарную мастерские. Рядом со школой построили корпус производственного обучения, где разместился класс для занятий будущих механизаторов и гараж. Школа безвозмездно получила от хозяйства два трактора и две автомашины для практических занятий. Впрочем, всего не перечислить. Недаром Лев Ипполитович, как директор хозяйства, работающего в тесном контакте со школой, был избран делегатом последнего съезда учителей.

Они вместе с директором школы Софьей Константиновной Александровой ходят по зданию, заглядывают в кабинеты, смотрят, как сделан ремонт, записывают, что еще нужно сделать.

Софья Константиновна рассказывает, как идут дела, что необходимо в первую очередь, и в ее голосе нет-нет да и проскальзывают педагогические, наставительные нотки, видимо, в силу молодости собеседников. И они понимают ее — Софья Константиновна отдала работе в школе 27 лет, и любой из них по возрасту мог быть ее учеником.

В здании школы еще полным ходом идет ремонт, а в производственном корпусе идеальный порядок. Тракторы и машины в гараже вымыты до блеска. В классе для занятий все покрашено, расставлено на свои места. Столы и стулья, электрифицированные карты и таблицы по стенам, наглядные пособия, действующие модели разнообразных сельхозмашин.

— Все это, между прочим, сделано руками самих ребят, — говорит Софья Александровна. — Видите эти столы и стулья? Полгода назад они были списаны за негодностью. Вообще, это была куча ножек, спинок, сидений. А теперь, как видите, не отличишь от новых. Это, конечно, заслуга Виктора Спиридоновича. Вот уж повезло мне с ним, слов нет. Ребята просто души в нем не чают. А недавно вот что случилось. Иду как-то ночью, часов около двенадцати, смотрю, а в классе свет горит. Что, думаю, такое? Захожу, а там Виктор Спиридонович, человек пять

ребят и один из родителей. Мастерят какое-то наглядное пособие. «Вы что, — спрашиваю, — так поздно здесь?» А родитель и отвечает: да вот, мол, я за сыном пришел. Он у меня третий день к полуночи домой заявляется, я думал, может, в плохую компанию попал или еще что. Пошел проверить, да и сам застрял...

Виктор Спиридонович Попов — преподаватель производственного обучения. Работает он в школе недавно, но его уже успели полюбить и ребята, и родители, и учителя. Выпускники этого года, занимавшиеся в его производственном классе, получили удостоверения механизаторов. И в том, что сегодня состоится встреча с выпускниками, немалая его заслуга. Кроме того, из нескольких девятиклассников организовано комсомольско-молодежное звено, которое под руководством В. С. Попова обязалось убрать 100 тонн зерна.

— Что ж, мне кажется, все идет нормально, — закончив осмотр, сказал Тучемский. — Но это, Софья Константиновна, только начало. В этом году начнем строить учебные классы для подготовки животноводов и птицеводов. Нынче же найдем вам преподавателей производственного обучения по этому профилю. Обязательно с высшим образованием. Затем построим плавательный бассейн, стрелковый тир. Закупим породистых лошадей, организуем школу верховой езды.

— Спасибо, Лев Ипполитович.

— За что, Софья Александровна? Мы, можно сказать, для себя стараемся. Ваши ученики — дети наших работников. В будущем многие из них тоже придут в хозяйство.

Лишь после посещения школы секретарь парткома сумел выкроить время, чтобы съездить на агрегат витаминной муки (АВМ), посмотреть, как идет заготовка этого ценного в зимних условиях корма. Собственно, АВМ — это не один, а два агрегата под одной крышей. Заготовка идет двумя потоками. Один за другим сюда подъезжают самосвалы со свежескошенной травой, она по конвейеру поступает в бункер с температурой под 1000 градусов, затем перемалывается в муку, засыпается в мешки, и ее отвозят на склад. Очень важно, чтобы с момента скашивания до полной готовности муки прошло не более двух часов. Иначе трава теряет свои питательные свойства. Вот что говорил об этом Л. И. Брежнев в своем докладе на Пленуме: «...средние потери питательных веществ в кормах в связи с примитивными методами их приготовления и неудовлетворительными условиями хранения во многих хозяйствах... составляют более 20—30 процентов...» И далее: «Надо повысить ответственность кадров за обеспечение животноводства кормами. Этот показатель должен быть одним из важнейших критериев оценки работы в сельском хозяйстве».

На АВМ «Смены» потери питательных веществ сведены к нулю. Через час после скашивания травы приготовленная из нее витаминная мука поступает на склад. Оно и неудивительно: руководит этим ответственным участком работы тот же Виктор Спиридонович Попов, преподаватель производственного обучения. Когда подходишь к помещению АВМ, сразу чувствуется его рука: при входе висит доска показателей, любовно обработанная методом художественного обжига. На доске цифры, говорящие сами за себя. План — 200 тонн витаминной муки. Обязательства

в ответ на решения Пленума ЦК — 260 тонн. Сделано на сегодняшний день — 291 тонна. Но заготовка кормов продолжается неослабевающими темпами. И будет продолжаться, пока есть трава.

Лев Евгеньевич глянул на часы. Времени до встречи с выпускниками оставалось в обрез. Встреча эта — важное дело. Надо, чтобы ребята, идущие работать в хозяйство, заранее знали, что руководство заинтересовано в них. Что им сразу дадут новую технику, за каждым закрепят опытного наставника. Сегодняшние выпускники — будущее хозяйства. А к будущему тут относятся серьезно.

* * *

Сейчас, когда конец года уже не за горами и уже ясно, что коллектив «Смены» вновь перевыполнит годовое задание, мне вспоминается тот дождливый июль. Трудным он был на земле Подмосковья. Но работники сельского хозяйства, делом отвечая на решения Пленума ЦК, преодолели все трудности, вышли победителями в борьбе за урожай, сдали государству дополнительные тонны продукции. Немалая в том заслуга сельских коммунистов, партийных организаций, про которые Л. И. Брежнев сказал в своем докладе на Пленуме: «...сельские коммунисты составляют крупную боеспособную армию. Основа ее — первичные партийные организации... Именно от их настойчивой и целеустремленной работы, умения воодушевить и организовать людей в решающей мере зависит последовательное и эффективное проведение аграрной политики партии».

●

Владимир БУТ

«ЕСЛИ Б СЕНА ВПАДАЛА В АЗОВСКОЕ МОРЕ...»

1. Человек на другом конце провода

Не знаю, как он выглядит, я не видел его. Я слышал лишь голос:

— Любопытную статейку вы тиснули. «На разных языках» называется. Так сказать, мы и Запад. Мы, само собой, молодцы, мы лучше. У нас превалирует духовное начало. Мы народ читающий... Нашим артистам рукоплещут даже в Карнеги-холл...

Голос молодой, с только-только окрепшими басовитыми нотками и настораживающий своей нагловатой иронией.

— А как прикажете расценивать то, чем вы сами возмущаетесь в своей газете: одного склочники затравили, другому предложили подать «по собственному желанию» — начальству не угодил... Как быть с бюрократизмом, хамством? Вы изнемогаете от борьбы с ними, а они все равно то тут, то там вылезают на свет божий? Вам не надоело критиковать плохие фильмы, скучные пьесы, решать вечную проблему: то одного, то другого нет в продаже?.. Как-то вы с пафосом писали, что у нас начали выпускать портативные цветные телевизоры и стереофонические кассетные магнито-

фоны. Между прочим, в Америке их можно было купить еще лет пятнадцать назад...

Мне представилось: он сидит, откинувшись в кресле, саркастически щурится...

— ...а в Западной Германии...

Кто-то еще был там, в комнате. Он «работал на публику».

— ...а во Франции...

Он говорил правду. Склочники у нас действительно не перевелись. Есть и «начальники», оценивающие подчиненных отнюдь не по деловым качествам. Не застрахованы мы и от бюрократизма, и от хамства. Становиться им поперек дороги — долг каждого. Нельзя, однако, не признать, что делаем мы это подчас без достаточной глубины, без попытки подняться над «отдельным» фактом, увидеть за ним явление и рубить плохое под корень.... Да, далеко не все наши театральные постановки, кинофильмы хороши. Верно и то, что в ассортименте товаров у нас нет еще много нужного; и что в известной мере проблема это «вечная», поскольку запросы людей растут и всегда будет требоваться что-то новое в нашем предметном окружении; и что американцы раньше нас — вот ведь какие мы разнесчастные! — наладили массовое производство тех самых телевизоров и магнитофонов, а наша косметика менее популярна, чем французская...

— Молчите? — с прокурорским апломбом вопрошал он на другом конце телефонного провода.

Захотелось посмотреть на него.

— Зайдите, пожалуйста, к нам в редакцию.

— А зачем? — спросил он со смешком. — Я и так знаю, что мы выплавляем больше всех стали, строим самые большие гидростанции и являемся пионерами покорения космоса...

И повесил трубку.

...Редакционным телефонам не приходится скучать. Треск их прерывает нас на полуслове, заставляет отложить ручку, даже если нужно срочно готовить материал в номер. «Бесцеремонность» эта не раздражает. Ведь телефон звонит неспроста: кому-то надо сказать редакции что-то очень важное...

Вот снова.

— Мы у себя на «Трехгорке» обсудили статью «Не вещи обогащают человека». Плохие действительно не обогащают. А хорошие? Вот написали, как улучшаем качество наших тканей...

За соседним столом товарищ листает подшивку, отыскивая заметку, в которой, как только что сообщил по телефону один читатель, есть неточность. Неприятно, но что поделаешь, случается...

И вдруг этот анонимный звонок. Он словно из другого мира. Иезуитски непринужденный тон, отравленные желчью слова... И это последнее, глумливое, как подножка: «Зайти? А зачем?»

Я уже встречал его однажды.

2. Оса на носу

Поезд проламывал темноту. Ударялись в окна игольчатые огни полустанков, отскакивали прочь...

Под стук колес хорошо думается, и порой большой удачей представляется молчаливый попутчик.

Мне не повезло. Человек говорил без умолку. Лицо в тени, мертвенный свет фонаря под потолком купе освещал острые колени, руки — тонкие, с длинными нервными пальцами. Он рассуждал о жизни. Ему было девятнадцать. И все ему не нравилось. Его окружали неинтеллигентные люди с ограниченными запросами. Не смешно ли: они даже не слышали о бестселлере Уильяма Питера Блэтти «Экзорсист», не знают, что поп-музыка включает в себя десятки стилей, и хлопают глазами при упоминании о неокиче... Он послал документы в архитектурный, но его не очень радует перспектива учиться у людей, не понимающих, что в градостроительстве лишь модернизм способен наилучшим образом выразить дух нашего атомного века...

Поводы побрюзжать попадались ему на каждом шагу, как грибы после дождя.

— И это называется радио! — возмущался, вертя ручку потрескивающего репродуктора. — То ли дело «Филипс». Недавно видел у одного последнюю модель...

В стране происходили великие события. Сдвигались горы, и морские волны гуляли там, где прежде властвовали суховеи, гремела слава Самотлора и КамАЗа, врубалась в таежную чащобу магистраль века — Байкало-Амурская, карта пестрела новыми названиями городов. Все это было вокруг него...

— Послушай, будущий архитектор, — свесилась вдруг с верхней полки чья-то курчавая голова, — я вот тоже, признаться, во многом не сведущ. Объясни-ка, что такое неокич?

— О, это сила! — загорелся он, обрадованный возможностью блеснуть эрудицией. — Во Франции построили дом в виде башмака. Парадный подъезд сделан в носке. Окна — там, где шнурки, а по верхнему ранту балконы...

— Ну и кому нужен такой дом?

— У вас какая квартира? — иронически поглядел он на собеседника.

— Обыкновенная. Две комнаты. В серийном доме.

— Вот, вот, в серийном... А я хочу жить в доме, который непохож на другие. Хочу иметь необычную обстановку. Знаете, какой интерьер предлагает знаменитый французский декоратор Николя? Люстра в виде человеческой головы, торшер, состоящий из двух широко раскрытых глаз и кричащего рта, телевизор, вмонтированный в женский торс... Так вот все это неокич — новый, современный стиль в архитектуре, в прикладном искусстве...

Кое-что об этом «стиле» я знал. В свое время понятие «кич» означало все низкопробное, антихудожественное, порожденное творческим бессилием. Неокич возник на Западе в шестидесятых годах как проекция вкусов озверевшей от сытости современной буржуазии на искусство. Это сознательное производство уродливых, антиэстетических «произведений», предметов быта на потребу западному обывателю, старающемуся утвердить себя в обладании «сногсшибательной роскошью», которая, как он считает, способна выделить его из «серой» массы. Ради этого нищий духом, но обладающий толстой мошной буржуа способен пойти на любые расходы.

А «будущий архитектор» между тем продолжал:

— Мне хочется, чтобы мою квартиру украшали нестандартные картины, скульптуры... Я слышал, на одной выставке работ модернистов была показана фигура, сделанная из соляного блока. Посетители гадали, что это. Представляете, какой был фурор, когда они узнавали, что автором произведения была... корова, которой надоела пресная пища?! Она-то и изваяла эту скульптуру языком. Рухнуть можно! А у нас... что ни картина, то домны, плотины, монтажники-высотники, кочегары-плотники...

Ему было невдомек, что то, чем он восхищался, называли шарлатанством даже видавшие виды буржуазные критики.

— А наши эстрадные ансамбли! Это же смех...

Ему хотелось не «приевшейся всем» мелодичности, а «взрыва», встряски, этакого «удара по нервам».

Он понятия не имел, что «удар по нервам» — изобретение обанкротившихся западных дельцов от искусства. Видя, что «новейшие» направления модернизма в той же музыке изрядно всем поднадоели, они пытаются вдохнуть в них коммуникабельность не художественными, а механическими средствами. Достигается это увеличением децибелл. Оруженосцы поп-арта в изобразительном искусстве, стараясь подогреть все более падающий интерес к нему, додумались до применения так называемых «психовитаминов». Зрителю, для того чтобы он «понял» бредовые полотна модернистов, предлагается непосредственно перед просмотром принять небольшую дозу наркотика. Не так ли стали наркоманами многие из тех, кто клюнул на этот способ «прозреть»?

Увы, подобные «детали» не сообщаются в радиопередачах «для полуночников», на благодарного слушателя которых явно смахивал наш девятнадцатилетний скептик. Заокеанские «просветители» не ставят перед собой задачу рассказывать о подлинном, реалистическом искусстве Запада, о его лучших представителях, о прогрессивных деятелях культуры, отстаивающих идеалы мира, свободы, равенства, гуманизма. Их радиостряпня совсем иного свойства. Она рассчитана на тех «эрудитов», для которых словеса вроде «поп-арт», «неокич» служат чуть ли не опознавательными знаками человеческой культуры.

— А наше кино, — морщился он, — ну что это за фильмы? Ни настоящих страстей, ни секса...

— Послушай, приятель, — не выдержал его собеседник, — а у тебя оса на носу.

Он взмахнул рукой, посмотрел недоуменно.

— Нет, этак ее не смахнуть. Оса-то невидимая. Однако мельтешит перед глазами так, что за нею ты ничего не видишь вокруг.

Он понял, скривился.

— Как прикажете избавиться от этого насекомого?

— Ты куда едешь?

— В Ялту.

— Сойди на следующей станции и купи билет до Тынды.

На следующей станции он перешел... в другое купе.

3. Физиологическая засуха

Мой анонимный собеседник, пожалуй, лишь усмехнулся бы: «Это был не я...» Да, конечно. Но почему после разговора с ним мне вспомнился этот курортник по призванию?

В памяти оживают все новые детали той встречи.

— Безобразие! — устраиваясь на новом месте, кричал «будущий архитектор» в лицо пожилой проводнице. — Постелить пассажиру постель — ваша обязанность!

— Не имеете права запретить! Это вагон для курящих, — выговаривал женщине, попросившей его погасить сигарету.

И опять, наверное, последовало бы недоуменное пожатие плечами: «Ничего такого я не делал...»

Да, так вел себя другой. Их разделяли пространство и время, они не имели понятия друг о друге. И все же эти выкрики, это «не имеете права» принадлежали и тому, на другом конце провода...

В одном садовом питомнике я видел дерево с пожухлыми листьями. Странно выглядело оно среди моря цветущих яблонь.

— Физиологическая засуха, — объяснил старый садовод. — Понимаете, навалились на эти ветки солнце, воздух, все блага небесные, а корень-то жидковатый, к земле не природнился, соков взять не способен...

Думаю, с автором анонимного звонка, как с тем моим незадачливым попутчиком, случилось то же.

Жаль, однако, что у него, скажем мягко, «не хватило характера» зайти в редакцию... Но... вдруг на глаза ему попадутся эти строки? И разговор наш все же состоится? Так, может, и в самом деле побеседуем? И на «ты» перейдем? Чтобы по-мужски, на равных...

Человек прирастает к земле, бросив пшеничное зерно в борозду, заложив кирпич в фундамент здания. Ты ничего еще не взрастил, не построил. Щедро обласканный теплом и светом, но лишенный земных корней, ты напоминаешь засыхающее дерево. Это болезнь. Болезнь души, пораженной физиологической засухой — недуг с ярко выраженными симптомами: умственной близорукостью, манией исключительности, неуважением к людям, к труду...

4. Шесть из девяти тысяч дней

...Никогда не видел я дневника, подобного тому, который показал мне однажды Владимир К. Это было в Бресте. Как и каждый, кто приезжает в этот город, я при первой же возможности пошел посмотреть легендарную цитадель над Бугом. Был сентябрь, воскресенье. Народу оказалось много. Внимание мое привлек мужчина лет пятидесяти пяти, в сером костюме, худощавый, с посеребренными висками. Осматривая крепость, он украдкой вытирал глаза.

Все было понятно: на этих бастионах стояли насмерть наши солдаты...

В такие минуты не принято разговаривать. Тем более с незнакомым. Но... не знаю, что сыграло роль: то ли профессио-

нальное любопытство (подумалось: может, он из тех, кто воевал тут?), то ли настоятельная потребность поделиться с кем-нибудь нахлынувшими чувствами. Я подошел.

— Ради того, чтобы взглянуть на эти камни, можно приехать с Дальнего Востока!

— Да, — отозвался он. — Но кое-кому приходится ехать с противоположной стороны...

Заметив мой недоуменный взгляд, он кивнул в сторону черного «мерседеса»:

— Садитесь, подвезу... Вы ведь, наверное, в гостиницу?

— А, вот в чем дело... Судя по этой машине, — сказал я, — вам недурно жилось там, на «противоположной стороне»?

Он посмотрел на меня с сожалением, усмехнулся:

— Милый человек... Что вы знаете о моей жизни! — И уже серьезно добавил: — А по машине судить не советую...

Так мы познакомились.

Вечером того же дня он и показал мне свой необычный дневник. В нем было всего шесть записей. Первая начиналась словами: «Как я съел телеграфный столб».

— Это, конечно, шутка? — спросил я.

— Это правда. В баланду, в «брот», которым кормили нас в лагере, фашисты подмешивали опилки. Так вот, я подсчитал, что за годы плена мы съели по телеграфному столбу...

После войны он остался в Западной Германии. Почему?

Помню запись, датированную июлем 1945 года:

«...солнечные пляжи или ледяная пустыня? Жизнь или смерть? Мальчики требуют ответа...»

— Что это?

Он объяснил: страх. Был лагерь за Эльбой для перемещенных, были разговоры с американцами, еще с какими-то людьми, были «проверенные» сведения: «В России пропадешь...» Человек, едва вырвавшийся из фашистского ада, надломленный физически и духовно, принял все это за чистую монету.

Через десять лет он написал в дневнике: «Все — обман. Волки поедают овец. Но я выскочил из загона. Теперь у меня свой гешефт».

Две даты стояли в тетради рядом: июль 1945-го и сентябрь 1955-го. А между ними?

— Вы знаете, что такое бродяжничество? — спросил он. — Замызганный костюмчик, отвратительный запах помойки, озноб на рассвете, дразнящий вид колбас в витринах...

Люди женятся по любви. Он женился от отчаяния. Немка-вдова годилась ему в матери. Но у нее был магазин... Потом судился с наследниками. Кое-что получил, открыл ателье. Настал его черед считать доходы. Он яростно старался увеличить их. Рос счет в банке. У подъезда засверкал «мерседес». В азарте приобретательства покупал все без разбора. Приелось, стал гоняться за диковинками...

И вдруг случилось непредвиденное. Однажды обнаружилось, что все ему осточертело и ничего не хочется.

А газеты рассказывали страшное. Повесилась женщина. Какой-то эмигрант отравил себя газом. Людям нечего было есть.

Наверное, им можно было помочь — дать денег, что-либо из этого дорогого тряпья. Он смотрел на свои набитые шкафы и испытывал такое чувство, словно причастен к убийству.

Пугался этих мыслей, а еще пуще — мыслей о России. Хотел спрятаться от них, от самого себя. Но куда? Громко, так громко, что на всей земле было слышно, напоминала о себе Россия. Что там, как?.. Попытался представить себе родные места, и сделал еще одно открытие: выросший в привольной степи, теперь он не помнил, какая она весной, как пахнет сено, как звучат на закате песни колхозных девчат и о чем они, эти песни, — ничего не помнил...

А что дальше? Продолжать «делать» деньги?.. Но сколько можно их «делать» и что можно на них купить? Еще один «мерседес»? Неужто ради этого забыл он все: отчий дом, близких?.. Сейчас он был бы уже опытным хирургом. Спасенные им люди, встречая его на улице, говорили бы: «Спасибо вам». Так говорят сейчас тому Петьке Архимеду, с которым в школьные годы мечтали они стать медиками... Еще несколько лет назад попался ему на глаза портрет в одном журнале. Там было сказано, что Петька умеет делать чудеса. А что умеет он, неуч, барышник? Мусолить кредитки, ловко повязывать бабочки и подать кровавые бифштексы...

И это там называли счастьем! Его считали «любимцем фортуны», ему отчаянно завидовали. Он жил, как червь, и эта его «жизнь» была пределом мечтаний для многих...

«Жалок, жесток и страшен этот мир, — написал он в дневнике в феврале 1965 года. — Здесь не живут, а существуют. Даже те, у кого есть чековая книжка...»

Больше всего он боялся слова «политика», старался отгородиться от всего, что стояло за ним. Но политика сама вторглась в его судьбу.

Еще в первые месяцы в «свободном мире» он познал безработицу, сносил оскорбления, видел, как жажда обогащения превращает людей в зверье. Не замечал только, что все это не случайно, а закономерно. Причислял себя к неудачникам и на том успокоился, хотя те же неудачи переживали все вокруг.

Когда выбрался в «счастливчики», к нему пришли репортеры.

Почему не приходили они раньше? Все объяснялось просто — он был одним из тех, для кого, а теперь стал тем, о ком они обязаны были писать: он стал объектом политики. «Смотрите, — писали о нем в газете, — вот человек, которому Запад дал все. Верьте, вам тоже повезет...»

Люди смотрели и верили в фортуну, надеялись на чудо. Но теперь он твердо знал: это ложь. Неудачников не становилось меньше. Не судьба была виновата. Строй жизни, при котором все продается и покупается. Вывод напрашивался сам собой: если ты ничего не можешь изменить в этом мире, то надо порвать с ним!

Но однажды к нему явился человек, туманно отрекомендовавшийся представителем «мыслящей эмиграции»:

— Вы, кажется, собираетесь в Россию? Откажитесь от этого шага. Иначе...

Он указал «представителю» на дверь. Это случилось утром. А вечером его зверски избили на улице. Попал в больницу. Там

и появились в старой тетради слова: «...Дальше так жить нельзя. Домой, и только домой!» Это была уже его собственная политика...

До отъезда оставались часы. Внизу ждала машина. Весь день, всю ночь он будет гнать ее с огромной скоростью и с восходом солнца пересечет границу...

В комнате было тихо. Он сидел за столом и писал: «Дни, недели, годы... Из них складывается жизнь, складывается у каждого по-своему. Я встречал людей, у которых никогда не хватает времени. Они часто вздыхают: «Опять не успел...» Не успел выполнить интересную работу, дочитать умную книгу, сходить в театр...

У меня было слишком много свободного времени. Я мог бы иметь, но не имел любимого дела. Оглядываюсь назад, ощущаю безмолвную пустоту, где не услышишь даже эха в ответ на крик отчаяния. Мелькают лица, проносятся видения, звучат обрывки разговоров, будто все эти годы я сидел в каком-то поезде, несущемся неизвестно куда и зачем...»

Мещанство, потребительство возникло не сегодня. И не сегодня родилось презрение к нему. Вспоминаются в этой связи слова великого русского педагога К. Д. Ушинского. Едва ли они известны тебе! Тем более послушай: «...что вы скажете о жизни, которая вся была бы убита на приобретение роскошной мебели, покойных экипажей, бархатов, кисей, тонких сукон, благовонных сигар, модных шляпок?» И далее: «...можно надеяться, что человечество, наконец, устанет гнаться за внешними удобствами жизни и пойдет создавать гораздо прочнейшие удобства в самом человеке, убедившись не на словах только, а на деле, что главные источники нашего счастья и величия не в вещах и порядках, нас окружающих, а в нас самих».

Надо сказать — и отнюдь не в утешение тебе! — что К. Д. Ушинский был не совсем прав. Уповая на силу лишь нравственно-педагогического воздействия, он разделял иллюзии своего времени. Сегодня неправомерно смотреть на вещи, как на некий «источник морального зла». Сторонники модного ныне осуждения «вещизма», хотя и действуют из благородных побуждений, волей или неволей впадают в противоречие с насущной потребностью общества в непрерывном развитии промышленности, увеличении выпуска товаров.

Сегодня нас окружает неизмеримо больше вещей, чем вчера. Завтра к ним прибавятся десятки, сотни новых. «Мы добились немалого в улучшении материального благосостояния советского народа, — говорил на XXV съезде КПСС Леонид Ильич Брежнев. — Мы будем и дальше последовательно решать эту задачу. Необходимо, однако, чтобы рост материальных возможностей постоянно сопровождался повышением идейно-нравственного и культурного уровня людей. Иначе мы можем получить рецидивы мещанской, мелкобуржуазной психологии...»

Психология эта претерпела немало изменений. Сегодняшний мещанин одержим безудержным тщеславием. Он не сидит тихо, отгородившись от мира стенами уютной квартирки. Он прет на рожон, лезет напоказ, демонстрируя свой высокий потребительский потенциал. Ему нужны не всякие вещи. Только дефицитные, только модные — «престижные». Он полагает, что с их помощью

становится в один ряд с теми, кого наше общество щедро вознаграждает материально за добросовестный труд. И тем самым претендует уже и на общественное признание, уважение, которых не заслуживает.

Ты скажешь: «Я не из его компании. Мне не на что покупать дорогие вещи...»

Мещанину тоже не на что, потому что честный труд — не для него. Ему нужно побыстрее усесться в собственные «Жигули», нацепить на руку японский хронометр... И поэтому он лихорадочно ищет выход из положения — старается повыгоднее устроиться, завести нужные связи, не погнушается взять все, что плохо лежит. Он жаден, и этот порок толкает его на «подвиги» в поисках нетрудовых доходов, на сделки с совестью.

Ко всему прочему, мещанин еще и субъект не помнящий родства. Мещанин любит, понимает и принимает лишь то, что принадлежит лично ему. Он будет упиваться созерцанием какой-либо посредственной мазни, висящей на стенах в его квартире, сдувать пылинки с дешевых поделок под саксонский фарфор в собственном серванте, и на лице его не дрогнет мускул, если он узнает, что какой-то маньяк распорол ножом полотно Репина. Это ведь не его собственность! В реестре его личного имущества не числятся ни Суздаль, ни Эчмиадзин, ни собор Василия Блаженного, ни фрески Рублева, ни Оружейная палата... А поскольку ни в каком обозримом будущем нельзя все это заполучить в личное пользование, то пусть эти шедевры хоть синим пламенем горят!

Отсюда проистекают и все его оценочные категории: прекрасно все, что мое; великолепно все, что «престижно», чего нет у других, но может быть каким угодно способом заполучено мною. И, наконец — вот оно, главное: прекрасна жизнь, если она позволяет мне, не выбирая средств, добиваться удовлетворения своих желаний. Потому-то мещанин и взирает на Запад. Там у всех «равные возможности» — если не вышел умом, не взял трудолюбием, талантом, то можешь преспокойно орудовать кистенем на большой дороге. Там не в ходу такие «высокие материи», как честь, долг, служение обществу. Там «есть где развернуться», работая локтями и кулаками...

Ты пока еще не созрел для такой философии. Тебя не тянет в «свободный мир», как некоторых, уже успевших усвоить ее. Они отираются возле западных посольств, зарабатывают благорасположение сильных тамошнего мира вселенским плачем о «нарушении прав» человека в СССР, спекулируют, в надежде получить дивиденды, на своей фарисейской «жертвенности во имя свободы»... Как правило, кончают они плохо. Запад, при непосредственном знакомстве с ним, предстает отнюдь не таким, каким выглядит со стороны. Там не кланяются в пояс и не преподносят гостю хлеб-соль. Использовав, его вышвыривают в болото «равных возможностей». А поскольку, выросший на совсем иной почве, он и в самом деле оказывается щенком в искусстве перегрызания глоток, то вскоре обнаруживает себя на помойке.

Так вот, повторяю, ты еще далек от того, чтобы встать на такую же скользкую дорожку. Не можешь скатиться на нее.

5. Если б Сена впадала в Азовское море...

Все называли ее Лорой.

Для меня она была просто Лариской — непоседливой девчонкой с кокетливой улыбкой, серыми глазами и копной по-модному взбитых светлых волос. Нас познакомил Андрэ Дегримонт — ее отец, а поскольку по возрасту и я годился ей в отцы, между нами сразу же установилось известное неравноправие.

— Вы ни разу не были в нашем городе? — спросила она.

— Ни разу.

И вот мы бродим по улицам Жданова, смотрим на дома, на пышную, еще свежую зелень акаций. И разговариваем о Париже.

...Право же, это смешно — размышлять о том, что лучше — Париж или Жданов. Вечный город на Сене или ничем не знаменитый бывший Мариуполь?.. Два года назад ей и в голову не пришло бы колебаться в этом вопросе.

— Погоди-ка, Лариса. Что это тут написано?

Ярко светит солнце, и приходится щуриться, даже если смотреть не на него и не на море, что плещется рядом, а вот на это здание: «Здесь в 1920 году находился штаб Азовской флотилии».

— У нас не один исторический памятник. Только раньше я их как-то не замечала...

— Раньше? Что же было раньше?

...В тысячах книг рассказывается о соборе Парижской богоматери и о Елисейских полях, о том, как отрубили голову Людовику XVI и построили Эйфелеву башню... И ничего захватывающего ни разу не читала Лариса ни о своем Садковом переулке, ни об одной из соседних улиц или с детства знакомых площадей. Не плясала на них Эсмеральда, не слышали они звонкого голоса Гавроша, не прохаживались по ним ни Мирей Матье, ни Марсель Марсо, ни Азнавур...

Все это было в Париже!

Чудесный город — Париж, и, пожалуй, нет человека, который не захотел бы там побывать.

Смущало только одно: как это родители столько времени старались даже не вспоминать о Париже, будто и не родился и не вырос где-то поблизости от него отец. Почему он ничего не рассказывал о Франции? И мать не рассказывала. Ведь оба были там. Во время войны немцы угнали их в Германию — ее из Жданова, его из Фрезенвиля. В сорок пятом они встретились в городе Мец. Поженились. Приехали в Жданов...

Никогда в их доме не говорили о Париже. Особенно в присутствии отца. Было неловко перед ним. И еще почему-то обидно: все, даже соседские мальчишки, называли его Андрэ. Мать была Софьей Ивановной, сама Лариса — Андреевной, Сережка — Андреевичем. И лишь один отец был только Андрэ...

«Взял бы себе какое-нибудь отчество, — думала Лариса. — Да, видно, это непросто...»

И вдруг совсем неожиданно для нее в семье в открытую зашла речь о Франции.

— Почти двадцать лет мы живем в Жданове, — говорил матери отец. — Теперь поедем ко мне. Как ты, Лора?

Что было отвечать? Конечно, ей интересно! Уж она-то точно знала, что Париж лучше Жданова...

...Странное ощущение не покидает ее с первого дня отъезда: будто она героиня какого-то заграничного кинофильма. Где-то она видела его, и теперь лишь остается узнавать себя в отдельных кадрах. Серебристый лайнер, улыбка изящной стюардессы, фешенебельный аэропорт Орли и ночные улицы чужого города, ошеломляющего сутолокой, непривычным начертанием букв неоновых реклам...

Шустрый «ситроен» вырывается на загородное шоссе. За рулем худощавый весельчак Роже — друг отца. Где-то она уже видела такого вот доброго, всесильного Роже, который без умолку говорит отцу что-то смешное, все знает, все может, с которым они не пропадут.

Знакома ей и эта уютная квартирка в тихом Оне-су-Буа. И жена Роже — Катарина, и похожая на мальчишку черноволосая Шанталь, их дочь. Чудесные люди. Они никуда не отпустят гостей. Жить вместе веселее.

Отец без конца улыбается. Все пьют вино, громко разговаривают, и слов почти не разобрать из-за джаза...

Утром Шанталь идет в школу. Ларисе некуда идти. Можно разглядывать безделушки, листать журналы.

Вечером опять гремит музыка и хлопают пробки.

— Завтра пойдем смотреть Сену, — шепчет Лариске на ухо Шанталь, с трудом подбирая русские слова. И они идут, попросту удирают тайком. Долго трясутся в автобусе, потом слоняются по набережной. Какой-то лысый толстяк ужасно хочет покатать их на катере. Лицо у него жирное, как свиной окорок... Вечером их настигает под мостом орава длинноволосых парней на рычащих мотоциклах. Кожаные куртки, шлемы, оскаленные рты, глаза, как у псов, травящих дичь. Мотоциклисты устраивают вокруг карусель, оттесняя растерявшуюся Шанталь и ошеломленную Лариску к глухой стене. Хочется кричать, но не хватает воздуха. Редкие прохожие пробегают мимо, будто ничего не видят, не слышат. Кто знает, чем бы все кончилось, если бы не появился полицейский. Они вырываются из кольца, несутся прочь, и еще долго потом трясет их, как в ознобе.

Впервые вечером дома не гремит джаз и не звенят бокалы. И даже как-то лучше — надоедать уже начал сплошной праздник. Совсем неплохо сидеть под торшером.

Отец и Роже о чем-то разговаривают допоздна и курят, курят...

Утром Шанталь никуда не приглашает Ларису. Оказывается, у Шанталь есть еще какая-то Люси. Ну и пусть. Ларисе и самой не скучно, стоит только начать вышивать.

Получается здорово. Вот розы на подушке как живые. Неделю работала. И на Сережкином полотенце розы. Это подарок — позавчера Сережку приняли в школу. Он способный. Друзей завел. Разговаривает. Маленьким язык дается легко.

Лариса большая. Ей трудней. И в школу ее не берут. Школу она, по местным понятиям, уже кончила. То есть восьмилетку. Дальше в Париже ходят в лицей. Это как если бы Лариска, будь она в Жданове, пошла в девятый класс. Не совсем, правда, одно и то же. В девятый класс в Жданове ходят бесплатно. А в Париже за лицей надо платить.

Конечно, все это уладится. Отец найдет работу, будут деньги для лицея... Хороший у нее отец. Вот слышится его голос в коридоре. Пришел. Сейчас она сделает ему подарок. Платок, и тоже с розами.

Взгляд у отца сердитый, обидно рассеянный. Он комкает в руке кусочек расшитой белой ткани, подносит к лицу, вытирает пот и, не замечая расширенных Ларискиных глаз, кладет платок в карман, даже не взглянув на розы. Приходит Роже, и опять они сидят за перегородкой, и курят, и молчат. Сколько уже вечеров они вот так курят и молчат? Лариска не знает. Она день за днем вышивает. А сейчас ей хочется заплакать от обиды.

— Софи, Софи, полубовайся на свой сюпруг, — коверкая русские слова, кричит Роже и тихо смеется: — Он думаль, все падет ему из неба...

Отец отрывисто отвечает по-французски. Лицо его перекошено.

— О! — Роже бьет себя руками по бокам и начинает хохотать: — Ты слишаль, Софи, он посылай меня к черт.

— Ну, что ты привязался! — вскакивает отец. — Разве я виноват, что у вас тут работы нет, что жить нам негде? Соня! — поворачивается к матери. — Может, вернемся в Жданов, а? Напишем в посольство...

«Почему мать не спорит? — думает Лариска. — Чему улыбается? Ведь еще и двух месяцев не прошло, как они приехали сюда. Как же так — возвращаться?..»

— Нет, — выкрикивает Лариска, — не надо уезжать! Как вы не понимаете! Здесь лучше. Париж лучше Жданова, лучше, лучше, лучше... — стучит она ладонью по столу. Руке больно, и от этого хочется заплакать. Но Лариска продолжает вбивать в стол это слово «лучше», будто не родителям, не самой себе, а столу надо доказать, что Париж лучше... Вот только если бы не надо было платить за лицей, если бы отец мог устроиться по специальности, если бы не нужно было жить у чужих людей... Если бы... Если бы...

— Ну как, опять ничего?..

Уже третий месяц, приходя с работы, отец с порога задает матери этот вопрос. Третий месяц родители ждут ответа из посольства.

Лариска не замечает, как течет время. Они переехали в Сен-Дени к Огюсту. Это тоже почти пригород Парижа, Огюст — тоже их приятель, как и Роже, и Огюсту тоже, как до этого Роже, пришлось потесниться. Отца наконец приняли на завод Вестингауза упаковщиком. Лариска почти не видит его. Утром он уходит чуть свет на поезд, возвращается поздно.

С Шанталь они не встречались с тех самых пор... Лариска целыми днями пропадает в Шампани, там у Огюста есть запасная «крыша» — что-то вроде садового домика. Каждое утро в поездке на «виллу» ее сопровождает Жорж, в общем, Жорка — Огюст-младший, почти ровесник, кавалер и немного задавала. Задаваться ему, однако, нечего, он мечтает стать лавочником и уверяет, что ей, Лариске, надо поступать на курсы продавщиц... «Женщине, — говорит Жорка, — нечего соваться в серьезные дела».

На отца смотреть жалко. Приходит по вечерам — еле на но-

гах держится. Если б работать ему не десять, а семь часов, как прежде на заводе Ильича!..

На днях ходили по магазинам. Отец искал туфли. Фасон подходящий. Стал примерять.

— Не жмут? — спрашивает мать.

— Вроде нет.

— Тогда бери...

Спросил отец цену, посмотрел на хозяина:

— Нет, все-таки жмут!..

А в газетах пишут: тут бомбу бросили, там убили кого-то...

Если б можно было ходить по улицам, не боясь, что рядом бомба разорвется...

Приезжает Лариска с Жоркой на площадь де Голля. Смотрит на Триумфальную арку. Словно лучи, разбегаются в разные стороны ровные улицы, зелеными волнами колышутся каштаны, сверкают роскошные витрины... Нет такой арки, таких каштанов, таких витрин в Жданове...

Гуляет с отцом в воскресенье по аллеям Лувра. Поднимается на Эйфелеву башню...

«...А в воскресенье мы были на пляже», — пишет подруга Оля из Жданова. И отступают почему-тоЛарискины воскресные впечатления. Представляется жаркий день, голубая гладь залива, яхты на горизонте. Ветер шевелит Олины волосы, и ей очень хорошо.

«...Завтра собираемся у Лиды. Ты же знаешь, класс у нас дружный. Лида уезжает в Москву, в техникум, ребята — кто в мореходку, кто на завод. Решили проводы устроить. А ты где думаешь учиться? Напиши про Париж. Красивый он, наверное...»

«Да, Оля, очень красивый Париж, — мысленно отвечает Лариса подруге, — красивее не бывает. Вот только... Если бы стоял он на берегу Таганрогского залива. Если б Сена впадала в Азовское море...»

А по комнате большими шагами ходит отец и все время повторяет одно и то же: «Когда же будет ответ из посольства?»

«В самом деле, когда?» — думает Лариска.

— Папа, — срывается она с места, — дай ручку и лист бумаги.

— Отстань, Лора. Напишешь еще своей Оле.

— Да не Оле! Я в посольство напишу. Неужели там не понимают, что нам надо ехать домой...

* * *

— А вот это «Азовсталь», — показывает Лариска на дымящиеся над морем трубы. — Я решила поступать в металлургический техникум. Окончу — попрошусь на «Азовсталь» или на завод Ильича. На завод Ильича даже лучше. Будем вместе с папой ходить на работу. Он опять на старом месте — в листопрокатном цехе.

— А вот эти корпуса на горе? — спрашиваю я.

— Санаторий «Металлург». А это...

Мы пересекаем набережную и входим на территорию водной станции. Над голубой гладью бассейна, отгороженного от моря высоким пирсом, поднимается ажурная вышка для прыжков в воду. Поодаль покачиваются лодки, катера, яхты.

— Это «Азовсталь» для своих рабочих построила! — торжественно сообщает мне Лариска. — Я такой станции, чтобы так оборудована была, даже на Сене не видела.

— Просто ты, наверное, не всю Сену видела. Чтобы в Париже и не было первоклассной водной станции? Не верится.

— Есть, конечно, — без особого энтузиазма соглашается Лариска. — Еще архитектура там красивая... А вы видели наш проспект Революции?

— Видел.

— А театр у нас какой! А новый район, где мы теперь живем! Дома как игрушки... Ну, что еще о Париже сказать? Город знаменитых писателей, художников... А вы знаете, что Куинджи тут, у нас, родился?

Я признаюсь, что не знал этого.

— И я раньше не знала. А теперь знаю. И картины его... А Чехов! Он же таганрогский! Это же рядом! Да, вот еще, чуть не забыла: одеваются в Париже модно. Я, когда вижу на людях некрасивую одежду, то мне хочется пойти учиться на модельера... А сейчас мы к вокзалу подходим. Вокзал у нас еще не очень. Но я это место люблю.

— А что в нем особенного?

— Видели бы вы, как встречали нас, когда мы приехали из Парижа! Народу собралось человек двести! Вся наша улица тут была. Папины друзья с завода, мамины подруги, с которыми она росла... Поздравляли с возвращением, обнимали. Теперь я поняла: папе надо было съездить во Францию. Очень он по ней тосковал. Ведь это его родина. Ни один человек не может жить без родины. Я бы не смогла. И мама, и Сережка не смогли бы жить во Франции, если бы даже денег хватало. Папа это увидел сразу. А потом начались всякие «если бы»... Тогда он первый сказал: вернемся. И уезжал радостный, хоть и уезжал навсегда. В Англии, например, или в Канаде он бы тоже не смог остаться. Папа все время говорит: лучше русских людей на свете нет...

Окончание следует



ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА

Виктор ШИРОКОВ

СКАКУНЫ СУЙМЕНКУЛА

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ СОВРЕМЕННИКА

По Боомскому ущелью шел улан — свирепый, морозный ветер с Тянь-Шаня. Плотной стеной падал он с далеких вершин и катился крутой, мощной волной по горным долинам, в дугу сгибая редкие деревца и кустарник джерганак, перекручивая пыль и снег в хлесткие жгуты. Шквалы улана всегда неожиданны и неудержимы. Когда этот ветер схватывается с сан-ташем — восточным ветром, на Иссык-Куле начинается такая кутерьма, что даже суда с хорошей осадкой не рискуют выходить в киргизское море...

Неподалеку от Рыбачьего, поселка на берегу Иссык-Куля, в самой щели Боома, шли съемки фильма «Улан». Режиссер студии «Киргизфильм» Толомуш Океев в тулупе, подпоясанном солдатским ремнем, с лицом, отшлифованным ветром, походил скорее на чабана. Он «пас» свою «отару» сурово, а порой и просто безжалостно. Но ветер и без того добавлял съемочной группе энергии — подхлестывал, торопил. Океев нетерпеливо кричал:

— Дым! Сделайте мне дым!

И ему делали нужный дым — в костер

летели куски железнодорожных шпал, старые покрышки, какое-то тряпье. И в этом дыму медленно проплывал пассажирский вагон, в одном из окон которого виден был Суйменкул Чокморов — по фильму Азат, главный герой, если только можно назвать героем человека, который пережил падение, которого мотало по пьяным компаниям, по тюрьмам. Отстраненно смотрел он вдаль, и взгляд у него был даже не печальный — трагичный, словно сам себя сжигал человек на самом страшном костре — собственного суда...

Дубль первый, третий, пятый... Наконец Суйменкул в ватнике и потертой шапчонке спрыгнул на землю полустанка, пошел к нам, высокий, сутуловатый — весь еще во власти играемой роли. Безобразный уродливый шрам пересекал его узкое темное лицо. Я даже вздрогнул:

— Суйменкул, где тебя так?

— Не пугайся — грим...

Шестой год знаю Суйменкула Чокморова. Протягиваю ему руку, вспоминаю места, где мы с ним встречались.

Московская гостиница «Юность», шумная, разноязычная, всегда какая-то «транзитная» из-за отчаянной молодости ее постояльцев. Здесь он был удивительно к месту, он был своим среди громкоголосых командиров студенческих строительных отрядов, печальных, молчаливых чилийских комсомольцев, голенастых баскетболисток, улыбчивых африканцев. И мы уже знали, что Чокморов награжден премией Ленинского комсомола страны...

Холмы над Иссык-Кулем, где он долго пытался «поймать» невероятную, фантастическую гамму тонов и полутонов озерной воды, бешено работал кистью, бессильно ронял руки перед мольбертом...

Городской стадион «Спартак», когда Суйменкул привставал в волнении, а его брат, игрок «Алги» Марс Чокморов, свирепо шел на ворота противника...

Его студия — небольшая продолговатая комната над Союзом художников. На мольберте новая картина, герой которой со временем стал традиционным для творчества Чокморова: легендарный исполнитель киргизского эпоса «Манас» манасчи Саякбай Каралаев. Человек, которого он чтил как своего учителя...

Чабанская юрта.

Машина, стремительно летящая к предгорьям хребта Ала-Тоо...

Просмотровый зал киностудии, где мелькают, казалось бы, беспорядочные кадры кинопроб...

Улица горного аила...

С удивлением вдруг понимаю: а ведь ни разу у нас не было с ним неспешной беседы за столом, в чинной, тихой обстановке! Все время он в деле, в движении, словно стучит в нем двигатель с неистощимым атомным подзарядом. И разговоры наши всегда стремительны, конкретны и лаконичны.

Впрочем, сказать, что в Суйменкуле Чокморове работает как бы некий «перпетуум мобиле» — это было бы далеко не точным. Бывают у него минуты и даже часы и дни, когда ничего «моторного» в нем нет, кроме, быть может, работы сердца и ума. Тогда становится он медлителен, замкнут, сосредоточен. Тогда окружающим ясно: идет в Суйменкуле тяжкая работа души, размышляет он над очередной ролью или сюжетом будущей картины. И не надо ему мешать...

В круговерти журналистского беспокойного житья не всегда я понимал это, обижался подчас на Чокморова за его подчеркнутую отстраненность, неразговорчивость. Теперь казню себя за минуты наивной обидчивости. И понимаю: художника надо беречь. Тем более, если это настоящий художник.

Велика наша страна и обильна талантами. Если бы на карту ее нанести — хотя бы по географическому признаку распределенными — имена творцов — дивная, наверное, мозаика вышла бы! В любом самом дальнем уголке нашей Родины найдешь их, людей светлого дара. И это прекрасно. Прекрасно то, что грани этих талантов неповторимы. Иначе и быть не может. Не должно. Единая социалистическая советская культура корнями своими глубоко уходит в национальную почву. И тем она жива, тем разнообразна, тем ценна.

...Чем дольше живу в Киргизии, чем лучше узнаю Чокморова, тем больше вижу в нем типично киргизских национальных черт. Весь он — порождение национального духа, олицетворенное продолжение и развитие лучших черт национального характера. Потому и расцениваю его талант как сумму национальных и социальных качеств. Впрочем, оговорюсь: людей в искусстве Киргизии, подобных Суйменкулу Чокморову, множество. К большинству из них высокие эти слова я мог бы отнести с полной ответственностью. Просто на примере Чокморова мне удалось четче всего проследить динамику становления киргизского художника и киноактера, единого, так сказать, в двух лицах, в двух ипостасях. А это важно, ибо в этом случае речь идет о влиянии ленинских идей, идей Октября, национальной политики на культуру и искусство горного края.

А потому оставим пока Суйменкула Чокморова в очередной его роли в Боомском ущелье и обратимся к его «истокам» как гражданина и как художника.

...Большим искусником был старый Чокмор. К нему ехали из далеких аилов, не жалели времени: только бы вернуться назад с уздечкой и седлом, украшенными чеканкой этого мастера. О, джигиты понимали толк в красоте! Для горцев, которые живут среди природы, суровой и скупой на внешние красоты, для горцев, привыкших к жизни строгой, спартанской, красота детали в одежде или в рисунке ковров — ала-кийизов и ак-ширдаков, — в точеной рукояти камчи из рога горного козла-теке — составляла порой предмет подлинной нескрываемой гордости.

А каким податливым и послушным становилось в руках старого Чокмора дерево! В аиле Чон-Таш, что лежит под самыми вершинами Киргизского хребта, не было дома, где бы не стояли на столах чашки и пиалы его работы. И не было другого такого мастера по телегам и саням во всей округе. Комузы, которые вышли из его ладоней, пели словно ветер в голубом занебесье, словно сказочные Синие птицы, словно девушки на высокогорном джайлоо в часы великого тоя.

Да, он был уже не молод, но стоило Чокмору прыгнуть в седло, и юные джигиты знали: аксакал не уступит никому в лихом улак-тартыше — козлодранье, не уступит ни в силе, ни в ловкости, ни в находчивости.

Нет Чокмора. Давно он ушел. Остались его дети — Чокморовы, которым подарил он в наследство счастливую и яростную

жадность к жизни. Много детей у старого мастера, но по общему признанию семьи больше всего похож на отца Суйменкул. Щедростью души, обилием талантов, непоказным, но плодоносным трудолюбием.

Да, он унаследовал от отца большие способности. А если уж идти дальше, то получил он их от всего своего народа, который, как, впрочем, и любой другой народ, изначально талантлив. Когда-то царские наместники всячески старались унизить киргизов — «дикокаменных» номадов, аборигенов, живущих якобы едва ли не в каменном веке. Но не они, эти колонизаторы, отягченные «бременем белого человека», принесли сюда цивилизованную культуру, не они пестовали все ценное, что пронес киргизский народ сквозь века. Таких осуждал еще Н. А. Добролюбов: «...Настоящий патриотизм, как частное проявление любви к человечеству, не уживается с неприязнью к отдельным народностям».

Чиновников Киргизия интересовала прежде всего как источник природных богатств, как сырьевой придаток, как колония. Где уж им было интересоваться духовным миром «инородцев»!

Иным было отношение передовой русской интеллигенции, в частности, русских ученых-путешественников. П. П. Семенов-Тян-Шанский, Н. А. Северцов, А. П. Федченко, Н. М. Пржевальский и другие с величайшим интересом знакомились с обычаями, нравами, традициями, бытом и культурой киргизов. Ученый-путешественник Б. И. Липский писал об этом народе: «Это близкое к природе племя, способное к культуре, живое, чуждое мусульманской инертности и мертвенности».

Основания для такого вывода были самые весомые: «туземцы», как презрительно звали киргизов чиновники всевозможных канцелярий, создали величайший из мировых эпосов «Манас». Казахский ученый-просветитель Чокан Валиханов так оценивал эту жемчужину устной народной поэзии: «...Энциклопедическое собрание всех киргизских мифов, сказок, преданий, приведенное к одному времени и сгруппированное около одного лица — богатыря Манаса. Это нечто вроде степной Илиады. Образ жизни, обычаи, нравы, география, религиозные и медицинские познания киргизов и международные отношения их нашли свое выражение в этой огромной эпопее».

Еще эмоциональнее оценивает «Манас» наш современник Чингиз Айтматов: «Манас» — эпос-океан... По широте охвата жизненных явлений «Манас» занимает одно из выдающихся мест среди мировой эпики».

Суйменкул Чокморов — сын народа, имеющего не только богатую историю и культуру, но и обладающего замечательным качеством — восприимчивостью к соседним культурам. Так, киргизы быстро установили добрососедские отношения с русскими переселенцами, учились у них землепашеству, сами учили их жизни в горах. Балалайка и комуз роднились на общих праздниках.

...После окончания Фрунзенского художественного училища Суйменкул Чокморов поступил в Академию художеств в Ленинграде. Однажды всей группой во дворе академии они писали с натуры коня. Суйменкул так соскучился по верховой езде, что не выдержал, подошел в перерыве к конюху. Вначале тот не

соглашался ни в какую — боялся, что юноша упадет. Это он-то, чуть ли не из люльки пересевший в седло!

Потом конюх сдался. Суйменкул взлетел в седло, едва коснувшись стремени, с удовольствием прогарцевал по двору несколько кругов. И тут его окликнули из-за ограды:

— Вы кто?

Чокморов растерялся:

— Я? Киргиз...

— Мы снимаем фильм «Джура», не могли бы вы завтра зайти на студию «Ленфильм» на фотопробы?

Весь остаток дня, вечер и ночь напролет Суйменкула одолевала целая буря чувств. Сниматься в кино? А как же учеба в академии? Настолько наивен он был, уверенный, что от проб до съемок — один шаг.

Но на пробах он все же побывал. Все как будто складывалось удачно: спустя некоторое время его вызвали во Фрунзе, уже на кинопробы.

Недели две пробыл он дома, на родине, но до кинопроб дело не дошло. Кого-то не устраивали морщины на лице Суйменкула, появлявшиеся, когда он улыбался. Так что первая встреча с кинематографом была для него полна разочарования.

Основательно открыл Чокморова для кино режиссер Болот Шамшиев. К тому времени Чокморов уже закончил Академию художеств, работал заместителем директора Фрунзенского художественного училища, в котором когда-то учился и сам. С головой ушел он в свои обязанности: занимался общественной работой, много писал — маслом и акварелью, играл в волейбол.

Шамшиев искал главного героя для фильма «Выстрел на перевале Караш». Он долго присматривался к Чокморову, прежде чем предложил ему попробовать себя в этой роли. Помня о своей первой неудаче, Суйменкул поначалу отказался наотрез. Но Шамшиев уговорил его, хотя для молодого режиссера, готовящегося снимать свой первый художественный фильм, это был большой риск. Но то было время, когда киргизская художественная кинематография переживала особый подъем, и взлет ее во многом объяснялся именно такой вот решительной, безоглядной смелостью в выборе актеров на роли, в подборе сценариев и даже самих кандидатур режиссеров.

Начали с небольших этюдов, сценок, статических планов. Шамшиев требовал от Чокморова органичности, простоты. Не надо играть, говорил он Суйменкулу, надо чувствовать, переживать, соощущать вместе с героем. Надо, чтобы актеру было «удобно» в его чувствах.

Суйменкула Чокморова утвердили в главной роли. Это была большая ответственность. Из училища пришлось уйти. Поначалу было непривычно без любимой работы, насыщенной и перенасыщенной общественными обязанностями. И только позже он понял, что социальная активность в киноискусстве может проявляться не менее ярко и полно, чем в любой другой сфере деятельности. Ведь кино — это работа большого общественного звучания, воспитательный рычаг огромной мощности.

Одновременно с ходом работы над фильмом шла его кинематографическая учеба. Он наблюдал за теми, кто трудится рядом. Особенно за профессиональными артистами. За такими, как Советбек Джумадылов, обладавший большим актерским потенциа-

лом. Актер опытный, эмоциональный и темпераментный, он умел точно, не переиграв, воплотить замысел режиссера. Присматривался к игре народных артисток СССР Даркуль Куюковой и Бакен Кадыкеевой. Много почерпнул у Ж. Джангорозовой, тонко и с блеском играющей образы киргизских женщин.

Много времени Суйменкул стал проводить в зрительном зале — осваивал «механизм» игры ведущих актеров страны. Ближе других оказался ему Ульянов. Он как ручей в горном ущелье — сам темперамент, накал, страсть.

Многое дал Чокморову Жан Габен. В его игре не было никаких внешних усложнений, но за этой простотой стояла подлинная сложность значительной личности, которую очень тонко чувствует и воспринимает современный кинозритель. А это так трудно — отыскать дорогу к сердцу и уму человека, сидящего в волшебной полутьме кинотеатра...

Но у кого-то, кажется, у Делакруа, прозвучала такая мысль: зная многих, оставайся самим собой. Суйменкул понимал, что самая большая опасность — потерять свою индивидуальность. Ведь даже лучшие образцы ничего не дадут, если не будешь «лепить» свое кинематографическое лицо, строить свой характер.

Это было самым сложным, и на это нельзя было жалеть ни времени, ни сил. Даже в дружеской компании до сих пор любит он шаржировать своих знакомых и приятелей жестом или мимикой — это «лицедейство» тоже помогает «переселению» в образ.

Работа над образом героя фильма стала для него постоянным преодолением неумения, незнания, неопытности. Он вспоминал, как снимали один из эпизодов «Выстрела на перевале Караш». Бактыгул, роль которого играл Чокморов, теряет сына, жену. Остается любимый конь — самое дорогое теперь для него существо. Но вот в реке гибнет и он. Бактыгул выходит из воды, сотрясаемый рыданиями. Это трагедия...

Готовиться к эпизоду начали заранее, и все-таки, когда начались съемки, у Суйменкула ничего не получалось. Была осень, подмораживало. Чокморов отказался сниматься, ушел в горы. Болот Шамшиев догнал его, стал уговаривать попробовать еще — от этого эпизода зависела судьба фильма и дальнейших съемок. Как вызвать в себе то состояние, в котором находился Бактыгул? Ведь, казалось, уже все было испробовано. И вот тогда, словно по наитию, начал он разжигать в себе злость на режиссера, сознательно провоцировать и себя и его на ссору. Вдобавок стал вспоминать все плохое и обидное, что случалось в жизни. Почувствовал — приходит, накатывает тяжелое, несвойственное ему чувство злобы, обиды, бесконечной обездоленности. Стараясь не потерять в себе это состояние, молча зашагал к реке, ожесточенно вымазал лицо илом и грязью, сам выплеснул на себя два ведра ледяной воды — и съемка началась. Хватило его всего на два дубля, но кадры удались. Шамшиев был страшно доволен, Чокморов схватил воспаление легких, а лента получила первый приз на фестивале фильмов Среднеазиатских республик. Суйменкулу вручили диплом за лучшее исполнение мужской роли.

По этому поводу Чокморов как-то сказал мне:

— С тех пор я снимался во многих фильмах, а по анкете журналистов и киноработников однажды даже вошел в «велико-

лепную семерку» вместе с Ульяновым, Смоктуновским, Чурсиной... Но до сих пор не верю, когда говорят: «Актер преобразился». От себя не уйдешь. Просто артист должен дать личный, только ему свойственный ответ на поставленную перед ним задачу. В этом — его преображение...

Суйменкул Чокморов — не профессиональный киноартист. Он прежде всего художник. Портрет сказителя «Манаса» Саякбая Каралаева, выполненный им в глубоких голубовато-серых и синих тонах считается достижением киргизской портретной живописи. Но тем не менее премию Ленинского комсомола страны 1972 года Чокморов получил именно за работу в кино — «за талантливое художественное воплощение образов советских людей, за создание кинопроизведений, воспитывающих у молодежи гражданственность, мужество, любовь к Родине».

И все-таки я не удержался как-то от вопроса, ставшего для него уже традиционным:

— Суйменкул, художник и киноактер — не слишком ли это разноплановые увлечения? Не мешает одно другому?

Ответил он по-восточному витиевато:

— Киргизы говорят: если у тебя есть скакун, ты богат. Если у тебя хороший скакун, в аламан-байге ты будешь первым. А у меня целых два «скакуна» — живопись и кино, значит, я вдвое богаче!.. Нет, — продолжал он, — эти мои привязанности не противостоят, они взаимно дополняют и обогащают друг друга. Удивляюсь людям, которые жалуются на нехватку времени. Жизнь, мне кажется, строить надо так плотно, чтобы не было бесполезных, пустых минут... Работа киноактера чрезвычайно напряженна, но тем не менее и в ней есть просветы. Камера «крутится» самое большее пять минут, и даже при множестве дублей можно выкроить время, чтобы с мольбертом уйти в горы, в степь, к озеру. Кроме того, пасмурная погода чаще всего не подходит для съемок, зато как нельзя лучше устраивает художника.

В свою очередь, профессиональный взгляд художника помогает мне мысленно видеть кадр, зримо, в красках представлять предстоящий эпизод, находить свое место на съемочной площадке точно и безошибочно. Постановка кадра — это ведь где-то «вокруг» живописи. Даже мои актерские поездки обогащают меня как художника ассоциациями, творческими спорами, насыщенной поисками атмосферой. Я в поездках стараюсь не терять времени — даже из окна вагона иной раз делаю беглые наброски для памяти. После пригодится...

Ассистенты могут забыть какую-то деталь моего актерского костюма. Взгляд художника-профессионала никогда не пропустит ни малейшей неточности — будь то заплата или прореха на рубахе конокрада или пуговица на комиссарской кожанке. А за мольбертом учу себя терпению, которое так необходимо киноактеру и которого мне иногда так не хватает... Исполнение ролей незаурядных личностей подвигнуло меня в живописи к жанру портрета. Тут «обратная связь» кинематографа и живописи.

Суйменкул усмехнулся:

— На одной из выставок моих работ в книге отзывов появилась запись: «Так кто же вы, Чокморов, артист или художник?» Я воспринял ее как упрек в дилетантстве. Почему-то сложилось

твердое мнение: успеха и подлинной глубины можно добиться лишь в том случае, если занимаешься в жизни чем-то одним. Разумеется, времена Леонардо да Винчи прошли, но можно ли и нужно ли считать разносторонность человека признаком его дилетантства? Где гарантия того, что твои потенциальные возможности исчерпываются только одним делом, увлечением, профессией? Стоит ли наступать «на горло собственной песне», если песня эта никак не укладывается в продуманную наперед «партитуру» жизни?! Поиск себя, своего призвания требует известного мужества. И, мне кажется, не моя беда, а мое счастье, что я решился на этот поиск...

Как-то мы с Суйменкулом взялись считать фильмы, снятые на студии «Киргизфильм», и перечислять призы и дипломы, завоеванные ими у нас в стране и за рубежом. Получалась очень неплохая коллекция. Эти удачи порой определяют как звездный час киргизского кино. «Чем объяснить такой взлет?» — спросил я тогда Чокморова.

— Звездный час — это, может быть, слишком громко, — заметил он. — Но кино Киргизии сегодня действительно на подъеме. На мой взгляд, причиной тому — большой отряд талантливых молодых режиссеров и операторов, пришедших в художественное кино через документалистику. Болот Шамшиев, Толомуш Океев, Геннадий Базаров, лауреат премии Ленинского комсомола Киргизии, оператор высокого класса Кадыржан Кыдыралиев, — все они начинали с хроники, документальные фильмы были для них школой познания натуры, университетом жизненной правды. И переход к художественному кинематографу был для многих из них естествен и органичен.

Как правило, в основе сценариев нашей студии лежат произведения большой литературы. Это, несомненно, сказалось на художественном уровне киргизских фильмов.

И, наконец, нельзя не сказать о роли Чингиза Айтматова в нашем кино с чисто кинематографической точки зрения. Несмотря на свою занятость литературными делами, государственной и общественной деятельностью, он находит время поддержать поиск молодых режиссеров и актеров, интересуется их творчеством. Не случайно наши кинематографисты с большим уважением называют его «джелек-таяныч» — наша опора...

Наше искусство глубоко национально. Знание нравов, характера киргизского народа, тонкое понимание обычаев и колорита — все это обогащает фильмы, придает им своеобычное звучание.

Еще будучи только художником, я учился стойкости и оптимизму у моих земляков-колхозников, трудолюбию — у отца, терпению и благородству — у мамы. Где бы я ни был, ее образ навсегда в моем сердце. Так и запомнил я ее, так и нарисовал потом — сидящей у дерева и взглядом провожающей уходящего сына. Первого сына — Чолпонбая — она провожала до вокзала. Он погиб на войне. Она дала зарок никогда не провожать детей дальше карагача, что рос в нашем дворе, и свято выполняла эту клятву.

Наши скалы, гордые свечи тянь-шаньских елей, отары овец, высокогорные джайлоо — все это живет в сердце каждого киргизского оператора, актера, режиссера. Биение этого пульса и определяет народность нашего кино.

Как для художника и киноартиста в понимании характера нашего народа особенно много мне лично дало общение со сказителем киргизского эпоса «Манас» Саякбаем Каралаевым, на память знавшим около миллиона строк! Не случайно Чингиз Айтматов называл манасчи «Гомером XX века». Он сам был Манас, в каждом движении его, в каждом повороте головы было столько величия, гордой свободы, выразительности. Я сделал много набросков, эскизов, написал один за другим три портрета великого сказителя, и все было мало, все было не то. Чтобы быть поближе к нему, я готовил чай, ходил на базар за овощами и фруктами для аксакала. Неграмотный старик, он был прирожденным, великим артистом...

Становлению киргизского кинематографа бескорыстно и самоотверженно помогали студии «Мосфильм», «Ленфильм» и другие. Эта братская помощь, словно щедрая ветвь, была привита на крепкий подвой. Просто хотя бы ради справки стоит напомнить читателям: «Зной» был удостоен Гран-при на двух международных фестивалях — во Франкфурте-на-Майне и в Карловых Варах, получил дипломы на Всесоюзном кинофестивале в Ленинграде и кинофестивале республик Средней Азии и Казахстана. «Небо нашего детства» завоевало «Большой горный хрусталь» на смотре-конкурсе кинематографистов Средней Азии и Казахстана, почетный диплом на Международном кинофестивале азиатских фильмов во Франкфурте-на-Майне, приз «Золотая пальмовая ветвь» на кинофестивале в городе Триесте. Награждались — и неоднократно — «Джура», «Трудная переправа», «Материнское поле», «Поклонись огню», «Алые маки Иссык-Куля», в котором, кстати, главную роль играл Суйменкул Чокморов. На недавнем IX Всесоюзном кинофестивале Большой приз был присужден фильму «Белый пароход».

Так что же все-таки «звездный час»? Но дело, по-видимому, не только в исключительном опережении кинематографа, дело скорее всего в том, что все искусство, вся литература, вся культура горного края переживают сейчас свой «звездный час». И об этом надо говорить особо.

В. И. Ленин писал, что интернациональная культура не безнациональна. Но отстаивал он только прогрессивные, демократические, социалистические элементы национальной культуры. И истоками нынешнего киргизского социалистического искусства и литературы по праву считается не культура баев и манапов Ормон-хана, Джантая, Шабдана, а демократическая, выразителями и глашатаями которой были народные акыны и комузчи Токтогул Сатылганов, Тоголок Молдо, Барпы Алыкулов и другие.

Именно для поддержки и развития этой культуры еще в 1888 году передовые русские интеллигенты выдвинули идею создания первой в Киргизии библиотеки-читальни в Кара-Коле (ныне Пржевальск). Поддерживать ее существование стоило немалых трудов. Газета «Туркестанские ведомости» писала в 1903 году: «...Без спектаклей и музыкально-вокальных вечеров в пользу библиотеки и без случайных пожертвований не представлялось бы возможным сколько-нибудь порядочно вести дела библиотеки-читальни». И далее — еще горше: «Единственная в области бесплатная библиотека-читальня едва сводит концы с концами, и теперь, чтобы продлить как-нибудь свое существование, прибегла к продаже на вес газет за два минувших года». Труды

подвижников не пропали даром. В письме трудящихся Киргизской ССР ЦК ВКП(б) в ознаменование 20-летия республики говорилось: «Вместе с появлением русских на киргизской земле начали появляться тогда еще слабые ростки культуры и просвещения. Не царизм и его сатрапы, а передовые представители России несли эту культуру. Выдающиеся русские ученые-исследователи — Мушкетов, Северцов, Федченко, Семенов-Тян-Шанский, Пржевальский — первыми раскрыли и описали несметные богатства нашего края. Могучая русская культура стала источником быстрого прогресса нашего народа».

Советская власть с первых же лет приняла и понесла дальше эту эстафету гуманизма. В начале 1920 года по предложению русских учителей и интеллигенции было создано «Общество ревнителей киргизской культуры».

Общество занялось изучением национального искусства, истории и быта, сбором памятников устного народного творчества, организацией выставок. Кстати, поскольку устное народное творчество занимало в культуре киргизского народа центральное место, в 1926 году было решено взять на учет всех выдающихся музыкантов и певцов, перевести киргизские мелодии на ноты. К 1928 году было собрано и выпущено около 30 печатных листов произведений народного творчества.

В 1934 году была создана Киргизская государственная картинная галерея. Помогали в ее организации музеи Москвы, Ленинграда, братских союзных республик. Сам по себе этот факт особо примечателен, ведь до революции у киргизов живописи не было совершенно. Как, впрочем, не было ни письменности, ни театра, ни оперы, ни хореографии.

Веха за вехой в истории киргизского искусства выстраивались:

— 1926 год — открыта первая театральная студия. Спустя пять лет она будет преобразована в Киргизский государственный театр;

— 1939 год. На сцене театра звучит первая киргизская национальная опера «Ай-Чурек»;

— 1939 год. Декада киргизского искусства в Москве. После нее ЦК Компартии Киргизии наметил широкую программу развития киргизского национального искусства: открытие музыкального училища, хореографической студии, театрального училища...

У народа, никогда не владевшего письменностью, в 1934 году состоялся Первый съезд писателей. И речь на нем уже шла об овладении киргизскими литераторами широкими художественными полотнами — романом, пьесой...

Что такое 30—40 лет в истории народа? Миг в бесконечно летящем времени. Но для киргизов это были годы мощнейшего старта к вершинам мировой культуры и искусства, к осознанию себя как единой, целостной национальности, к экономическому и социальному возрождению.

Взлет этот — явление уникальное, ему, пожалуй, нет аналогов в мировой творческой практике. Тому, на мой взгляд, есть объяснение. Вот, скажем, обратимся к Чокморову. Поначалу я попросту дивился тому объему всевозможной работы, которую выполнял Суйменкул. Позже, по размышлению, понял, что жадный его азарт до работы имеет истоком своим мощные, глубинные пласты. Прежде всего, он чувствует себя прямым наследником культуры своего народа, в недрах которого век за веком рожда-

лись таланты, так и остававшиеся безвестными — у киргизов не было письменности, и потому единственными скрижалями истории служила память человеческая. В памяти этой могло затеряться имя творца, но созданное им передавалось от поколения к поколению, становясь народным достоянием. «Народ, — писал А. М. Горький, — единственный и неиссякаемый источник ценностей духовных, первый по времени, красоте и гениальности творчества философ и поэт, создавший все великие поэмы, все трагедии земли и величайшую из них — историю всемирной культуры».

Чокморов и его сверстники, мастера новой, социалистической киргизской культуры, твердо помнят: они стоят на плечах безвестных титанов. Национальными качествами искусства они обязаны им. И потому они, волею дарованной им Октябрьской революцией судьбы, получившие возможность овладевать вершинами мировой культуры, ощущают себя постоянными и неоплатными должниками перед теми, кто в глубине прошлого закладывал основы национального искусства. Сегодня они — на вершине пирамиды, нижние ступени которой скрыты во тьме времен, но основание которой тем не менее надежно и прочно. Киргизские художники, достигшие верхних ступеней этого бесконечного во времени строительства, чувствуют на своих плечах груз величайшей ответственности перед своим народом, перед будущими поколениями.

Киргизской культуре и искусству всего несколько десятилетий, если, конечно, иметь в виду только те творения, которые зафиксированы на бумаге, на кинолентах, холстах. Но ведь по-настоящему-то им — века! Перед нынешним поколением творцов стоит титаническая по объему задача: сохранить, донести до потомков то, что было создано, и, в свою очередь, умножить содержимое этой драгоценной сокровищницы. Причем сделать это надо уже на качественно ином уровне — учитывая достижения всей советской и мировой культуры, не растеряв при этом свой национальный культурный багаж. Вот откуда это безграничное трудолюбие у Чокморова, яростная жажда самоутверждения и самовыражения, которой он отличается. Тем более что надо помнить: Чокморов работает в таких видах искусства — живописи и кинематографии, — которых киргизы еще совсем, по сути, недавно не знали. Он из тех, кому эта возможность выпала впервые, а потому и спрос с него велик. Это ведь еще и историческая ответственность. Груз ее нелегок. Вот и работает Чокморов, как одержимый, покоряя высоты, которых до него не брал из киргизов никто. Наверное, и широта его интересов — тоже оттого, что в культурном смысле киргизы переживают свой Ренессанс. Размах и бесстрашие поиска, смелость задумок, невероятное трудолюбие — природу их тоже следует искать здесь...

Это долгое отступление понадобилось мне для того, чтобы показать, что люди, подобные Суйменкулу Чокморову, должны были, просто не могли не появиться на небосклоне киргизского искусства. Посев ленинских идей на ниве национальной культуры дал невиданные по силе всходы. Первый секретарь ЦК Компартии Киргизии Т. У. Усубалиев писал по этому поводу: «Социализм широко раскрыл таланты и творческие силы киргизского народа. Ныне киргизская советская культура вышла на ши-

рокую дорогу. Социалистическая по содержанию, по главному направлению своего развития, национальная по форме и интернационалистская по своему духу и характеру, она выступает как важнейшее средство партии в деле коммунистического воспитания трудящихся».

Кто знал киргизов как нацию до революции? Быть может, лишь считанное число ученых-востоковедов. Сегодня мир узнал их не только благодаря десяткам видов промышленной продукции, экспортируемых за рубеж, но и во многом благодаря деятелям литературы и искусства, которые вынесли на широкую международную арену достижения своего народа. Вспомните:

Чингиз Айтматов — один из широкоизвестных писателей страны;

Булат Минжилкиев поет не только в Большом театре, но и на подмостках лучших сцен мира;

балерина Айсулу Токомбаева танцевала даже на фоне развалин Карфагена;

Толомуш Океев со своим фильмом «Серый-лютый» претендовал на премию «Оскара» в Соединенных Штатах Америки.

Этот ряд можно продолжать долго. Но вернемся к Суйменкулу Чокморову, герою нашего очерка. У него самого, кстати, жизнь складывалась не так уж легко. Говорить он об этом не любит. Как-то, подтрунивая, я спросил его:

— Суйменкул, а что, спорт — это твой третий «скакун»?

(Чокморова в Киргизии знают не только в качестве художника и киноартиста, но и как спортсмена. Рост, кстати, у него вполне «волейбольный».)

Вопреки моему ожиданию он ответил вполне серьезно:

— Занятия спортом были для меня не только радостью, но и жестокой необходимостью. В детстве после болезни что-то произошло с руками и ногами, они отказывались служить. По совету врачей начал заниматься спортом. Спорт и только спорт вернул меня к полноценной жизни. Вначале я занимался по необходимости, потом — просто ради ощущения полноты жизни. Я играл за волейбольную сборную команду школьников республики, позже — за взрослую сборную, за сборную Ленинграда. Волейбол — наша «семейная» страсть. Был случай, когда четверо Чокморовых выступали за сборную республики. Спорт стал большим подспорьем и в моей работе киноактера, дав координацию движений, быстроту реакции, силу, выносливость. Некоторым актерам приходится заниматься неделями и месяцами, чтобы отработать какой-нибудь трюк. Мне об этом заботиться не надо. Это время я могу потратить на отработку психологического рисунка образа. Однажды во время съемок надо было вскочить на одну из лошадей, в дикой сумятице мечущихся по двору. У дублеров ничего не получалось. Я решил в этой сцене сниматься сам. Режиссер долго колебался, но в конце концов согласие дал. После первого дубля он мне уже доверял полностью. Порой дублеры не могли повторить те эпизоды, которые удавались мне. За все это я признателен спорту.

...Долго я не видел Суйменкула. То он снимался в «Сером-лютом», то улетал на Дальний Восток для встречи с японским кинорежиссером Акирой Куросава, который после съемок «Дерсу Узала» имел на него виды, то отправлялся в Швейцарию на очередной кинофестиваль.

...Встретились случайно в аэропорту. Летели в разные стороны, времени до наших вылетов почти не оставалось, но я успел спросить:

— Кого бы хотел сыграть, Суйменкул?

— Че Гевару. Очень хочется донести до зрителя размах души кубинского революционера, его нацеленность на социальную революцию. Во время съемок в Узбекистане фильма «Чрезвычайный комиссар», который впоследствии получил Государственную премию имени Хамзы, я не расставался с книгой о Че. Его образ помог мне воплотить на экране личность комиссара Ходжаева...

Он шел тогда к самолету, высокий, спортивный, углубленный в себя. Он уже был там — на съемках, на этюдах, в просмотровом зале, — не знаю, где точно. Знал только, что «скакуны» не подведут его. И хотел верить, что не кончатся мои вопросы к нему на перекрестках наших встреч...

Что ж, вот и еще один перекресток — «перекресток ветров» Киргизии, Боомское ущелье. Любопытно, что первоначальное название фильма «Улан» было «Ветром унесенный»...

Свирепствовал улан. Мы грели ладони над раскаленными головешками, время от времени стреляющими трассирующими искрами. Суйменкул сосредоточенно смотрел в жаркое пятно костра и говорил:

— Тяжело играть. Так трудно, как никогда. Мой герой — Азат — резко переходит от взлетов к падениям, от смеха к слезам. Приходится использовать всю палитру человеческих чувств. Пройти по этой «температурной» шкале человеческих чувств нелегко, но и удовлетворение от хорошо сыгранного эпизода получаешь ни с чем не сравнимое... Мой герой спивается, теряет родных, жену, опускается до предела. Но мы не закрываем ему выход, возвращение к жизни. Финал фильма должен быть таким, чтобы не вызывать слезливую жалость, он должен, словно кресало, высекать в тех, кто слаб, мужественную решимость преодолеть свою слабость, найти в себе силы вернуться к жизни трудовой и творческой...

Мысль Чокморова поддержал Толомуш Океев, режиссер фильма:

— Пьянство, алкоголизм я считаю проявлением духа рабства. Пороку этому подвержены люди безыдейные, нравственно нищие... Я считаю, что художник прежде всего должен быть гражданином. А гражданин всегда там, где его народ, общество, государство ведут войну. В данном случае мы ведем войну с пьянством. Не случайно партия и правительство приняли соответствующее постановление. Мы своим фильмом пытаемся помочь в осуществлении его... Борьбу с конкретными случаями алкоголизма мы ведем, и довольно успешно. Но почему же, как свидетельствует статистика, число пьяниц не убывает? Наша задача — трезво, по-научному и в то же время с неотразимой художественной силой провести общественное расследование причин этой социальной язвы...

Я слушаю их и размышляю о том, что в сегодняшнем киргизском кинематографе все сильнее проявляется новая струя, которую можно было бы определить как устремленность к социальным художественным исследованиям явлений жизни. Если раньше, как правило, сюжеты киргизских фильмов заимствовались

из истории, то сегодня режиссеры «Киргизфильма» стремятся делать социальные срезы самых разных слоев общества. Это было заметно в «Красном яблоке» и уже совсем осязаемо ощущается в «Улане». Потребность эта назрела, она давно требовала себе выхода, и вот она начинает реализовываться. И, что самое радостное, к этому моменту киргизский кинематограф подошел подготовленным — созрело мастерство молодых режиссеров, сценаристов, актеров, мастерство тех, кто самой жизнью призван отобразить требования нашего времени.

Уже спустя несколько месяцев после моего возвращения из Боомского ущелья со съемок «Улана» мне довелось на одной из встреч слушать Чокморова, на этот раз как председателя Совета по работе с творческой молодежью при ЦК ЛКСМ Киргизии. Те мысли, которые волновали его еще там, на берегу Иссык-Куля, теперь откристаллизовались, звучали с прозрачной ясностью и категорической однозначностью:

— Цитирую статью 46 новой Конституции нашей страны:

«Граждане СССР имеют право на пользование достижениями культуры.

Это право обеспечивается общедоступностью ценностей отечественной и мировой культуры, находящихся в государственных и общественных фондах; развитием и равномерным размещением культурно-просветительных учреждений на территории страны... расширением культурного обмена с зарубежными государствами».

Это статья из раздела об основных правах, свободах и обязанностях граждан СССР. Я думаю, что именно мы, художники, обязаны во многом реализовать эту великую хартию прав и свобод. Не кто иной, как мы должны сделать так, чтобы искусство было подлинно народным. Своей художнической позицией мы должны отстаивать гражданственность, гуманизм, интернациональные начала в человеке. В мире идет идейная борьба, и мы должны твердо стоять по нашу сторону баррикады!

Слушаю и горжусь Суйменкулом Чокморовым, коммунистом, художником, народным артистом республики, которого, как сотни и тысячи других киргизов, Октябрь вознес к высотам социалистической культуры. Горжусь Чокморовым, внуком чабана, сыном крестьянина, который сегодня стал звездой первой величины на небосклоне советского и мирового искусства...

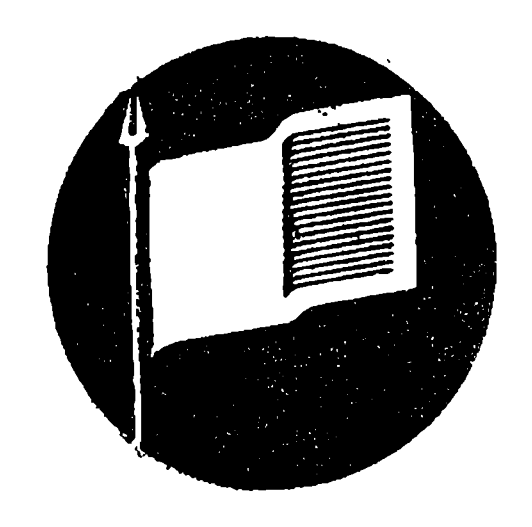
...Встретил Суйменкула Чокморова на XX съезде комсомола Киргизии. Двигались «на встречных курсах» в вестибюле. Перерыв заканчивался, и я опять второпях спросил:

— Ну а сейчас что бы ты хотел сыграть?

Он засмеялся, лукавые морщинки побежали от уголков глаз:

— Не поверишь! Хочу сняться в каком-нибудь мюзикле, в комедии, в этаком веселом, невероятном детективе. Сколько у нас светлого в жизни, сколько радостного! Хочу доброго, бодрого, очищающего смеха! Как ты думаешь, справлюсь с такой ролью?

●



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

П. МЕЗЕНЦЕВ

ИСКУССТВО СОЗИДАЮЩЕЕ, ИСКУССТВО НАРОДНОЕ

В. И. ЛЕНИН О НАРОДНОСТИ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА

Со времен Белинского в передовой русской критике и эстетике народность признавалась альфой и омегой истинного художественного творчества. Революционно-демократическая мысль России, внесшая громадный вклад в разработку вопросов о роли народных масс в истории, о решающем значении их в грядущих социалистических преобразованиях общества, открыла ставшую ныне общепризнанной истину, что величие писателей и художников определяется их способностью выражать, как писал Белинский, «психею народной жизни», пробуждать сознание и социально-политическую активность народа. К интеллигентам, не понимавшим этой истины, обращены саркастические слова Добролюбова: «Коренная Россия не в нас с вами заключается, господа умники. Мы можем держаться только потому, что под нами есть твердая почва — настоящий русский народ...»

Учение революционных демократов о народности литературы и искусства обращено было к грядущим временам, оно

могло быть продолжено и развито лишь на основе марксизма-ленинизма.

Эту задачу выполнил Ленин в своих трудах и высказываниях по проблемам художественного творчества, в своей практической работе по руководству строительством культуры нового социалистического общества. Благодаря открытию Марксом и Энгельсом реальных отношений между общественным бытием и общественным сознанием Ленин, творчески развивая их учение, научно объяснил связь передовой литературы и передового искусства с «нравственным существованием» народных масс. Итог многолетних размышлений Ленина выражен в классически четкой формуле: *«В каждой* национальной культуре есть, хотя бы не развитые, *элементы* демократической и социалистической культуры, ибо в *каждой* нации есть трудящаяся и эксплуатируемая масса, условия жизни которой неизбежно порождают идеологию демократическую и социалистическую». В этой формуле разъясняется, почему определенная часть интеллигенции, воспитанная в условиях эксплуататорского общества, в условиях угнетения народа и пренебрежения к нему, тем не менее проникается чувством сострадания к массе, уважения к ней, протестует против вопиющей социальной несправедливости и проникается демократическими и социалистическими идеями. В спорах с либерально-реакционными теориями, извращавшими идейную направленность передовых писателей и художников, в полемике с вульгарно-социологическими мудрствованиями Ленин открыл жизненные истоки такого идейно-художественного феномена, каким является великая русская классическая литература XIX века. В его формуле теоретически выражена и закономерность появления в русском крепостническом обществе писателей и мыслителей типа Радищева, Рылеева, Белинского, Чернышевского, Добролюбова, Некрасова, Салтыкова-Щедрина, Герцена и Писарева.

Но ленинская формула обращена в будущее. Она открывает возможность вовлечения лучшей части современной буржуазной интеллигенции в художественное творчество, служащее народным интересам, великому освободительному делу.

Ленинскую постановку вопроса не могут принять выдающие себя за марксистов вульгаризаторы, которые представляют отношения между общественным бытием и общественным сознанием по схеме так называемой «генетической социологии», когда сознание художника целиком выводится из его социального происхождения. Здесь бытие прямо, грубо, насильно и автоматически определяет сознание. Поэтому все вульгарные социологи прошлого и наших дней рассуждают не о том, что́ сближает художественное наследие, созданное классиками литературы и искусства, с массами, творящими социалистический мир, а о том, что разъединяет это бесценное наследие с массами; не о народности Пушкина, Гоголя, Толстого, Чехова, Тургенева, а о классовой отчужденности их от народа. Даже Г. В. Плеханов и тот не мог правильно оценить корифея критического реализма Льва Толстого.

Новаторская мысль Ленина, развивавшая марксистское учение о классовости идеологии, о сущности «национальной культуры» и об объективных причинах, порождающих в классовом обществе демократическую и социалистическую идеологию, соединяла в одно целое принцип классовости, народности и партийности. Ле-

нинский принцип партийности, как историческое призвание литературы и искусства слиться с освободительной борьбой пролетариата, содержит в себе требование к художественному творчеству быть народным и по существу и по форме. Ибо, по Ленину, пролетариат — тот особый класс, который призван историей к решению задач общенародного и общечеловеческого значения. Конечными целями этого класса является полное освобождение всего угнетенного капитализмом человечества и создание коммунистического общества. Поэтому он является естественным авангардом всех угнетенных, всех эксплуатируемых, прежде всего многомиллионного крестьянства. В то время, когда Ленин разрабатывал и обосновывал принцип партийности литературы, он обращался к российскому пролетариату с призывом помнить, что история возложила на его плечи «величайшие задачи всенародной борьбы», помнить, что рабочий класс «представляет нужды и интересы и всего крестьянства, всей массы трудящихся и эксплуатируемых, всего народа...». Ясно, что литература, связанная со всемирно-исторической борьбой такого класса, не может не быть народной. Эта мысль выражена в статье «Партийная организация и партийная литература». Партийная литература, по мысли Ленина, обращена к «миллионам и десяткам миллионов трудящихся, которые составляют цвет страны, ее силу, ее будущность».

Поставив народность в прямую связь с партийностью, Ленин раздвинул рамки социально-классового содержания принципа народности. Помыслы, думы, сочувствия и надежды русской классической литературы и ее гениальных теоретиков, революционных демократов, были обращены к многомиллионному русскому крестьянству. Во времена Ленина на авансцену истории вышел рабочий класс. Историческая роль крестьянства теперь могла быть значительной постольку, поскольку оно способно было стать союзником рабочего класса в демократической революции и поскольку беднейшее крестьянство могло выступить в революционном союзе с пролетариатом. С этого момента прежнее сочувственное отношение к массе крестьянства в целом, тем более идеализация крестьянства уже перестает быть показателем «истинной народности». Ленину пришлось немало воевать и против народнического учения о «мужике» как носителе социалистического будущего, и против эсеровских представлений о сплошной крестьянской массе, и против «толстовщины», преклонявшейся перед крестьянской патриархальностью.

В соответствии с духом новой эпохи Ленин обращает внимание творческой интеллигенции на сознательного рабочего, на его характер, идеалы, жизненные интересы, на его действительно решающую роль в истории человечества. Ленин подхватил и развил призыв Энгельса к передовым писателям XIX века обогатить реализм в литературе и искусстве изображением «воинствующего пролетариата». Исключительно высокая оценка таланта М. Горького определена как раз тем, что писатель принес своими произведениями громадную пользу русскому и мировому пролетарскому движению. Замечательно, что уже после того, как появился роман «Мать», Ленин стремился углубить и расширить живые связи М. Горького с пролетариатом и его руководителями. Он держит писателя в курсе важнейших событий партийной жизни, посылает ему документы партийных совещаний, привлекает к уча-

стию в съезде партии. Когда в Поронино была организована школа для передовых рабочих, Ленин пригласил писателя побывать в этой школе, прочитать для них лекции: «После Лондона и школы на Капри повидали бы еще рабочих». Когда состоялось решение о проведении в Штутгарте конгресса II Интернационала, Ленин обратился к Горькому: «Не упускайте случая посмотреть *за работой* международных социалистов, — это совсем не то, что общее знакомство и калякание». Со всех сторон и по всем направлениям Ленин сближал Горького с пролетариатом и его партией, обогащал опыт писателя знанием основных тенденций в освободительном движении современной эпохи.

Переключение главного внимания с «мужика» на сознательного рабочего было историческим переломом в понимании истинной народности литературы и искусства на новом этапе их развития. Ленин преодолевал историческую ограниченность революционно-демократической теории народности.

Для Чернышевского важнейшим показателем народности Толстого было то, что «он умеет переселяться в душу поселянина», умеет смотреть на вещи глазами мужика. В конце своего творческого пути сам Толстой гордился тем, что умеет «смотреть снизу, от 100 миллионов». Для Ленина этого недостаточно. Ленин ставит Толстого на громадную высоту, ибо в его творчестве с непревзойденной мощью, как ни у кого, выразился «протест миллионов крестьян и их отчаяние». Но, указав на эту классовую основу творческого пафоса великого писателя земли русской, Ленин нашел нужным отметить, что «отчаяние свойственно тем классам, которые гибнут... Современный промышленный пролетариат к числу таких классов не принадлежит». В условиях освободительной борьбы пролетариата народность искусства наполнялась иным смыслом. И прежде всего наполнялось новым смыслом само слово «народ». Для революционных демократов «народ» — это крестьяне, закрепощенные помещиками, угнетенные царским самодержавием. В эпоху Ленина такое представление о народе не годилось. Крестьянство расслоилось, в нем выделилась своя деревенская буржуазия и свой деревенский пролетариат.

Ленин дал марксистское понимание народа. В предоктябрьский период он нередко говорил о «пролетариате» и «народе» или «народном слое». И разъяснял, что под «народом» следует понимать промежуточный слой между буржуазией и рабочим классом. К «народному слою» он относил мелкобуржуазную массу городской и деревенской бедноты, «полупролетариев», полухозяйчиков. В других случаях «народом» у него называется вся масса «мелкой буржуазии и крестьянства». Все это — характеристика «народа» в политико-экономическом смысле. Когда же речь заходила о «народе» в политическом смысле, тогда Ленин в этом понятии объединял пролетариат и крестьянство. В книге «Две тактики социал-демократии в демократической революции» слово «народ» выделено курсивом и сопровождено пояснением: «...то есть пролетариат и крестьянство, если брать основные, крупные силы, распределяя сельскую и городскую мелкую буржуазию (тоже «народ») между тем и другим». Позднее определение народа в этом смысле еще более уточняется. Ленин пишет: «Крестьянская беднота вместе с пролетариатом есть подавляющее большинство народа, нации».

Как ни различны ленинские определения «народа», во всех этих

определениях так или иначе первым называется рабочий класс, высокоразвитый пролетариат. В этом ленинизм сделал громадный шаг вперед по сравнению с идеологией русской крестьянской революционной демократии.

Призывая писателей служить «миллионам и десяткам миллионов трудящихся», Ленин видел эти миллионы преображенными эпохой революционных битв за социализм, эпохой практического строительства социализма. С победой социалистической революции изменилась сама историческая роль народа (в его новом научном понимании). В революциях прошлого рабочие и крестьяне исполняли разрушительную роль — новое государство строили господствующие классы. Со времени Октябрьской революции главная задача масс стала заключаться в созидательной работе, в построении нового государства, нового общества: «Социализм не создается по указам сверху. Его духу чужд казенно-бюрократический автоматизм; социализм живой, творческий, есть создание самих народных масс».

В связи с этими коренными изменениями в ходе истории могла ли остаться неизменной сущность литературы, ее общественное назначение, ее народность? Конечно, нет! И в понятии народности, и в реальном воплощении этого принципа в художественном творчестве произошли глубокие изменения.

Народность классической литературы ярче и глубже всего выражалась в пафосе критики существующего строя, в отражении народных представлений об идеальном устройстве жизни. От Радищева до Гоголя, Достоевского и Льва Толстого в русской литературе все острее становилось разоблачение экономической, политической, социальной, правовой несправедливости, порожденной и ежечасно порождаемой строем угнетения и эксплуатации.

Народность литературы социалистического общества имеет иное содержание. Это не значит, что Ленин исключал из новой литературы критический элемент. Ничуть не бывало! Он учил, что нам нужна правда, полная и открытая, трезвая и безбоязненная правда во всем. Тот не революционер, тот не коммунист, кто боится правды, кто замалчивает истину, кто боится видеть и признавать ошибки, кто скрывается от трудностей и упущений под сень красивых фраз. Ленин исчерпывающе охарактеризовал те стороны нашей действительности, которые нуждаются в самой беспощадной критике и самокритике. Он не раз писал о том, что социализм строят не святые, а люди, только что вылезшие из грязи буржуазного общества, люди, зараженные массой предрассудков, пережитков, привычек старого общества. И им приходится строить новый мир в окружении капитализма, который гниет, разлагается, заражая воздух миазмами, своим трупным ядом «отравляя нашу жизнь». Социализм строится впервые в исторической жизни человечества, без уроков и традиций прошлого, прокладывается новая борозда по целине, и тут неизбежны не только упущения, ошибки, перегибы, но и прямые отступления от революционных и коммунистических принципов, граничащие «с извращением нового строя...» Ленин разоблачал все, что вставало преградой на пути социалистического строительства, что наносило ущерб авторитету и престижу нашего дела! «Надо иметь мужество смотреть прямо в лицо горькой истине», — писал он. И от литературы требовал он всей полноты правды. В письмах к М. Горькому, в отзывах об отдельных советских писателях, в

поддержке сатирико-обличительного пафоса Демьяна Бедного и Владимира Маяковского Ленин держал сторону критического духа в советском искусстве.

В отзыве о стихотворении В. Маяковского «Прозаседавшиеся» он одобрил поэтическую злость и сатирическую меткость поэта, указал, что с политической точки зрения это высмеивание наших бюрократических извращений «совершенно верно» и счел необходимым отметить соответствие критического пафоса поэта реальному положению вещей: «Мы, действительно, находимся в положении людей, и надо сказать, что положение это очень глупое, которые все заседают, составляют комиссии, составляют планы — до бесконечности».

Но призывы беспощадно вскрывать и критиковать в нашей действительности все, что противоречит самому духу социализма, сочетаются у Ленина с разъяснением того, что наша критика и самокритика должны быть проникнуты коммунистическим духом, им чужды злорадство и очернительство. Критическое направление тогда благотворно и оправдано, когда оно вдохновлено заботами о росте и утверждении нового строя, когда оно расчищает путь к социализму и коммунизму. «Кто из-за борьбы с извращением нового строя, — пишет Ленин, — забывает его содержание, забывает, что рабочий класс создал и ведет государство советского типа, тот просто не умеет думать и бросает слова на ветер». О поэтах, забывающих это основное и главное в советской эпохе, в осуществляемом народом строительстве нового общества и новых общественных отношений, говорил Ленин в политическом докладе на XI съезде РКП(б). Без раздражения, без окриков — с чувством некоторой досады и с усмешкой сожаления Ленин как бы попутно упомянул о такого рода поэтах, потерявших в своем критицизме ощущение реальности: «У нас даже поэты были, — говорил Ленин, — которые писали, что вот, мол, и голод и холод в Москве, тогда как раньше было чисто, красиво, теперь — торговля, спекуляция. У нас есть целый ряд таких поэтических произведений».

Критический дух в советском искусстве не равнозначен художественному отрицанию в критическом реализме. Но это отнюдь не означало, что новое искусство рвет связи с искусством прошлого.

Никто так энергично, настойчиво и компетентно, как Ленин, не защищал идею преемственности в развитии культуры, литературы и искусства. Всем памятна его статья с вызывающе полемическим заглавием: «От какого наследства мы отказываемся?», статья — отпор Михайловскому и его сторонникам, утверждавшим, будто бы русские марксисты отказываются от идейного наследия Чернышевского и его соратников. Ленин доказал, что именно марксисты являются «верными хранителями наследства» и не только хранителями, но и теми, кто развивает, обогащая, основные идеи этого наследства. Через много лет в речи о задачах союзов молодежи Ленин с покоряющей убедительностью показал, что марксизм возник благодаря критическому освоению всего громадного научного наследия, которое создано передовым человечеством на протяжении двухтысячелетнего развития, что без усвоения и переработки всех достижений культуры прошлого не могло быть великих открытий Маркса и Энгельса. Понятен тот гнев, с которым Ленин встречал и в дореволюционное, и осо-

бенно в пооктябрьское время всякие «теории» чистой пролетарской культуры. Идеей преемственности проникнуты и все мысли Ленина о новом, коммунистическом искусстве, о новой литературе, отвечающей потребностям советского общества.

Изменение духа и направленности критического элемента в советском искусстве не означало разрыва с традициями великой литературы. Это было лишь проявлением новых отношений искусства к действительности. Определяющий пафос творчества художников новой эпохи — в художественно-эстетическом утверждении нового строя, новых отношений между людьми, новой психологии, идей и идеалов. И связь критического элемента с утверждающим пафосом не механическая, а органически-творческая. Художественная полнота и убедительность утверждения нового в искусстве в определенной мере зависела от уменья трезво, критически понять и оценить правду этого нового. Реализм утверждения нуждался в трезво-критическом отношении к изображаемому. Об этом думал и писал еще Белинский. Теоретик критического реализма, страстный защитник гоголевского направления в русской литературе, он предсказывал появление искусства, положительно относящегося к действительности. Истинный диалектик, он предугадывал, что новое искусство обретет силу, сумеет стать выразителем истины новых отношений между людьми лишь в том случае, если не потеряет из виду опыт критического реализма, его традиции. В том, что критический реализм («натуральная школа») имеет известную «одностороннюю крайность», состоящую в его «отрицательном направлении», в этом, писал Белинский, «есть своя польза, свое добро: привычка верно изображать отрицательные явления жизни даст возможность тем же людям или их последователям, *когда придет время,* верно изображать и положительные явления жизни, *не становя их на ходули, не преувеличивая,* словом, не идеализируя их риторически» (курсив мой. — *П. М.).*

Следовательно, способность нового искусства выразить правду новой жизни зависит от усвоения и развития, продолжения критических традиций классического реализма!

Гений Ленина выявил сложные диалектические связи между культурой социализма и культурой прошлого, между искусством прошлых эпох и искусством грядущего коммунизма. Еще в статье «Партийная организация и партийная литература», призывая творческую интеллигенцию к борьбе против капитализма, к разрыву всех связей с буржуазией и переходу под красные знамена социалистического пролетариата, он определил, выделил и подчеркнул то специфически новое, что несет литература, открыто связанная с пролетарской борьбой, в чем ее сила, величие и народность: это «идея социализма и сочувствие трудящимся». На первый план выступала задача выявления и художественного отражения возвышенно-героического и прекрасного в жизни, а не отрицание основ тогдашней социальной жизни, как это было в передовом искусстве прошлого.

Предсказав основные, принципиально новые черты той «свободной литературы», которая родится в горниле революционно-преобразовательной борьбы социалистического пролетариата, Ленин в первые же годы Советской власти указал на то, что сама природа профессии писателя обязывает его сосредоточить свое внимание на том, как рабочие и крестьяне налаживают и осуще-

ствляют «работу нового строения жизни», как они сами в этой всемирно-исторического значения работе растут духовно, культурно, интеллектуально, как бьет ключом народная инициатива, рождаются и развертываются таланты во всех областях социалистического строительства. Все писатели, сочувствующие новому, должны были, по мысли Ленина, определиться в жизни так, чтобы постоянно наблюдать процессы обновления действительности и «ежедневно во всей жизни ощущать прикосновение» творящих новую жизнь рабочих и крестьян. Именно в этом писатели и художники могут найти творческий импульс.

С наибольшей полнотой строй ленинских мыслей о новом искусстве и его народности выражен в известной беседе с Кларой Цеткин: «Искусство принадлежит народу. Оно должно уходить своими глубочайшими корнями в самую толщу широких трудящихся масс. Оно должно быть понятно этим массам и любимо ими. Оно должно объединять чувство, мысль и волю этих масс, подымать их. Оно должно пробуждать в них художников и развивать их».

В этой всеобъемлющей формуле прежде всего дано новое решение проблемы «искусство и народ», которая веками волновала передовых мыслителей. Белинский мечтал о распространении «благодеяний литературы» на всю массу человечества; Добролюбов предчувствовал наступление времен, когда литература станет «отзываться на потребности всех».

Наряду с решением давней проблемы в ленинской формуле есть постановка одного из самых важных и самых новых вопросов эстетики. Это вопрос о субъекте искусства. В ней звучит признание того, что народ не есть лишь воспринимающий объект. Искусство «должно уходить своими корнями в самую толщу широких трудящихся масс», то есть произрастать из глубин народного творческого духа, питаться живыми источниками, бьющими со дна безбрежного моря народного творчества, которому Октябрьская революция дала замечательный размах. Говоря «искусство принадлежит народу», Ленин имел в виду не только те сокровища, которые должны стать доступными для всех, но и те сокровища, которые должны быть созданы освобожденным народом.

Когда Ленин писал в статье «Партийная организация и партийная литература» о способности пролетариата перестроить все «литературное дело», испакощенное буржуазией, он вовсе не полагал, что на долю пролетариата выпадает лишь роль распорядителя, указчика в области художественного творчества. Нет, он писал именно о том, что этот класс сумеет выдвинуть и воспитать кадры творцов нового искусства. После Октября эта идея Ленина превратилась в практически осуществляемое дело и стала одной из граней политики партии. В письме к М. Горькому 15 сентября 1919 года Ленин отмечал: «Интеллектуальные силы рабочих и крестьян растут и крепнут в борьбе за свержение буржуазии и ее пособников, интеллигентиков, лакеев капитала, мнящих себя мозгом нации». Надежды Ленина на великий взлет художественного творчества в советскую эпоху связаны с пробуждением в народе самостоятельных и неисчерпаемо богатых творческих сил и дарований. Народ как субъект искусства (в условиях социалистического строительства) — одна из важнейших эстетических идей Ленина, внесшая в понятие народности литературы и искусства принципиально новое содержание.

Первые побеги новой литературы очень радовали Ленина. Об этом немало сказано в воспоминаниях писателей, партийных и государственных деятелей. В частности, А. С. Серафимович был одним из тех, с кем Ленин обсуждал проблему воспитания писателей из рабочих.

В тяжелейших условиях начала 20-х годов Ленин нашел возможным откликнуться на предложение наркома просвещения А. В. Луначарского выделить средства «для поддержания молодых талантов — выходцев из народа, лишенных средств к существованию...»

Опубликованное в «Правде» 1 декабря 1920 года Письмо ЦК РКП(б) «О пролеткультах» от начала до конца пронизано ленинской внимательностью и бережливостью в отношении к талантам, зреющим в народе. ЦК выразил стремление воспитать рабочую молодежь в коммунистическом духе, чтобы она правильно разбиралась в вопросах жизни и искусства, привить ей здоровые эстетические вкусы, оградив ее от разлагающего влияния всяческих модернистских направлений (футуризма, декадентства). ЦК отверг враждебные обвинения в том, будто бы он своими решениями покушается «стеснить рабочих в их художественном творчестве». В «Письме» указывается: «ЦК не только не хочет связать инициативу рабочей интеллигенции в области художественного творчества, но, напротив, ЦК хочет создать для нее более здоровую, нормальную обстановку и дать ей возможность плодотворно отразиться на всем деле художественного творчества».

Через четыре года XIII съезд РКП(б) еще раз твердо и ясно выразил ленинскую точку зрения относительно перспектив литературно-художественного развития нового общества. В решении съезда записано, что «основная работа партии в области художественной литературы должна ориентироваться на творчество рабочих и крестьян, становящихся рабочими и крестьянскими писателями в процессе культурного подъема широких народных масс Советского Союза».

Так и теоретически, и политически, и практически утверждалась у нас ленинская мысль о том, что «искусство принадлежит народу» не только как сокровище, но и как непосредственное творчество, не только как наследство, но и как богатство, создаваемое собственным гением народа, его уменьем и мастерством. Поэтому в беседе с К. Цеткин Лениным указано, что миссия искусства в социалистическом обществе двояка: ему выпала задача воспитания и облагораживания масс, но, кроме того, оно должно «пробуждать» в народе художников и «развивать их».

В ленинских трудах, статьях и высказываниях нет специальных указаний относительно формальной стороны искусства, соответствующей новому пониманию народности художественного творчества. Условия сложились так, что все внимание поглощено было проблемами идейного порядка, заботами о правильной генеральной линии развития искусства нового общества, стремлениями выделить из «хаотического брожения» и «лихорадочных исканий» то, что является действительно новым и коммунистическим, выделить и поддержать эти здоровые ростки нового искусства авторитетом партии и государства. Однако взгляды Ленина в этой области выясняются как из положительных его высказываний, так и из того, что он решительно отвергал. Выделяется ленинское требование к искусству, чтобы оно было «понятно и

любимо» массами. Не отдельными личностями, не специально посвященными в «таинства» искусства, не «интеллигентиками, мнящими себя мозгом нации», а именно миллионами и десятками миллионов трудящихся. Эта идея Ленина в формулировке ЦК партии («О политике партии в области художественной литературы») звучит так: пролетарские писатели должны, «используя все технические достижения старого мастерства, вырабатывать соответствующую форму, понятную миллионам».

В воспоминаниях К. Цеткин сказано о самом неприязненном отношении Ленина к искусству, которое в те годы (и в поэзии, и в живописи, и в театре, и в скульптуре) всего больше создавало «хаотическое брожение», всего больше шумело на авансцене. Воспоминания А. В. Луначарского также пестрят свидетельствами того, как озадачивало Ленина трюкачество, формализм, модничанье всевозможных наших «р-р-революционеров» в искусстве. Художник А. Магарам рассказал, как еще в 1916 году в Лозанне Ленин был на национальной выставке футуристов. А. В. Луначарский с жаром прочел там свой доклад о «новом» направлении в искусстве и литературе. После доклада пошли осматривать выставку. «Внимание Ленина привлекла картина «Портрет скрипача Крейслера». На ней нарисованы смычок, несколько нот и ухо. А посредине холста — разнообразные цветные спирали. В центре картины приклеена спираль из жести.

— Ну, что, художник, как вам нравится это «гениальное» произведение?» — иронически спросил Ильич Магарама.

«Я ответил, — продолжает Магарам, — что еще недостаточно разбираюсь в этом направлении искусства, не понимаю его.

— Тут и понимать нечего, — сказал Ленин, — это попросту шарлатанство.

Не успел он окончить фразу, как против него ополчились художники-футуристы. Подошел Луначарский, и тут начался интересный спор его с Владимиром Ильичем. Окруженный публикой, Луначарский говорил, что впечатление от личности человека может быть совершенно абстрактным, независимым от его внешности и что вообще люди по-разному воспринимают впечатления от окружающего внешнего мира, индивидуально, по-своему, что эти впечатления совершенно субъективны и что впечатления каждого индивидуума по-своему интересны и т. д.

Ленин слушал-слушал оратора и вдруг прервал его. Сделав энергичный жест в сторону «Портрета скрипача Крейслера», Ленин напрямик спросил:

— Скажите, Анатолий Васильевич, откровенно — хотели бы вы, чтобы после вас остался вот такой портрет?

Луначарский засмеялся, но откровенно ответил:

— Нет.

— Вот то-то и оно! — сказал Ленин. — Вот это понятно и ясно всем!»

После Октября, в 1920 году, Ленину пришлось с горечью отмечать, что и у нас стало расцветать подобное «искусство». Об этом рассказал Фриц Геккерт, видный деятель Коммунистической партии Германии («Мои встречи с Лениным») — ему довелось вместе с Владимиром Ильичем побывать на выставке тогдашних наших авангардистов, «левых» или «р-р-революционных» художников. Она была открыта в гостинице «Континенталь». Там, пишет Геккерт, «фигурировало на фоне пестрой мазни всякое тряпье,

черепки, кусок печной трубы и т. п., прибитые к полотнам... Ленин, стоя сзади меня и покачивая головой, сказал мне: «Вот видите, товарищ Геккерт, и у нас такое бывает!»

Критика А. В. Луначарского за потакание футуристам и модернистам, беседы об искусстве с ближайшими соратниками, писателями и государственными деятелями, — все свидетельствует о самом непримиримом отношении Ленина к искусству, зараженному и развращенному загнивающим капитализмом, ко всем и всяческим подражаниям этому распаду и разложению в искусстве XX века. Гневно и резко осудил он в речи на I Всероссийском съезде по внешкольному образованию складывавшееся у нас там и сям положение, при котором «сплошь и рядом самое нелепейшее кривляние выдавалось за нечто новое, и под видом чисто пролетарского искусства и пролетарской культуры преподносилось нечто сверхъестественное и несуразное».

Разумеется, Ленину не было надобности загадывать, какие конкретные формы, жанры, стили выработает искусство грядущего. Он брал главное и предсказывал решающее. Предсказывал, имея в виду весь накопленный человечеством опыт развития. Опыт социального, культурного и художественного творчества. И если он категорически отрицал все и всякие «измы» в искусстве упадка и деградации, то все ценное и прекрасное в художественном опыте русского и других народов им было признано за исходный пункт нового подъема в литературе и искусстве, определяемого взрывом творческих сил народа в эпоху социализма. Он указал действительно революционному, действительно коммунистическому искусству единственно верный путь — путь дальнейшего развития и всестороннего обогащения великих традиций классики, тех традиций, приемов и форм творчества, которые поистине являются, применяя его выражение, «высшим проявлением художественного гения». Лишь на этом пути, по его глубокому убеждению, новое общество сможет создать новые высшие образцы прекрасного, осуществит синтез великих идей, правдивости изображения и совершенства эстетического воплощения содержания. Вопрос о гармонии содержания и формы — древнейший вопрос теории и практики искусства. Его по-разному решали выдающиеся мыслители. Гегель, например, исключительно глубоко обосновал единство содержания и формы в искусстве как вернейший критерий высокого качества искусства. В этом единстве и гармонии видел он проявление настоящего художественного гения, творящего вдохновенно и знающего цену своему творчеству. Гегель считал, что гармония формы и содержания в искусстве навсегда утрачена человечеством, утрачена с той поры, как оно втянулось в прозу буржуазного существования. «Золотой век» искусства позади — только античное искусство Греции могло осуществить гармоническое единство формы и содержания.

Белинский, страстно мечтавший о «новом небе и новой земле», устремленный в социалистические дали, предсказывал «новый момент уравновешения идеи с формой», новый — в связи с этим — расцвет искусства.

Марксизм развил идею социализма в научную теорию, а со времени Октябрьской революции, благодаря Ленину и созданной им партии, социалистический идеал стал стимулом революционно-творческой практики миллионов трудящихся. В свете этого великого идеала открылись новые перспективы перед ис-

кусством и литературой. Отсюда и ленинское предвидение, предсказание «великого коммунистического искусства», в котором содержание и форма выступят в гармоническом соответствии друг другу. То, что Гегелю казалось утраченным навсегда — гармония формы и содержания в искусстве, — оказалось на самом деле высокой целью, к достижению которой шаг за шагом идет искусство, творимое новым обществом. Именно на пути к этой цели выросла советская классика в литературе и живописи, в скульптуре и архитектуре, в театре и балете.

Ленинские идеи партийности и народности искусства оплодотворяют ныне литературу и искусство социалистического реализма.

Во всем современном мире все шире развертывается яркая, многокрасочная панорама предсказанного Лениным нового искусства!

●

Ф. Г. БИРЮКОВ

ИСТОРИЯ И ХУДОЖНИК

«Тихому Дону» М. Шолохова, с начала публикации в журнале «Октябрь», исполнилось пятьдесят лет. Сверкающей горной вершиной стоит этот роман в ряду мировой классики. Происходит удивительное и редкостное: чем дальше мы от времени его создания, тем сильнее ощущаем художественную мощь великого произведения. С трепетным участием воспринимаем сложнейшую проблематику, пафос гуманизма, народность, яркость образного воплощения, изумительную красоту поэтического слова Михаила Шолохова.

«Тихий Дон» как шедевр искусства изучается у нас и за рубежом с самых различных сторон. В нем видят, в частности, один из неоспоримых, авторитетных источников для познания прошлого, потому что он строго достоверен, служит примером той высоты художественного мышления, когда оно сливается с исторической наукой, а писатель становится первооткрывателем огромного жизненного материала. Этот аспект исследования «Тихого Дона» — эстетическая значимость подлинности, факта, документа — стал очень актуальным в наше время. Речь идет об историзме как одном из главных принци-

нов реалистического искусства. Эпопея Шолохова в этом смысле была и остается прекрасным образцом, проверенным самой строгой критикой, которая существует на свете, — временем. Октябрь по-новому открыл народ и его историю, пересмотрел многие ценности. Все общественные, политические, философские, нравственные и эстетические проблемы века стали соотноситься с интересами и судьбами трудовых масс как социальной основы общества. Художники — живые свидетели грандиозного поворота в истории человечества — видели свой долг в том, чтоб рассказать, кем был народ вчера и стал сегодня, как разлилась по городам и селам молодая, весенняя, прибоем бьющая энергия возрождения, как стремительно сокрушала она все то, что было обречено на слом, как сохранилось в народе духовное могущество, несмотря на долгие века рабства, темноты и забитости.

История, если она познается точно, в объективной данности времени, событий и лиц, многое объясняет в сегодняшней жизни, преподает уроки, активизирует сознание, пробуждает энергию. В. Белинский объяснял интерес к истории тем, что «отдельные лица общества начинают сознавать себя живыми органами общества — живыми членами человечества и что, следовательно, само человечество живет уже не объективно только, но как живая сознающая себя личность».

Известно, что с конца прошлого века и до Октября история народа как бы уходила со страниц литературы. Не появлялось произведений, равных по широте концепции «Борису Годунову», «Капитанской дочке», «Тарасу Бульбе», «Войне и миру». Прошлое или беллетризуется, в виде главного выступает чисто внешняя, событийная, занимательная сторона, или модернизируется, подгоняется, как у декадентов, под абстрактные и субъективистские воззрения.

Советская литература возродила историзм в самом широком значении этого понятия как неотъемлемую черту реалистического, достоверного, всестороннего отражения действительной жизни — и современной, и недавней, и отошедшей далеко в глубины веков.

«Какое поле — эта новейшая русская история! — восхищался А. С. Пушкин. — И как подумаешь, что оно вовсе не обработано, и что кроме нас, русских, никто того не может и предпринять!» Для советской литературы историю начали открывать А. Толстой, А. Чапыгин, В. Шишков, С. Сергеев-Ценский, Ю. Тынянов, А. Новиков-Прибой, Г. Шторм, О. Форш, С. Бородин, В. Костылев и другие.

Постигая историю, ее поворотные и кульминационные моменты, дела и подвиги наших предков, их идеи и помыслы, писатели пересмотрели, освободили от искажений, осветили по-новому исторические темы, связанные с освободительным движением крестьянских масс в эпоху феодализма, восстановили честь и историческую роль народных мятежников — Ивана Болотникова, Степана Разина, Кондрата Булавина, Емельяна Пугачева.

Историческая проза как бы приблизила к нашему времени Радищева, Пушкина, декабристов, революционных демократов.

По мере того как расширялись представления о прогрессивных традициях, писателей заинтересовало и время Петра I, и кремлевский холм, откуда началась Москва, и псковское городское восстание 1650 года, и Переяславская Рада, и великие полководцы — патриоты Отчизны, России верные сыны 1812—1814 годов.

Глубоко затронуло чувства наших современников неторопливое, но взволнованное повествование о тяготах Севастопольской страды, трагедии Цусимы, Порт-Артура.

Самым значительным пластом исторической действительности, который необходимо было запечатлеть в правдивых и масштабных образах, стала тема революции. Она сразу же выдвинула своих летописцев.

Уже в двадцатых годах ее неисчерпаемый материал облекается в монументальную форму эпических созданий: М. Горький пишет «Жизнь Клима Самгина», А. Толстой — «Хождение по мукам», М. Шолохов — «Тихий Дон».

Многогранность изображаемой жизни, выверенность мысли, объективность, историзм отличают эти произведения века.

«Что нужно знать драматическому писателю?» — спрашивал Пушкин. И отвечал: «Философию, бесстрастие, государственные мысли историка, догадливость, живость воображения, никакого предрассудка любимой мысли. Свобода».

Определение очень точное. Действительно, не будь всего этого, например, у Шолохова — не было бы и «Тихого Дона».

«Предрассудок любимой мысли», что мы теперь называем субъективизмом, и в советскую эпоху был у ряда литераторов и мешал им разглядеть сущность происходившего. А. Толстой, протестуя против обывательского отношения к героике Октября, писал в 1925 году: «Сокровищ Революции нельзя разворовывать... Теплушки, вши, самогон, судорожное курение папирос, бабы, матерщина и прочее, и прочее, — все это было. Но это еще не революция. Это явления на ее поверхности, как багровые пятна и вздутые жилы на лице разгневанного человека.

Было бы плохо для писателя, если бы он стал списывать только красные пятна и вздутые жилы и стал бы уверять, что это и есть вся сущность разгневанного человека. А между тем. — увы, — это очень часто делается. Революцию одним «нутром» не понять и не охватить. Время начать изучать Революцию, — художнику стать историком и мыслителем. Задача огромная, что и говорить, на ней много народа сорвется, быть может, — но другой задачи у нас и быть не может, когда перед глазами, перед лицом — громада Революции, застилающая небо».

На этой теме «срывались» по-разному: то поэтизировали стихию, натиск вольницы, «партизанщину», обязательно с гиканьем, посвистом, то с увлечением расписывали биологические инстинкты, примитивизм чувств. Превратные представления возникали и об авангардной роли пролетариата, и о трудовом крестьянстве, основой которого выставлялись жадность, корысть, тупоумие, ненависть к городу и новому строю.

Все это было и все это требовалось перекрыть точным изображением эпохи с ее героическими свершениями и трудными днями, пафосом возрождения и жертвами.

Роль Михаила Шолохова — сурового, но объективного реалиста — здесь исключительна.

«Тихий Дон» воссоздает события за десять лет — с 1912 по 1922-й. Это мировая война, февраль 1917 года, октябрьский переворот, гражданская война.

Действие с донского хутора переходит на всю Область Войска Донского, на передовую фронта войны 1914 года, в Петербург,

Москву, Могилев, Ростов, Новочеркасск, Царицын, Новороссийск.

Многие действующие лица — реальные: Подтелков, Кривошлыков, Лагутин. С другой стороны — Родзянко, Корнилов, Каледин, Фицхалауров, Агеев, Чернецов и другие.

Сохранена подлинность обстановки: съезд фронтовиков в Каменской в 1918 году, переговоры Донского ревкома с Калединым, экспедиция Подтелкова и ее трагический конец; с другой стороны: Московское государственное совещание, корниловский поход на Петроград, быховское заточение генералов, «ледяной поход» и так далее.

Материал истории, введенный в таком объеме, широта подлинной документации должны были бы настроить наших историков на то, чтобы сказать свое слово о той исторической концепции, которая стройно, оригинально и широко представлена Шолоховым. И все же таких трудов до последнего времени не было.

Правда, в связи с известным письмом И. Сталина Ф. Кону, где было замечено, будто М. Шолохов в «Тихом Доне» допустил ряд неточностей и даже грубейших ошибок в изображении гражданской войны на Дону, некоторые исследователи пробовали подтвердить фактами необоснованный упрек. Однако все кончилось тем, что внесли от себя еще большую путаницу.

Были и такие случаи. В 1930 году «историк» Дона Н. Янчевский выдвинул размашистые тезисы о «Тихом Доне» как реакционной романтике. Он, например, утверждал: «Если мы взглянем в историю прошлого, то там мы увидим, что уходящие классы, погибая, и в художественной литературе успевали иногда пропеть свою последнюю «лебединую» песнь. Возьмем, например, Шатобриана во Франции, произведения которого пользовались огромной популярностью. Это относится к тому времени, когда буржуазия вышла на историческую арену и когда французская аристократия оказалась выброшенной за борт.

К таким произведениям, отражающим идеологию угасающего, сходящего с исторической арены класса, я причисляю произведение Шолохова «Тихий Дон»...

Окончательная резолюция этого «ученого» такая: «Тихий Дон» — произведение чуждое и враждебное пролетариату».

Янчевский исходил из концепции, которую он развивал так: «Казачество, как обломок феодализма, оказалось между молотом и наковальней, между буржуазией и пролетарской революцией, и вся гражданская война свидетельствует о том, что во всех случаях, и в случае победы буржуазной реакции, и в случае победы пролетарской революции, казачество было бы раздавлено...»

Понять «Тихий Дон», имея в основе такие вульгаризаторские посылки, никак невозможно. Шолоховская концепция, разумеется, другого направления, духа, иной политической ориентации.

Михаилу Шолохову суждено было стать одним из первых и основательных историков революции и гражданской войны. Научного исследования «Тихого Дона» с этой стороны, повторяю, до шестидесятых годов почти не было. Историки, кому принадлежит здесь первое слово, молчали. А ведь, по существу, вся полемика, которая разгорелась вокруг образа Григория Мелехова, «концепции отщепенства» и «теории исторического заблуждения» и которая продолжается до сих пор, — это расхождения во взглядах прежде всего по историческим проблемам: кто такие казаки в про-

шлом, как сказывался на них новый, двадцатый век — эпоха трех революций, каков их путь во время гражданской войны. В ходе полемики многое в шолоховедении пересмотрено, отброшены вульгаризаторские теории, схематизирующие содержание великой эпопеи.

Теперь появились труды историков М. Алпатова, С. Семанова. В этом направлении продолжают работать доктор филологических наук К. И. Прийма, писатель А. Знаменский, литературовед А. Мацай. Общая черта их исследований — хорошее знание истории гражданской войны на Дону, они строят выводы на основе, которая соответствует «Тихому Дону».

Первым среди этих авторов можно назвать известного историка и писателя Михаила Алпатова. Сравнительно недавно вышел его капитальный труд о развитии русской исторической мысли с XII по первую четверть XVIII века, где он, в частности, касается истории казачества — движения Болотникова и Степана Разина. Сам автор родом с Дона, из Каменского района Ростовской области. В 1918 году, когда ему было 15 лет, он увидел героев красной Донщины — Подтелкова, Кривошлыкова.

В его романе «Горели костры» (1970) отразились наблюдения над жизнью, бытом, психологией казаков накануне и в годы первой русской революции. Писатель утверждает, что и на Дону, особенно к началу века, классовые противоречия все больше и заметнее размежевывали казаков. Издавна шла борьба двух тенденций: свободолюбия, демократизма, единства со всем трудовым народом России и, с другой стороны, идея исключительности, особой миссии, возложенной на казака, — водворять в стране «тишину и порядок».

По мере роста общественного движения трудовой народ Дона все больше просвещался политически, сбрасывая с себя груз сословной ограниченности, замкнутости. Либо роль палачей и карателей, либо союз с демократическими силами России — таков был выбор, и он по-разному определял поведение людей: росли волнения в лагерях, учащались колебания во время исполнения навязанной полицейской службы. Поиск правды, стремление к независимости от эксплуататорских верхов, от власти слепых предрассудков, отживших обычаев — все это ломало с виду монолитный уклад.

Офицеры тоже были не одинаковы, одни — монархисты, самостийники, стремившиеся отделиться от России, другие по убеждению шли в революцию. Колебались даже священники.

Осведомленность автора в казачьем вопросе завидная, поэтому так убедителен его исторический комментарий к роману М. Шолохова в книге «Откуда течет «Тихий Дон». Историк идет от самой реальности. Книжечка небольшая, но все дело в достоверности фактов, в объеме мысли и выводов. А они значительны.

М. Алпатов видит в «Тихом Доне» такой образец художественного исследования истории, который отвечает самым высоким критериям — концептуальность, объективность, достоверность. Шолохов показал, что прошлое нельзя конструировать по воле фантазии; касается ли это узловых ее моментов или характерных деталей, примет времени и событий. Вот как говорит об этом

М. Алпатов в «Письме историка писателю»: «Создает писатель роман из времен Октябрьской революции. Теперь история уже убрала Николая II и подсунула писателю Керенского. В историческую октябрьскую ночь он бежал из Питера, бежал не на чем-нибудь, а на американской машине, и не куда-нибудь, а на фронт, и не к кому-нибудь, а к генералу Краснову. И когда Керенский побежит дальше, его бег начнется не откуда-нибудь, а из Гатчины, а город этот будет в руках не кого-нибудь, а матросов Дыбенко. Воля писателя говорить или не говорить об этом, но знать это он обязан. Считаться с этим он тоже обязан, ибо так распорядилась история. И выходит, что против истории даже писатель не попрет».

И читатель вправе недоумевать и возмущаться, когда писатели и исследователи идут против истории, «переиначивают ее шерстью наверх».

В «Тихом Доне» торжествует правда истории, точное представление о диалектике явлений, о процессе движения общества к революции в разной среде и в разное время. Шолохов следит за ведущими, побеждающими тенденциями в жизни, они захватывают самые далекие от политики слои народа и увлекают их в общий поток.

«История, — пишет М. Алпатов, — пошла «по Ленину». И если XVI век был «нидерландским» веком, если век XVII был «английским», а XVIII и XIX века были «французскими», то XX стал «русским» веком, потому что ход его истории определился Великой Октябрьской социалистической революцией в России».

Если рассмотреть высказывания Ленина, как и делает историк, то видно, что роль казачества в революции отнюдь не мала. История казаков не проста, привилегии, пусть для многих и призрачные, имелись у них, но им тоже открывался путь приобщения к новой жизни. Трудовое казачество, так сказать, вписывалось в тот стратегический план, который предусматривал широкую, планомерную, гибкую борьбу за массы. Актуальной и неотложной задачей, выдвинутой Лениным, была борьба за трудового казака.

Часто говорят, что казачество олицетворяло прямо-таки реакционную Вандею. В подтверждение этой мысли ссылаются на Ленина, но читают его неточно. Ленин действительно говорил накануне Октября о социально-экономической основе донского казачества и о возможной Вандее. «Но речь идет не о совершившемся факте, — разъясняет М. Алпатов. — ...Чтобы эта возможность превратилась в действительность, нужно, чтобы это нашло выражение в политической сфере, то есть чтобы основная масса казачества повернулась против революции».

Именно в том месте, где речь идет о Вандее, Ленин делает вывод: «Как бы то ни было, исторически доказанной является, после опыта 26—31 августа, крайняя слабость массового казаческого движения в пользу буржуазной контрреволюции».

Казаки не поддержали монархию во время ее краха. Не пошли за Корниловым на революционный Петроград и в августе 1917 года.

«Казачьи части, — пишет М. Алпатов, — оказались на стороне Октябрьской социалистической революции, и эта истина общепризнана в нашей науке».

Наконец, фронтовые казачьи части помогали установить Советскую власть на Дону.

Так обстояло дело на начальном этапе гражданской войны. Вандея, которую готовили активные деятели контрреволюции, не состоялась. Это исторический факт. Он свидетельствует о широком влиянии идей революции на народные массы.

Вполне объяснимо, почему термин «Вандея» не встречается потом у Ленина даже в 1919 году. Он и по отношению к казакам употребляет иную терминологию — революция и контрреволюция.

Лишь для белогвардейцев и троцкистов Донское казачество всегда было однородной средой.

Следующий этап гражданской войны, который начинается в 1918 году с появлением на Дону интервентов, поднявших донскую верхушку на борьбу с Советской властью, оказался много сложнее. Но и в этом случае, определяя отношение к Донской белой армии, отношение к казакам, которых освобождала наша армия, отношение к казакам в момент разгрома белого движения и победы революции, Ленин выдвигал тактические лозунги: беспощадное подавление контрреволюции и борьба за трудовые массы, попавшие под влияние атаманов и генералов, особенно за середняка, который в большей мере испытывал колебания.

Ленинская установка на классовое расслоение сил врага оказалась единственно правильной: «И если что решило исход борьбы с Колчаком и Деникиным в нашу пользу, несмотря на то, что Колчака и Деникина поддерживали великие державы, так это то, что в конце концов и крестьяне, и трудовое казачество, которые долгое время оставались потусторонниками, теперь перешли на сторону рабочих и крестьян, и только это в последнем счете решило войну и дало нам победу», — говорил В. И. Ленин.

М. Алпатов правильно пишет о пагубных действиях троцкистов, которые извращали советскую линию на Дону и в других местах, пускали в ход насилие и репрессии, восстанавливали население против нашего строя как раз в тот момент, когда казаки шли на соглашение и помогали покончить с Красновым.

Вполне определенны выводы историка и о том, что нельзя трудовым казакам приписывать реставраторские монархические помыслы, а это нередко встречается и теперь. Эти мысли автора очень важны для правильного понимания «Тихого Дона».

Когда-то шолоховед Лежнев ставил довольно странный вопрос: он пытался выяснить, чтó в Григории Мелехове остается главным для нас — локальное, донское, конкретное или то общее, чтó можно определить как образ внутренней дисгармонии, мятущегося состояния, разлада с самим собой?

Ответ самого исследователя показателен для определенного этапа нашего литературоведения: конкретное в большом образном обобщении якобы «исчезает». Дон Кихот, Лир, Гамлет, Ромео и Джульетта, Фальстаф, Тартюф, Фауст — все эти короли, принцы, придворные забулдыги, дворяне, мещане, мужи науки — интересны для нас отвлеченными чертами, конкретное стало условным, нарицательным, злободневное забыто. Это относится и к Мелехову — образу огромной обобщающей силы, в котором историческое якобы не имеет большого значения.

Эти две стороны — общее и конкретное — в некоторых исследованиях часто расходятся и теперь. Содержание коллизий, которые разыгрываются в душе Григория Мелехова, как бы оказывается без анализа причин. Отсюда — формулы, формулы;

«крах мелкобуржуазного индивидуализма», воплощенного в образе Григория, «сложная борьба двух начал в сознании», «агонизирующая неустойчивость психологии мелкого собственника», «неизбежность гибели собственнического уклада жизни, а для того, чтоб это произошло скорее, необходима против Мелехова (даже «мелеховщины») «новая историческая Немезида».

Заманчивый прием уложить мысль в краткую броскую формулу и приводил к звонким наименованиям: «отщепенец», «автономист», «националист», «мародер», «бандит», «абстрактный гуманист», «малоопытный разум», «весь облит народной кровью». Таков якобы Мелехов.

В 1958 году Лежнев вынужден был признать несостоятельность метода, игнорирующего историю, который завел его в тупик. Он говорил: «Установился обычай писать (и я в том погрешен) об историческом романе «Тихий Дон», не сличая его с той действительностью, которая непосредственным образом отражена в художественном произведении. С другой стороны, вовсе не принималась в расчет та более близкая к нам действительность, с вышки которой писатель глядел на прошлую жизнь и события, описанные в романе».

Мне лично куда ближе та основа анализа, методология, на которую опирается М. Алпатов. Не могу не привести хотя и длинную, но необходимую цитату из его книжки: «Но так ли уж важно сверять художественное произведение с эпохой, с ее подлинными делами и чаяниями? В этом таится большая опасность — художественное изображение, слившееся с подлинной действительностью, перестает быть искусством; художник, сбившийся на подражание действительности, перестает быть художником. Натурализм — смерть художественного постижения жизни. Это хрестоматийная истина. Но никак нельзя забывать и о другой стороне дела. Если верно, что, растворяясь в подлинной действительности, художественное изображение перестает быть искусством, то верно и обратное: оторвавшись от действительности, оно также перестает быть искусством реализма. Тут начинается область всякого рода субъективистских спекуляций, возникает опасность разрыва с марксистским взглядом на мир».

Уважать историю — вот на чем настаивает М. Алпатов, говоря о труде писателя и литературоведа, требует вдумчиво прочитать роман, который вобрал в себя огромный материал истории. Эта история там активно присутствует, господствует, формирует мысль. От истории не уйти...

Только отсутствием знания реального материала можно объяснить тот довольно странный для литературоведческой науки случай, когда «концепция» отщепенства Григория Мелехова прошла через самые толстые книги о Шолохове как абсолютная истина, держалась десятилетиями, навязывалась читателям, школьникам, студентам, хотя они никак не могли согласовать беспощадную кличку с тем строем чувств, мыслей, которые вызывает Григорий своими мучительными поисками истины, справедливости, путей слияния с массами, очень заметной чуткостью к новому, трагической потрясенностью души после роковых ошибок.

У серьезных исследователей нет сомнений в том, что «концепция» отщепенства обедняет, опустошает художественную мысль Шолохова, мировое значение эпопеи, что она абсолютно неверна.

М. Б. Храпченко пишет о главном герое «Тихого Дона»: «При рассмотрении этого и других художественных обобщений Шолохова, на мой взгляд, временами совершенно недостаточно учитывается то воздействие революционных событий на человека, которое выразительно показано в «Тихом Доне», воздействие неоднородное, но весьма значительное, огромное». Именно с этим моментом, по мнению ученого, «связано мировое значение исканий, душевных коллизий судьбы этого героя».

Ту же мысль отстаивает А. И. Метченко, который указывает на «всевозрастающий интерес к эпопее Шолохова, в частности к образу Григория Мелехова, в прогрессивных кругах Запада и Востока». О теории «отщепенства» ученый говорит: «В странное положение ставили поборники этой концепции и самого автора эпопеи. Многие пишущие о Шолохове, не говоря уже о читателях, считают Григория Мелехова при всех его провинностях одним из наиболее любимых героев автора, и сам автор не скрывает своих симпатий к нему. Таланту Шолохова присуща высокая трагедийность, но совершенно чуждо любование распадом личности, пристрастие к ущербным характерам. Последнее свойственно декадансу, но Шолохов и декаданс — непримиримые враги».

Итог длительным спорам подвел сам М. А. Шолохов, когда кратко, но точно определил: «Время показало, что приснопамятная... «концепция» отщепенства Григория Мелехова потерпела крах».

Или взять теорию «всемирно-исторического заблуждения». Откуда она появилась? Авторы заимствовали ее из трудов К. Маркса и Ф. Энгельса, однако не вдумываясь в смысл их высказываний. У Маркса говорится: «Трагической была история старого порядка, пока он был существующей испокон веку властью мира, свобода же, напротив, была идеей, осенившей отдельных лиц, — другими словами, пока старый порядок сам верил, и должен был верить, в свою правомерность. Покуда ancien regime*, как существующий миропорядок, боролся с миром, еще только нарождающимся, на стороне этого ancien regime стояло не личное, а всемирно-историческое заблуждение. Потому его гибель и была трагической».

Ф. Энгельс, делая свои замечания по поводу трагедии Зиккингена, изображенной в драме Ф. Лассаля, сказал о неразрешимой для героя — исторического лица — коллизии «между исторически необходимым требованием и практической невозможностью его осуществления».

Эти блестящие положения неприменимы, однако, к судьбе Мелехова. Если его рассматривать как представителя «старого порядка», который борется с миром «нарождающимся», — то куда же это приведет? Чем он будет отличаться от Краснова?

Если установить некое подобие этого образа Францу Зиккингену, о котором К. Маркс сказал: «Он погиб потому, что восстал против существующего как рыцарь и как представитель гибнущего класса», то прояснит ли эта аналогия хоть что-нибудь в Мелехове? Ничего и нисколько... Не было за Мелеховым «гибнущего класса», не было у него трагического противоречия «между исторически необходимым требованием и практической невозможностью его осуществления» — то есть невозможностью в силу со-

* Старый порядок (франц.)

циального положения, как было у Зиккингена, ставшего между дворянством и крестьянством.

Значит, и эта «концепция» шолоховедов оказалась книжной, абстрактной, антиисторической. Ссылка на авторитеты предупреждает об одном: поосторожнее с аналогиями... Их, кстати, было немало. Мелехов и Самгин, Мелехов и Мечик из «Разгрома» А. Фадеева, наконец — Мелехов и Половцев из «Поднятой целины»... Ищут и ищут некоторые исследователи черты сходства, родственной близости, всякие «переклички», примеряют негативы, чтоб совпадал по всем статьям.

И разве не прав М. Алпатов, когда говорит: «Писать о «Тихом Доне», о Григории Мелехове, не уважая историю, никак нельзя. Правы те критики, которые разобрались, «что к чему» было в подлинной жизни»?

В связи с образом Мелехова историк вспоминает вполне конкретную личность — полковника Седова, который перешел на сторону революции, водил казаков против офицеров, хотя находился с ними до этого в одном кругу. Вот он попадает в руки белых. Идет допрос:

«— Как же вы, полковник царской армии, потомственный дворянин, оказались вместе с быдлом? Как вы могли покрыть себя таким бесчестием?

— Да, я полковник и дворянин. Но мой путь всегда был с теми, кто не раз спасал меня от смерти на поле боя, — с моим народом!»

Историк называет тех, «чьи думы и чувства вошли в образ Григория Мелехова», кто известен и по роману, и по историческим документам — Яков Лагутин, Семен Кудинов, Александр Решетов.

«Григорий Мелехов, — утверждает М. Алпатов, — художественный образ гигантских обобщений. В нем воплотились черты человека России, пережившей тогда невиданные до тех пор «перегрузки» истории... Никакие абстракции, никакие обобщения, никакая стилизация не вытравят из людской памяти того, как трудно, невыразимо трудно было огромным массам людей в огромной России, когда шли они из одной эпохи в другую...»

Когда читаешь отдельных критиков и литературоведов, много и хорошо рассуждающих о методологии, радуешься ясности мысли. Но как только переходишь к конкретному анализу, порой лишь руками разведешь.

Не раз говорилось о том, что истолкователь книги должен знать материал жизни не меньше самого писателя. Тогда его суждения будут компетентны, убедительны, полезны.

Касаясь сложнейшего произведения всемирной литературы, М. Алпатов назвал проблему, которая только теперь разрешается в полной мере. «Раскрыть связи и переходы между локально-историческим и всемирно-историческим, между национальным и общечеловеческим — значит показать диалектическое единство и противоположность единичного, частного, с одной стороны, и общего — с другой. Обе эти стороны должны обязательно наличествовать, ибо без этого нет ни единства, ни противоположности; устраните вы одну из сторон — у вас рушится сама проблема».

У М. Алпатова проблема находит действительно научное прояснение, развитие, подсказывает исследовательские приемы, кото-

рые представляются оправданными, надежными, отлично вооружающими знанием истории и литературы, народа и его быта.

Исторической основе великого романа М. Шолохова посвящена книга другого историка, С. Н. Семанова, «Тихий Дон» — литература и история».

Во вступлении к своей работе автор говорит: «Тихий Дон» есть «Илиада» нашего века. О классических строках поэмы Гомера сказано, что отсюда и муж, и юноша, и старец возьмут столько, сколько могут унести... То же скажут и наши потомки о шолоховском романе применительно к русской революционной эпохе».

Много открыл для себя историк, выявляя реальность романа. Анализ текста, проведенный с редкой тщательностью, подводит автора к выводу о необычайном историзме и полноте жизненной реальности, даже в сравнении с произведениями мировой классики. «Тихий Дон» — явление уникальное. Историзм становится одним из мощных средств художественной убедительности.

С. Семанов отмечает прежде всего широчайший охват событий за десятилетие. Точное их расположение во времени и пространстве. Все реальное приведено в соответствие с календарем, топографией, хроникой. Однако это не буквалистская протокольность, не сухая очерковость, а та особенность внушительного повествования, которую знал А. С. Пушкин: «Смеем уверить, что в нашем романе время расчислено по календарю». Речь шла о «Евгении Онегине».

Хронология, географическая и этнографическая точность по сути дела — допустим такое выражение — «дисциплинируют» художественную фантазию, то есть не дают ей витать над явлениями, вводят в подлинный мир. Внимание к факту — особенность литературы о гражданской войне. Достаточно вспомнить партизанские повести Вс. Иванова, «Железный поток» А. Серафимовича, произведения Фурманова, Фадеева. Шолохов, воспроизводя жизнь во всей точности, богатстве примет, пошел дальше других.

Взять хотя бы хронологию. С. Семанов находит «некую общую временну́ю сетку, которая покрывает всю ткань романа», но, как и у Пушкина, Льва Толстого, Горького, соразмерность течения существует в виде подводного потока, она не всегда внешне заметна, хотя постоянно ощутима.

Исследователь делит хронологию на внешнюю, помеченную писателем в соответствии с общепринятым календарем, и внутреннюю, когда представление о времени дается по бытовым приметам, церковным праздникам, народному календарю: «За два дня до Троицы хуторские делили луг», «С Троицы начался луговой покос», «За житом — не успели еще свозить на гумна — подошла пшеница... Косить выехали в пятницу».

Для Шолохова как историка и как человека, выросшего в условиях земледельческого труда и быта, где все определяет ритм сельскохозяйственных работ (отсюда — особый отсчет дней, особая магия примет), для него важна хронология и та, и другая. Он точен в ней всегда. И даже то, что идет от художественного воображения, одинаково подчинено общему правилу датировки, вписывается в реальный план. Поэтому совсем нетрудно восстановить по тексту, в каком году родились герои, когда произошли с ними важнейшие события их жизни. Григорию, устанавливает историк, было к началу действия двадцать лет, родился он в 1892 году. Аксинья — его ровесница. Погибла она, когда ей было

всего двадцать девять лет. Степан Астахов и Петр Мелехов вошли в роман двадцатишестилетними.

День свадьбы Григория и Натальи приходится на 26 августа 1913 года, Наташе было восемнадцать лет.

Мы узнаем: Пантелей Прокофьевич прожил не более шестидесяти, а Ильинична около пятидесяти пяти. Илья Бунчук погиб в двадцать девять лет.

Этих точных обозначений в тексте нет, но в нем есть материал для безошибочного определения неупоминаемых дат и сроков. Любопытны эти поиски, которыми занялся С. Семанов. Великолепно вооруженный знанием гражданской войны, изучив «Тихий Дон» до малейших деталей, он свободно идет по лабиринтам текста, находит нужные опорные приметы, чтоб произвести подсчеты. Так и кажется, что путешественник переходит реку по плывущим льдинам, опираясь то на одну, то на другую, благо, что они не подводят его, и каждый раз добирается до берега. Но это не игра в арифметику, а «документальные» сведения о человеческих судьбах, определяемых и цифровыми данными, и поэтому материал волнует, вызывает размышления.

То же и с топографией. И здесь — поэзия точных описаний. Мы читаем у Шолохова: «Знакомые с детства разворачивались в дороге слободы и хутора: Кашары, Поповка, Каменка, Нижне-Яблоновский, Грачев, Ясеновка». «На другой день перед вечером подъехали к хутору. Григорий с бугра кинул взгляд на Дон: вон Бабьи ендовы, опушенные собольим мехом камыша; вон сухой тополь...» Читаем — и чувствуем, как дороги писателю подлинные приметы края, тракты и шляхи, селения, реки, озера, курганы, места, обжитые родным народом.

Много дают и фактологические наблюдения. Историк сверяет фактуру романа с военно-исторической литературой, устанавливает достоверность и в общем масштабе, и в частностях, безупречную выверенность деталей и реалий.

Шолохов абсолютно точен в описании стратегической канвы Галицийской битвы: линия фронта, номера и наименования армий, корпусов, дивизий, соединений, имена реальных командиров и военачальников. Точна картина Брусиловского прорыва. «Хотя я и не был на войне, — говорил сам Шолохов, — ни один военный специалист не нашел у меня каких-либо ошибок или неточностей».

Читатель может использовать роман как исторический источник, чтобы безошибочно судить об июльских днях 1917 года в Петрограде, съезде фронтовиков в Каменской, трагической гибели отряда Подтелкова и т. д. «И нигде, быть может, в «Тихом Доне» не бросается так в глаза своеобычный талант писателя-летописца, как в главах, посвященных событиям вешенского мятежа», — пишет С. Н. Семанов.

Когда-то некоторые рапповские критики обрушивались на третью книгу «Тихого Дона», как, впрочем, и на первые две. Им казалось, что третья книга, где начинается описание мятежа, — вымысел. А теперь, как показывает С. Н. Семанов, специалисты полностью подтверждают шолоховские выводы. А вывод такой: пресловутая политика «расказачивания», придуманная троцкистскими «леваками», «сыграла прямо-таки провокационную роль в обострении гражданской войны на юге России. Ответственность за эти действия целиком падает на Троцкого и троцкистов, кото-

рые ставили знак равенства между кулаком и крестьянином-тружеником и настаивали на проведении самых суровых карательных мер, отнюдь не вызывавшихся политической или военной необходимостью».

К сожалению, эта историческая ситуация, немаловажная для судеб героев «Тихого Дона», некоторым шолоховедам до сих пор неведома, отсюда многие сбивчивые суждения, еще бытующие в некоторых книгах.

«Фактическая точность исторических описаний, — делает вывод историк — отнюдь не является в шолоховской эпопее самоцелью. Она служит лишь средством для создания художественного обобщенного образа революционной эпохи. Картины народной жизни, изображенные в романе, приобретают благодаря этому необычайно убедительную достоверность. Так создается образец высшего реалистического мастерства, свойственный лишь классическим вершинам мировой литературы».

С. Семанов переходит от страницы к странице, от образа к образу, демонстрирует яркий материал истории, так органически вошедший в повествование, в биографии всех героев — реальных и вымышленных, — и тогда, даже после того как ты не раз прикасался к магическим шолоховским строкам, — в них открывается незамеченное. Еще раз убеждаешься в том, на какой крепкой основе возникло это творение художественного гения, какой труд стоит за малейшим фактом: все надо было отыскать в архивах или уловить из воспоминаний бывалых людей, проверить подлинность, оценить художественную весомость характерного штриха.

Разумеется, это не исключает художественного вымысла, без которого, как известно, невозможно образное отражение, тем более — отражение масштабное. Но вымысел у Шолохова почти неуловим, его вроде бы нет, весь текст несомненен, предельно насыщен правдой фактов — больших и малых, обязательных и вроде бы необязательных. Это отличает «Тихий Дон», скажем, от прозы А. Веселого, И. Бабеля, Б. Лавренева, где возникают порой резкие смещения реального плана.

Исследователь больше занимается фактографической подосновой и не всегда входит в литературоведческие споры. Но материал подводил его вплотную к точному определению того, кто был, например, ближе к истине, Котляров или Штокман, когда они вели разговор об отношении к казакам накануне мятежа.

С. Семанов очень ясно комментирует некоторые жестокие поступки Кошевого, ставит их, как историк, в связь с конкретной обстановкой.

Кошевой по натуре честен, добр и прост. Как и всех, ожесточила его война, гибель близких. Тот, кто внимательно прочитает Шолохова, согласится с выводом историка: «Однако за Мишкиной жестокостью стоит иная темная сила, название которой — троцкизм. Именно Троцкий и его единомышленники, презиравшие русский народ и другие народы России, сознательно вызывали провокационными своими действиями ненужное, нецелесообразное и вредное для дела Октября кровопролитие, сеяли в народной массе взаимное озлобление и ненависть».

Троцкисты с их выкриками «прижечь каленым железом», равно относившимися и к главарям мятежа, и к тем, кто примкнул случайно или по принуждению, сбивали с толку людей вроде Коше-

вого и, с другой стороны, сплачивали повстанцев, отрезая им путь к примирению.

Труд С. Семанова, как он сам говорит об этом, пока не завершен, это первый этап работы, где определились направленность, метод, цель. Но уже теперь мы можем сказать: исследование оригинальное и необходимое. Направление он взял правильное, метод давно нашел свое оправдание (вспомним хотя бы комментарий Н. Л. Бродского к «Евгению Онегину» как образец такого рода исследования). Освещен «масштаб событий и место героев в общем движении истории».

Интерес к истории, вызванный могучим эпосом М. Шолохова, закономерен. Так было всегда, как только появлялся художник, открывающий во всей живости и наглядности, как бы заново, минувшую эпоху. Достаточно вспомнить Пушкина, Гоголя, Мериме, Стендаля, Л. Толстого.

Этот интерес к реальности, отраженной в «Тихом Доне», весьма плодотворен. Он ведет к наиболее точным литературоведческим выводам. Показательно, что ни один из исследователей, прикоснувшихся к историческим материалам, не принял те негативные характеристики, которыми награждаются в ряде статей и книг герои эпопеи, согретые шолоховским чувством сопереживания. Ни один историк не подводит Григория Мелехова под презренную и жалкую породу «отщепенцев», «индивидуалистов», «перебежчиков», «ландскнехтов буржуазии».

Исторический комментарий вовсе не означает, что «Тихий Дон» нуждается в каких-то дополнениях. Нисколько. Все, что нужно было сказать художнику, он сказал. Историки лишь акцентируют внимание на ряде существенных моментов, открывают, как экскурсоводы, все «четыре зала» — четыре тома — для тщательного осмотра, и мы убеждаемся еще раз, как огромно их содержание, как поразительно много мыслей и чувств содержится в эпопее великого художника.

А. М. Горький говорил, что есть «художники исключительной духовной силы, сосредоточенности и почти чудесного духовного зрения; они обладают способностью видеть никому не видимое, понимать никем не понятое, открывать в обычном — необыкновенное. На их книгах лежит отпечаток внушительной и чарующей интимности, и всегда чувствуешь, что они говорят не «людям вообще», а какому-то одному, излюбленному человеку, он один только и важен для них, он только и может понять всю глубину и значительность их «священного писания».

Вероятно, человек этот физически не существует, художники выдумывают его. Воображаемый собеседник исключительно понятлив и умен, ибо он — ты сам...

Это — монументальные люди искусства, творцы «вечных книг», деспоты в области литературы, создатели школ, течений, стилей».

Таким предстал перед всем миром и автор шедевра века Михаил Александрович Шолохов.

●



НАШЕ ОБОЗРЕНИЕ

ПРОСТ, КАК ПРАВДА

Память человечества бережно и любовно хранит имена великих борцов за народное счастье.

Имя Владимира Ильича Ленина занимает среди них особое место.

Незабываемый образ Ленина волнует сердца всех советских людей и всего прогрессивного человечества.

Документы, составившие сборник «Ленин — товарищ, человек», ярко освещают черты В. И. Ленина. Письма и записки, резолюции на телеграммах, пометки на правительственных распоряжениях несут на себе печать ленинской теплоты, чуткости, заботливости, безграничной любви к людям, целеустремленности и твердости в проведении партийной линии.

Здесь же собраны воспоминания тех, кому посчастливилось жить и работать рядом с Лениным.

Бесчисленные встречи и беседы Владимира Ильича с рабочими, крестьянами, красноармейцами говорят о той простой, но очень важной черте в облике В. И. Ленина, о которой хорошо сказала Н. К. Крупская: «Сердце его билось горячей любовью ко всем трудящимся».

Владимир Ильич Ленин глубоко понимал массы, всегда был с рабочими. После революции Ленин немного прожил; но посмотрите, как тесно он был связан с массами. У него постоянно бывали ходоки от крестьян, делегаты рабочих, солдат. Он едет в деревню Кашино на открытие электростанции за десятки километров. Он едет к людям, к крестьянам, хочет их видеть, слышать сам, а не по докладам судить об их настроениях. Он выступает на многих митингах. Ленин хотел бывать на заводах, хотел

Ленин — товарищ, человек. Изд. 4-е, дополненное. М., Политиздат, 1977.

не только говорить, но видеть, как живут люди, хотел знать и чувствовать дух рабочих, для которых он жил и трудился.

Работница «Трехгорной мануфактуры» К. С. Овсянникова пишет: «Владимир Ильич несколько раз выступал на собраниях «Трехгорки». Все собирались на «Большой кухне», той самой, где в 1905 году помещался штаб боевых дружин. Ильич приезжал неожиданно, без предупреждений, но не проходило и нескольких минут, как яблоку негде упасть.

Ильич всегда беседовал с рабочими. Сколько задушевности, теплоты было в его словах. Все было в нем наше, родное, рабочее. И слова его, и простота обхождения, и манера держаться. Очень внимателен был Ильич к людям. Он, учивший правде весь мир, сам учился у масс».

Со времени переезда Советского правительства из Петрограда в Москву Владимир Ильич выступал перед самой разнообразной аудиторией 250 раз.

Крестьяне деревни Моденево Верейского уезда (теперь Можайский район) послали Ленину записку следующего содержания: «Вождю всемирной революции товарищу Ленину от имени граждан деревни Моденево, просим Вас к нам на беседу».

15 декабря 1920 года Владимир Ильич провел беседу с крестьянами деревни Моденево в доме Кочетовой. Владимир Ильич рассказал крестьянам о внутреннем и международном положении Советской Республики.

Крестьянин И. А. Чекунов встречался с Владимиром Ильичем трижды — в 1918, 1920 и 1921 годах. Каждый раз он приезжал в Москву ходоком от крестьян села Фоминки. Иван Афанасьевич был человеком начитанным, справедливым, и к нему чаще всего обращались за советом односельчане. Вот и снарядили они Ивана Афанасьевича в Москву с наказом «посоветоваться с самим Лениным». Последняя беседа Ильича с Чекуновым состоялась 28 февраля 1921 года. Два часа расспрашивал Ленин ходока о делах крестьянских, о том, что волнует их, как намерены они дальше вести хозяйство.

Даже будучи в отпуске и на охоте, Владимир Ильич никогда не переставал быть с народом. Личный шофер Ленина С. К. Гиль вспоминает, что однажды на охоте вблизи станции Фирсановки В. И. Ленин встретил старика, который собирал грибы. Владимир Ильич заинтересовался им, присел на траву рядом со стариком и завел беседу. Долго и тепло шел разговор вождя с незнакомым крестьянином. Старик был очарован своим собеседником. В конце беседы крестьянин сказал: «Говорят, Ленин какой-то у нас управляет. Вот, если бы он, тот Ленин, такой, как ты, был — как хорошо было бы!»

Максим Горький писал, что в Ленине был как бы некий магнетизм, который притягивал к нему сердца и симпатии людей. Характеризуя главное в образе Ленина, Горький заметил: «Простота. Прост, как правда».

Скромность и простота в быту характеризуют Владимира Ильича начиная с юношеских лет до последних дней его жизни.

Когда Владимиру Ильичу понадобились как-то некоторые книги из Румянцевской библиотеки (ныне Библиотека имени Ленина), он попросил

прислать их, оговорив, что если эти книги по правилам на дом не выдаются, то пусть их дадут ему только на один вечер, на одну ночь, когда библиотека закрыта, а утром он вернет взятые книги.

Редактор газеты «Беднота» В. А. Карпинский обратился к В. И. Ленину с просьбой написать статью к четырехлетнему юбилею газеты. Ильич прислал статью в газету. К статье была приписка на отдельном листке бумаги. В ней Владимир Ильич, упомянув о своей болезни, прибавлял: «Поэтому написать что-либо путное к четырехлетнему юбилею «Бедноты» не могу. Если подойдет прилагаемое — поместите; не подойдет, — бросьте в корзину, это будет лучше. Ваш Ленин».

В. А. Карпинский пишет, что такого скромного автора он никогда не встречал в своей редакторской практике.

Те, кому посчастливилось работать или встречаться с Лениным, отмечают прежде всего простоту, доступность, величайшую скромность Владимира Ильича.

В воспоминаниях о Ленине Бонч-Бруевич приводит случай, когда подавальщица из буфета, неся два стакана чаю Владимиру Ильичу, сказала, что хлеба нет и что чай она несет без сахара и без хлеба. В это время Бонч-Бруевича ожидал солдат, прибывший с фронта, он слышал разговор буфетчицы. Солдат быстро скинул с плеча походный мешок, вынул из-за голенища складной нож, отрезал половину круглой буханки солдатского хлеба и положил на поднос драгоценный товарищеский подарок Владимиру Ильичу. Через минуту дверь из кабинета отворилась, и Владимир Ильич громко сказал: «Спасибо Вам, товарищ! Такого вкусного солдатского хлеба я никогда еще не ел!»

Управление делами Совнаркома как-то распределяло среди правительственных служащих вагон картошки. Составили список и дали просмотреть Ильичу. В списке стояло: В. И. Ленин — 2 пуда; Н. К. Крупская — 1 пуд и дальше все остальные — по пуду. Ленин переправил против своей фамилии цифру «2» на «1», а Надежду Константиновну вычеркнул, сказав: «Крупская в Совнаркоме не работает».

Нельзя без волнения читать документы, в которых Владимир Ильич решительно отказывается от всяких продовольственных посылок в свой адрес, требуя их передачи детям.

Однажды Сергей Миронович Киров с нарочным из Астрахани прислал Ленину секретный пакет и посылку с маслом и икрой. Ильич вызвал секретаря Фотиеву и попросил посылку с икрой и маслом передать в детский сад. Нарочный был в недоумении и даже растерялся. «Эта посылка прислана лично Вам, Владимир Ильич, — сказал он, — а вы передаете ее в детский сад. Как же я сообщу об этом Сергею Мироновичу?» — «Если вы, товарищ, сомневаетесь в передаче этой посылки мне, — ответил Ленин, — то я могу вам дать расписку в том, что я посылку с маслом и икрой получил».

Скромность Ленина была не напускная, не искусственная, а природная, идущая от сердца.

Как-то раз Владимир Ильич поднимался в Кремле по узкой боковой лестнице на третий этаж. Вдруг из-за поворота лестницы показалась

уборщица Бурилина, спускавшаяся вниз с ведром и тазом в руках. Увидя Ленина, она растерялась и собралась было подняться обратно. Владимир Ильич остановил ее и сказал:

— Нет, нет, товарищ, зачем же вам, да еще с тяжестью подниматься опять наверх? Вот, смотрите, я прижмусь тут в уголке, а вы пройдете!

В Кремле Владимир Ильич с семьей жил в самой обыкновенной квартире из небольших комнат, с простой мебелью. В Горках Ленин категорически отказался жить во дворце. Он взял для себя комнату во флигеле. Ильич, между прочим, сказал, что на отопление флигеля пойдет гораздо меньше дров.

Чужды были Ильичу всякие почетные чины и звания, если он не мог их оправдать практической работой. Получив извещение о том, что его избрали членом Социалистической академии, 27 февраля 1922 года он ответил: «Очень благодарю. К сожалению, по болезни никак не могу выполнить хотя бы в ничтожной мере долг члена Социалистической академии. Фиктивным быть не хочу. Прошу поэтому вычеркнуть из списков или не заносить в списки членов».

Каждый, кто посетил Мавзолей В. И. Ленина, обратил внимание, что на груди Ленина — орден Красного Знамени. Никакими наградами В. И. Ленин при жизни не был отмечен. В дни великого траура, когда страна прощалась с вождем, Н. И. Подвойский — участник штурма Зимнего дворца, снял свой орден и положил его на грудь Ленина.

Ленин был добрым и сердечным, простым, как правда, но он не был по-обывательски добродушным. Он был суровым даже к близким друзьям, когда речь шла о защите интересов партии, рабочего класса и даже отдельного человека.

Непреклонным и суровым становился Владимир Ильич, когда дело касалось борьбы со спекуляцией, взяточничеством, хулиганством, воровством, стяжательством, бюрократизмом.

Два крестьянина обратились в Управление делами Совнаркома с жалобами на незаконную мобилизацию у них лошадей. Управление делами направило жалобы в Особую комиссию, ведавшую этими делами. Сотрудник комиссии Романов, получив эти жалобы, написал на конверте: «Работы и так много, пустяками заниматься некогда». Об этом факте бездушной, бюрократической отписки доложили Ленину.

Владимир Ильич отдал такое распоряжение: «Аванесову в госконтроль для ареста ответившего так чиновника».

Очень характерна ленинская телеграмма Курской чрезвычайной комиссии: «Немедленно арестовать Когана, члена Курского Центрозакупа, за то, что он не помог 120 голодающим рабочим Москвы и отпустил их с пустыми руками. Опубликовать в газетах и листками, дабы все работники центрозакупов и продорганов знали, что за формальное и бюрократическое отношение к делу, за неуменье помочь голодающим рабочим репрессия будет суровая, вплоть до расстрела».

Телеграммой Мамадышскому уисполкому 18 февраля 1919 года Ленин сделал следующий запрос: «Верно ли, что сормовский коммунист Рукавишников месяц сидит в тюрьме и дело не разбирается? Если верно, надо винов-

ного предать суду за волокиту. Телеграфируйте ответ».

Владимир Ильич был непримирим к врагам партии и Советского государства, саботажникам и мародерам, тунеядцам и бюрократам, нарушителям государственной и трудовой дисциплины.

Когда Московский горком партии и Президиум Моссовета высказались против привлечения к судебной ответственности коммунистов, виновных в служебных преступлениях, Владимир Ильич Ленин пишет членам Политбюро записку, в которой настаивает: «...коммунистов суды обязаны карать *строже*, чем некоммунистов». В заключение Ильич добавил в виде постскриптума: «Верх позора и безобразия: партия у власти защищает «своих» мерзавцев!!»

Жизненный подвиг В. И. Ленина беспримерен. Его идеи, его дело наложили неизгладимый отпечаток на судьбы нынешних и будущих поколений всего мира. Многогранна и необъятна деятельность В. И. Ленина. Он был человеком того нового мира, созиданию которого посвятил всю свою замечательную жизнь.

Ленинские идеи и принципы, которыми наша партия руководствуется во всей своей деятельности, составляют основу коммунистического воспитания.

Дело Ленина торжествует в победах коммунистического строительства в нашей стране, в борьбе народов за мир, демократию и социализм.

Имя Ленина, вождя и учителя мирового пролетариата, живет и будет вечно жить в сердцах и умах всего прогрессивного человечества.

А. РАЙТЕР

КУДА ИДЕТ СТАНИЦА

Никогда еще советская деревня не знала столь интенсивного периода своего развития, как в наши дни. Научно-техническая революция, властно вторгнувшись в ее жизнь, не только преобразила внешний облик села и условия труда его жителей, но и вызвала решительные изменения во всем укладе крестьянского быта, в духовном мире и психологии. Этот процесс глубинных преобразований стал и одной из узловых тем нашей литературы.

Мы все чаще и чаще встречаемся в деревенской прозе с произведениями, авторы которых, обладая чувством подлинного историзма, видят в преобразованиях современного села закономерный, исторически обусловленный процесс. К таким произведениям относится и роман Семена Бабаевского «Станица».

Спокойно и плавно текут воды кубанских плесов, и внешне кажется, что так же спокойно и безмятежно течет жизнь в станице Холмогорской. Но станицу Холмогорскую не обошло да и не могло обойти стороной все то новое, что несет в деревню научно-технический прогресс. Это

С. Бабаевский. Станица. Роман. М., «Советский писатель», 1977.

новое дает свою подсветку знакомым явлениям жизни и ярче проявляет человеческие характеры с позиций требований времени, ставит перед станицей и ее жителями более сложные проблемы — и сегодняшние, и в определенной мере — завтрашние, которые писатель тоже отчетливо видит.

Не раз потомственный хлебороб, герой войны и герой труда Василий Беглов задает себе вопрос: «Куда идет станица?» Вопрос этот становится своеобразным стержнем, внутренней формулой всего произведения. Он затрагивает всех героев романа, поскольку изменения, происходящие вокруг, непосредственно касаются каждого из них.

Есть у Беглова основания для раздумий. В корне меняется облик станицы, отражая закономерность наших дней — превращение сельскохозяйственного труда в разновидность индустриального. Холмогорская превращается в небольшой агрогород со всеми благами городской культуры.

Почему же перемены вызывают тревогу у человека труда, давно убедившегося в правильности того пути, по которому идет советская деревня, и отдавшего всю свою жизнь укреплению колхозного строя? Его раздумья — это раздумья патриота, наделенного чувством хозяина земли и причастного ко всему, что на ней делается. И тревожит его не то, что в облике бывшей линейной станицы с каждым годом остается все меньше и меньше исконно казачьего, крестьянского. Тревожит его прежде всего отношение молодого поколения к земле.

У него, Героя Социалистического Труда, почетного колхозника, пять детей, и никто из них не пошел по пути прославленного отца, не избрал профессию хлебороба. Наделенный недюжинным умом, он понимает, что его семья не исключение. Кто же будет умножать животворную силу земли и кормить страну?

В своих раздумьях Беглов явно недооценивает качественную сторону происходящих событий. Лишь постепенно убеждается он в том, что современному селу нужны не только механизаторы, оно немыслимо без работников самых разных профессий. Как известно, не хлебом единым жив человек, а современный сельский труженик — тем более. И отток рабочей силы в город постоянен.

Но все это не снимает с повестки дня саму проблему, которая тревожит одного из главных героев романа. Это проблема нашего движения вперед, нашего роста, ее выдвинула сама жизнь. Молодежь, естественно, ищет романтику и порою считает, что найти ее можно только в дальних краях, в каких-то необычных профессиях. А она — рядом, в родном селе. Она — в любой сельской профессии, если человек относится со всей душой к своему делу. Пример тому — сам Василий Беглов и тысячи таких же сельских тружеников, известных всей стране.

Однако не удалось Беглову убедить старшеклассников станичной школы в том, что труд земледельца — самый почетный и необходимый. Воспитание любви к земле, к хлеборобскому делу нельзя вести эпизодично. Это процесс кропотливый и сложный. И весь роман своим главным идейно-художественным зарядом нацелен в будущее, обращен к молодежи, которой предстоит

в скором времени заменить у руля трактора и штурвала комбайна ветеранов.

Проблема трудовой и нравственной преемственности поколений, с которой мы уже встречались в других произведениях С. Бабаевского, представлена в романе особенно выпукло. Сын Василия Беглова Дмитрий, талантливый архитектор, поражен бациллой обостренного рационализма. Рассуждения его вроде бы и трудно опровергнуть. Да, станица должна давать государству максимум животноводческой продукции, и на данном этапе это может обеспечить животноводческий комплекс. Но надо ли возводить его именно на холмах? Ведь это место святое: оно связано с героическими подвигами кочубеевцев, здесь, защищая Холмогорскую, был тяжело ранен Василий Беглов, здесь сложили головы отец нынешнего председателя колхоза Михаила Барсукова и многие другие станичники. Дмитрию Беглову следовало бы здесь памятник ставить тем, кто отдал жизни за счастье нынешнего и грядущих поколений. Но для него, оторвавшегося от родной станицы, холмы — всего лишь «пустырь», «бросовая земля».

Тема борьбы Василия Беглова за холмы, которая проходит через все произведение, приобретает острое публицистическое звучание. Это борьба за истинные нравственные ценности народа, которыми нельзя поступаться ради решения сиюминутных задач.

Совсем иначе вспоминает прошлое брат Беглова Евдоким. Он отлично понимает, что «...гибнут не холмы, а рушится, встает на дыбки вся... допрежняя житуха». Евдоким окостенел в своем неприятии ликующей вокруг новой жизни, не смог побороть в своей душе частника, и этот «идол», как он сам его называет, исковеркал всю его жизнь.

В затасканном казачьем башлыке и папахе, надрывно вздыхающий об утерянных конях и собственном клочке земли, Евдоким жалок и смешон на фоне сегодняшнего дня, и его нелепая смерть под колесами техники, наступающей на холмы, — закономерный эпилог всей его нескладной жизни. Это гибель остатков старого под непреодолимым напором научно-технического прогресса.

Но если социальная опасность Евдокима ничтожна, то этого нельзя сказать о другом носителе частнособственнической психологии — о Никите Андронове. Это представитель молодого поколения, родившегося и выросшего при Советской власти. Но он, по образному определению Василия Беглова, — сорняк, перевертень. Когда-то передовой механизатор, носивший в кармане партийный билет, отгородился от людей высоким забором и всю свою энергию и помыслы направил на стяжательство.

Никита терпит полнейший крах. Это и должно было случиться в условиях нашей действительности, где подрезаны сами корни стяжательства и эгоизма. Дорогой ценой расплачивается он за свою прежнюю жизнь: умирает жена, которую он превратил в безгласную работницу в своем разбухшем хозяйстве, становятся чужими дети, немой укор видит он во взглядах всех станичников, сознание своей ненужности людям и самому себе делают его жизнь невыносимой. Моральное выздоровление приходит к нему

через глубокие душевные муки.

Нельзя не видеть общего между Никитой Андроновым и Евдокимом Бегловым при всем различии их характеров и судеб. И хотя Никита не хочет этого признать, считая для себя унизительным сходство с Евдокимом, корень у них обоих общий.

Рядом с частником Никитой, который использует любую возможность для того, чтобы набить свой дом «добром», контрастно выглядит фигура Максима Беглова, представляющего «сельский рабочий класс». Ни сам Максим, ни его жена не связаны непосредственно с работой на земле и не обременяют себя домашним хозяйством, выращивая лишь цветы и виноград. Порою автор любуется Максимом, но полностью его взгляды на жизнь современного «сельского рабочего класса» не разделяет. Максим — это, по мнению писателя, человек будущего, а пока он просто забежал вперед, не понимая, что на современном этапе развития деревни «сельскому рабочему классу» нельзя отрываться от кормилицы-земли...

Роман «Станица» густо населен живыми людьми, которые, кажется, пришли на его страницы прямо из широких кубанских полей, с живой крестьянской речью, так хорошо знакомой писателю, со своими радостями и огорчениями, с надеждами и помыслами. Детали деревенской жизни, которые приводит автор, правдивы и точны. Лирические, взволнованные страницы произведения посвящены описанию раздольных кубанских степей, и веет с этих страниц истинной поэзией и романтикой труда. Произведение С. Бабаевского отличает точность авторского художественного отбора в исследовании фактов и явлений, четкость партийной позиции писателя, его стремление проникнуть в сущность человеческих характеров

И. АЛЕКСАНДРОВ

ВСЕ, ЧЕМ ЖИВУ И ДЫШУ...

Есть у каждого подлинного поэта-лирика стихотворения, рожденные словно крылатым взлетом чувства. Таким представляется мне стихотворение Анатолия Жигулина «Ветер стучал ладонями...». В нем слово одухотворено трепетным сердечным порывом, не рассуждающим, стремительным и властным — порывом любви и нежности.

Ветер стучал ладонями
В спину товарняка...
Все, что тогда не поняли,
Видно издалека.

Снова душе заказана
Тропка за Калитвой
Город вдали под вязами —
Тихий и синий — твой...

Белым песочком выстланы
Заросли ивняка.
Стихла далеким выстрелом
Вспугнутая река.

Анатолий Жигулин. Горящая береста. Стихи. М., «Советская Россия», 1977.

Только за низким тальничком
В черные невода:
«Валечка!.. Валя!.. Валечка!..» —
Всплескивает вода.

Предельно простые, бесхитростные строки. Не наделены они никакими значительными приметами. Нет ни слова о любви. Но — летящие и легкие, как бы произносимые полушепотом — строки эти, полные грусти, сожаления о прошедшей юной поре жизни, трудной, но такой душевно богатой, светлой, говорят нам внятнее конкретных примет и определений о внутреннем состоянии лирического героя, об одушевляющем его чувстве юношеской влюбленности...

Стихов о любви у Жигулина не так уж много. Но лучшие из них захватывают силой сердечного откровения. Внешне простые их слова оказываются способными доносить до нас тончайшие оттенки и глубинные движения души. Еще одно — из недавних — стихотворение «Белый мост у Беговой...»

Герой его прощается после свидания с любимой. А ее, в доме неподалеку, ждет муж, семья. Чуждые ей люди, но расстаться, порвать с которыми она уже не в силах... И вот встреча подходит к концу, жадно вслушивается он в каждый звук ее голоса: «И дрожащий голос твой, что уже пора прощаться. Что бежать тебе пора — мимо лип и гастронома. Что опасная игра — расставанья возле дома». Информационные вроде бы слова о доме, что «вдали такой огромный», сталкиваясь в созвучии с другими — «о любви твоей бездомной», оказываются нагруженными мощным образно-эмоциональным зарядом. «Дом огромный» и «любовь бездомная» — в этом контрасте трагически-конфликтный смысл стихотворения.

Бескорыстием любви выдохнута эта полумольба-полумолитва: «Помоги ты мне, господь, не солгать и не обидеть! Укротить и дух и плоть, но во сне хотя бы видеть — этот снег на Беговой, это белое круженье. И любви, еще живой, продолженье, продолженье...»

Вот где высшее духовное проявление любви — ее катарсис, возвышение и очищение ею: человек не о наслаждении, не о себе думает — он весь поглощен счастьем видеть и слышать любимую, он устремлен к одному: сохранить чистоту помыслов и дел, быть на высоте этого большого, захватившего душу чувства.

Движения душевные, раздумья о жизни оказываются в центре и стихотворений, связанных с природой. Чисто пейзажных стихов у Жигулина почти нет. Природу поэт любит, тонко чувствует и зорко видит. Потому и «совпадает» она у него с биеньем сердца, с размышлениями о жизни и переживаниями, подчас обобщенно-философского охвата.

Чаще всего поэт выделяет в природе чистые однотонные цвета и нередко контрастно сталкивает их («Голубеет осеннее поле, и чернеет ветла за рекой», «Там черные тени в дубраве и белый над берегом сад»; «Ветер у старой церквушки снежную стелет постель. Кровью рябин по опушке след не моих ли потерь?»).

Одно из характерных для Жигулина стихотворений — «Опять в полях светло и пусто...». Начинаясь с пейзажных, точно увиденных деталей («Опять в полях светло

и пусто. Солома, ветер и песок. И в синем холоде капуста, и в желтом пламени лесок. И позабытый, изначальный, в тиши прозрачной и сырой — далекий ровный и печальный стук молотилки за горой...»), оно завершается думой об изначальных вопросах бытия.

И на какой другой излуке,
В каком непройденном пути
Смогу забыть о той разлуке,
Что неизбежна впереди?

И на каком другом рассвете,
В какой неведомой глуши
Так ощущается бессмертье
Колосьев, ветра и души?

Неиссякаемая любовь к жизни звучит в этих раздумьях. В другом, не менее типичном для поэта стихотворении «Деревья с черными грачами...», с тоской и жгучей болью восклицает он: «О, если б все-таки оставить в грядущей неизбежной мгле пускай не жизнь, хотя бы память об этой жизни на земле!»

Порой природа помогает лирическому герою Жигулина уйти от раздражающей житейской тщеты, забыть хоть на время «что кому наобещал», фальшь «друзей... хороших, что злословят обо мне». Погружение в ее живую прелесть словно освежает душу, внутренне просветляет: «Ничего она не стоит, вся на свете суета, рядом с мудрой красотою придорожного куста».

Истина не новая. Да ведь поэт не претендует на открытие новых истин. Он несет нам боли и радости сердца, правду переживания, чья подлинность заставляет нас, сопереживая, как бы заново открыть вместе с ним всю силу реального смысла старой истины, всю ее правду...

Подчас и природа бессильна перед болью душевной, которой охвачен герой поэта. И хотя «так чудесно, так спокойно в согретом солнечном лесу!» — ничто не в силах «переупрямить ту боль, что сердце... свела». Память твердит ему о «днях ошибок и потерь, о том, что сделано когда-то не так, как сделал бы теперь». Боль от собственных промахов и неверных поступков, муки совести — жгучие, но и целебные, очищающие, — говорят о том, что человек не утратил главного качества: высокой нравственной основы жизни.

Сам Жигулин прекрасно сказал: «Хорошо то пишется, что выжжется болью раскаленной добела».

Поэт точно определил и силу и слабость своих стихов. Те из них, правда очень редкие, что не «выжжены болью», при всей внешней безукоризненности теряют внутреннюю силу. Нет в них покоряющей власти душевного обаяния.

Еще в начале поэтического пути он писал:

Родина!
Простая и великая,
В давнем детстве, от беды
хранящ,
Древними архангельскими
ликами
Строго ты смотрела на меня...

И в одном из недавних стихотворений поэт, вспоминая годы войны, снова обратился к образам русской старины — «Упал снаряд, и совершилось чудо: на опаленной порохом стене возник в дыму неведомо откуда святой Георгий на лихом коне». От простого объяснения факта: упала штукатурка, открылась фреска — автор ведет нас к осознанию глубинных истоков, духовных связей, традиций.

В сиянии возвышенного лика
Простер десницу грозную свою.

И острая карающа пика
Пронзила ядовитую змею.

А пулемет стучал в старинном храме.
И ладил ленту молодой солдат.
И трепетало яростное пламя,
И отступал проклятый супостат.

Редкое для сдержанного Жигулина по пафосу и страсти стихотворение! И, согласитесь, очень естественное, органичное — страсть и пафос предопределены всем смыслом и строем стиха: речь идет о корневых началах русского национального воинского духа, издревле устремленного на защиту родной земли, о связах его с героическими делами нашего времени.

Пламя Великой Отечественной опалило детство поэта. Подростком он увидел родную воронежскую землю в огне боев и дыму пожарищ — «Все видится дымное небо, изломанный танками сад, горбушка казенного хлеба, что дал незнакомый солдат...». В памяти его остались страшные картины разрушений: «Тополей обгорелые руки. Обнаженный пролет этажа». Помнится и такое, отчего беспечная ребячья легкость представлений о жизни, как о веселой и чуточку таинственной игре, вдруг, под напором нежданных потрясений исчезает, и вчерашний ребенок оказывается — до срока — повзрослевшим... Не об этом ли строки, рассказывающие о том, как мальчишка помогает уцелевшим после бомбежки взрослым хоронить погибших — «...на пригорке покатом зачернели глазницы могил. И босою ногой на лопату нажимать просто не было сил...».

Тяжелые годы послевоенной разрухи и восстановления, работа в суровых условиях Заполярья и Сибири — все это запечатлелось в весомых строках лирики Жигулина. Оттого, видимо, и весомых, что поэтический талант в них подкреплен лично пережитым, фактами биографии, судьбой.

И даже в этих, порой трагичнейших обстоятельствах, героями стихов Жигулина движет добро, жажда справедливости, вера в человека. И вот, хотя «каждый сытым давненько не был», но подобранного в лесу бурундука «до самых теплых деньков мы кормили... хлебом из казенных своих пайков». Здесь, в краю вьюг и морозов, особенно чтут в человеке душевное тепло, верность в дружбе, но и люто ненавидят подлость, бездушие.

Оптимистична муза поэта. Оптимизм ее рожден в тяжелых испытаниях, в труде. Оптимизм волевого характера, пронесшего «душу живу» сквозь все тяготы и потрясения. И не оттого ли таким закономерным для Жигулина представляется образ спиленной зимой березы, весной упорно распускающей почки, — символ стойкости и жизнелюбия. Близко этому образу и осмысление собственной судьбы: «Россия... Выжженная болью в моей простреленной груди. Твоих плетней сырые колья весной пытаются цвести. И я такой же — гнутый, битый, прошедший много горьких вех, твоей изрубленной ракиты упрямо выживший побег».

Кто не писал о любви к Отчизне, к родной земле? Однако лишь редкие авторы могут сказать об этом с покоряющей искренностью и силой.

Анатолий Жигулин — один из тех, чьим словам веришь. Потому что за словом у него — подлинность судьбы,

правда переживания и чувства.

Родина! Белый туман
В черном логу под горою...
Не позабуду, не скрою
Боли, тревоги и ран.

Но в невеселом пути,
В жизни, несущейся скоро,
Ты мне — любовь и опора,
Вечная радость в груди.

Жигулинское слово несет в себе заряд большого и оттого сдержанного, стеснительного в проявлениях чувства. Но оттого же, видимо, и воздействует его слово на нас, читателей, с удесятеренной силой — ибо в нем есть драгоценная подлинность, которую никакими декларациями не заменишь.

Есть в поэтическом слове Анатолия Жигулина обеспеченность «золотым запасом» правды, не нуждающейся в ухищрениях и доказательствах, придуманных рассудком. Правды жизни, судьбы, сердечного порыва.

Владислав ЗАЛЕЩУК

КОНТУРЫ НОВОГО ЖАНРА

Создавая свои полотна, художник предполагает, что другим понятен язык линий и красок. И все же как благодарны бываем мы, знакомясь с вдохновенным, глубоким и тонким «прочтением» картины. Такую радость нередко дарит нам искусствоведческая работа или рассказ экскурсовода. Насколько плодотворным может быть истолкование картины посредством выразительных возможностей кино, убедительно показал короткометражный фильм «Была бы жива Россия», созданный на киностудии «Леннаучфильм» (режиссер В. Никифорова, композитор В. Соколов).

О масштабности и глубине творчества Сурикова говорят в фильме сами его произведения. Авторы отказались от какого-либо информационного материала и текста, «голоса за кадром». Функцию истолкователя берет на себя сам способ показа картины и музыка. Драматургия суриковских полотен получила музыкальное выражение в естественной и тем не менее неожиданной форме оратории. Мы слышим хор стрельцов, возгласы боярыни Морозовой, чтение псалма Александрой Меншиковой...

Воздействие живописи, кино и музыки организует впечатление зрителей в соответствии с замыслом режиссера. Шесть главнейших исторических полотен Сурикова предстают с экрана объединенными общей идеей: народ жив уважением к своему прошлому, к его духовным ценностям.

По серьезности тона, вдохновенности интонации, цельности формы это фильм-исповедь. Даже простые слова посвящения воспринимаются скорее как признание в преданной любви к художнику, чем как информация о его содержании.

Даже не зная подробностей

исторического события, можно понять существо представленной в картине «Утро стрелецкой казни» драмы благодаря гармоничному зрительному и музыкальному воздействию.

Фрагменты картины с главными ее персонажами — свезенными на казнь стрельцами — появляются в сопровождении скорбного женского хора. Выражение кровного, личного горя в музыке и твердость убеждения, стоящая выше личной трагедии, — в сосредоточенных, гневных лицах осужденных — рельефнее подчеркивают драматизм. В неразделимости понятий долга, совести, веры — источник силы духа стрельцов. Столь же непреклонная сила в суровых, сочувствующих лицах преображенцев, они тоже сыны отечества, но их правда — иная. Появление на экране фрагментов с Петром, его окружением предваряет жесткая, с барабанным ритмом оркестровая тема. Жестокая и неотвратимая сила «темы Петра» подавляет мелодию стрелецкого хора.

Но и в последние минуты жизни стрельцы непреклонны. Известно свидетельство очевидца, слышавшего, как один из стрельцов сказал близко подошедшему к плахе Петру: «Отодвинься-ка, царь, тут мое место». В горе они не обращаются к близким. Проникновенно раскрыта в фильме идея Сурикова о глубинах народной души, в которой личное слито с понятием «отечество».

Удаляется звучание хора и оркестра, гаснет, исчезая, как будто отделяемое стеной времени. На экране заснеженная равнина, заледенелое оконце. Девичий голос нараспев читает псалом. Живой голос органично вплетается в художественную ткань произведения, не нарушая тишины камерной по сюжету картины «Меншиков в Березове». Еще не видя всей картины, через этот голос, воспроизводящий подлинную манеру произношения церковного текста в XVIII веке, мы проникаемся атмосферой времени, так полнокровно выраженной всем строем суриковского произведения. Но вот постепенно экран заполняет фигура Меншикова, и чтение покаянного псалма заглушается молниеносно нарастающей жесткой, напряженной оркестровой «темой Петра». Музыкальный образ составляет параллель живописному: сосредоточенное выражение лица Меншикова говорит о том, что тяжелые мысли заглушают для него голос дочери. Как напоминание о былом, камера высвечивает фрагмент картины «Утро стрелецкой казни»: грозную голову Петра, фигуру склонившегося перед ним Меншикова. Трагический конец петровского фаворита настойчиво связывается с событиями предыдущей картины, конечно, не только ради наглядного пояснения перипетий его жизненного пути. Мы убеждаемся в том, что изображенный здесь Меншиков при всей глубине его переживаний — не частное лицо. Личная драма переплетается с трагедией народной. Изгнан петровский соратник, и делу Петра временно положен предел. Это — история. И главное в ней для Сурикова — народ, его судьба.

Размышления Сурикова о нравственных качествах и жизнеспособности народа отражены во всех его картинах. Но «Боярыня Морозова» занимает особое место.

Композитор всякий раз на-

ходит своеобразное музыкальное построение, отвечающее особенностям образной структуры картины. Музыкальная интерпретация «Боярыни Морозовой» построена по принципу театрализации. Группы персонажей наделены музыкальными характеристиками, как ролями в спектакле. Фрагменты картины воспринимаются как своеобразные мизансцены. Последовательность их подчинена замыслу режиссера. Не Морозову мы видим вначале, а двух веселящихся купцов из левой части картины. В тихое, скорбное пение, выражающее обреченность души стойкой и любящей, безысходность горя, резко вторгается смех толпы. Только после короткого мужского хора, призывающего народ прислушаться, камера приближается к лицу Морозовой. И голос ее, и интонации полностью сливаются с суриковским образом. «Устрашись, душе, суда страшного!» — заклинает она толпу. Спектр человеческих чувств, представленных в толпе, характеризует не только реакцию людей на самоотверженность, способность отдать жизнь за убеждение, но и раскрывает для нас, людей XX века, склонных видеть в Морозовой лишь жертву фанатической веры, многогранность ее личности.

Промежуток, отделяющий «Ермака» от «Морозовой», был для Сурикова периодом преодоления личной трагедии и возвращения к творчеству. Как бы возвещая о новом этапе творческого пути художника, на экране автопортрет 1913 года. Он появляется в тишине, акцентирующей его выразительность.

В плеске волн спокойного, но мощного течения реки рождается песня «Из-за синих гор да бежит река». Вместе с песней приближается берег, высокий, обрывистый. Запечатленные места в точности воспроизводят суровый пейзаж картины, причем погода и освещение повторяют даже ее колорит. Поэтому, когда камера переводит «взгляд» с натуры на полотно, безотчетно проникаешься чувством какой-то кровной причастности к изображенному.

При непосредственном общении с картиной ее приходится рассматривать на большом расстоянии, иначе общее растворится в частностях. Кино делает доступными детали. Крупный план и динамизм показа фрагментов акцентируют выразительность образов. В музыке хор и оркестр помогают воспринять изображение как схватку двух стихий. Мы видим такие разные лица, за каждым стоит человек с его характером, судьбой, и судьбы эти волнуют так сильно еще и потому, что в сознании уже живет мысль о вечности земли, о связи поколений.

Переход от картины к картине каждый раз подготавливается своеобразным введением. Это или поясняющие историческое событие памятники (Соловецкий монастырь перед «Боярыней Морозовой»), или просто пейзажи, выражающие дух времени. Ассоциативная емкость их так велика, что даже не узнанные в своем точном смысле, они достигают цели — вызывают обостренное чувство родины. Музыка же, выражая атмосферу ожидаемой картины, служит тем звеном, которое осуществляет в сознании зрителей связь времен.

Особенностью перехода от

«Ермака» к «Суворову» является сжатость музыкальной «интродукции». Солирующие флейта и барабан резко переносят нас в эпоху Павла I. Простую и наивную мелодию любимой суворовской песни «Я на камушке сижу» композитор наделяет лукавой лихостью. Суворовский «запев» подхватывает хор солдат, построенный на той же ритмической основе, как бы организующей его музыкальную ткань. В контексте режиссерского замысла сила духа, отвага суворовских солдат воспринимается как преемственная черта русских воинов, как свойство национального характера.

Последнее эпическое полотно «Степан Разин» логично замыкает концепцию авторов. Широкая и грустная мелодия мужского хора с усилием (как усилия гребцов) поднимается вверх и постепенно набирает полнозвучие. Персонажи картины воспринимаются как единое целое. Эпический пейзаж и звучание хора помогают увидеть в этих удалых, бесшабашных и задумчиво-серьезных лицах единый, обобщенный образ народа, а в Разине — яркое воплощение многогранной и глубокой народной души.

Мир суриковских идей и образов, возвращая нас к прошлому родины, пробуждает чувство национального самосознания и гордости. Выразительные средства кино и музыки не только усиливают контакт зрителей с картинами. В фильме постоянно пульсирует живая и страстная мысль об ответственности за духовные ценности, завещанные нам. К сокровищнице духовных ценностей принадлежат и произведения В. И. Сурикова, первого и единственного среди русских художников совместившего в исторической картине масштабность эпопеи с психологической глубиной характеров. Чувство благодарности к художнику, творчество которого помогает нам глубже понять самих себя, соединяется с чувством признательности авторам фильма, вдохнувшим новую жизнь в произведения Сурикова, приблизившим их к нашему времени.

В плодотворном синтезе живописи, кино и музыки в талантливом фильме «Была бы жива Россия» вырисовываются контуры нового художественного жанра.

И. ВЕРХОВСКАЯ

С ВЕРОЙ В ЧЕЛОВЕКА

Перед нами первая книга молодого автора; Курчаткин включил в нее пять рассказов и две повести, которые объединены общностью темы: во всех вещах звучит проповедь глубоко нравственного отношения к делу, к самой жизни, непримиримость ко всякого рода мещанству.

Герои Курчаткина — наши

А. Н. Курчаткин. Семь дней недели. Рассказы и повести. М., «Современник», 1977.

современники, рабочие, инженеры, журналисты, обыкновенные люди, попавшие в поле зрения автора в тот момент, когда они пристально вглядываются в свое прошлое, переосмысливают его, а иной раз и стоят перед судом собственной совести. Автора интересует переломный момент в самосознании героев, момент «созревания души» человека.

Главный критерий автора в определении духовной ценности — это отношение к труду. Чем больше человек заинтересован в общем деле, чем острее чувствует свою ответственность за результаты своего труда, тем больше в его труде творчества, тем богаче, одухотвореннее становится его жизнь.

Недаром первым в книге стоит рассказ «По собственному желанию...». Рабочий фрезеровщик Дерюнов решает непростой для себя вопрос: уходить в новый цех или нет. Вопрос непростой, ибо касается не только его, а всей семьи (с увольнением теряется очередь на квартиру). А новый цех манит незнакомым оборудованием, необычными деталями. «Мы ж на работе-то своей треть жизни проводим. Думаешь, квартира плохая — жить нельзя, а работать тебе — в цех как на тракторе тащишь себя, жить можно? Сама подумай: не за одни деньги мы работаем. Хлебом душу-то не накормишь ведь...» — так мысленно он уговаривает жену.

В рассказе «На шестом этаже крупнопанельного дома» и в повести «Семейная жизнь» ситуации схожи. И в том, и в другом случае семья была на грани краха, распада, но в результате тяжелых потрясений, в первом случае — болезни дочери, во втором случае — смерти отца, главные герои этих произведений переосмысливают свое поведение, начинают отличать истинность и ложность в отношениях между людьми.

В рассказе «Тоска» автор показывает нам человека, разорвавшего все общественные связи, кроме тех, которые необходимы для поддержания чисто биологического существования, бездуховного, бессмысленного.

Пафнутьев, правда, хотел бы вырваться из этой бездуховности: «Надо поехать куда-нибудь, — с неожиданно легким сердцем... подумал он. — Завербоваться, да на Север, начальником мехколонны какой-нибудь, одни мужики, мороз пятьдесят градусов, пурга, стихия, все графики к чертям — вкалывать по одиннадцать часов, чтобы в ушах звон стоял... В настоящую жизнь надо, туда, скорее...» Так, со слезами счастья на глазах, мечтает Пафнутьев о новой, непохожей на прежнюю, жизни, строит всю ночь планы на будущее. Но предутренняя прохлада остужает его пыл: «Ах ты, господи! — несколько огорченно воскликнул Пафнутьев, жалея, что столько времени проходил без смысла по комнате, когда мог бы лежать в теплой постели и спать».

В повести «Семь дней недели» автор рисует характер другого плана. На первый взгляд Гольцев — энергичный, талантливый и удачливый журналист. И лишь постепенно раскрывается он нам как плохой сын, никудышный друг, ненадежный муж и при всей своей оборотистости бездушный работник.

Жаль героя, растерявшего все лучшее в себе, лишенного прочного нравственного стержня.

Заголовок повести недаром вынесен в название сборника, потому что в этом произведении наиболее полно отражена ведущая мысль всей книги: жизнь современного общества нуждается во всестороннем исследовании. Не всегда у Курчаткина плохому человеку противопоставляется хороший, отрицательному — положительное, и добро не всегда побеждает, как и в самой жизни, зло порой остается еще не наказанным. Но здесь важна именно позиция автора, привлекающего внимание к отрицательному, беспощадно обличающего его.

А. Курчаткин верит в красоту человека, в высокий смысл его назначения на земле; он смело подходит к решению трудных и крупных вопросов духовной жизни современника. Психологизм, верная передача внутреннего мира героев во всем его динамическом многообразии отличают книгу, которая заставляет задуматься о границах добра и зла, о смысле собственной жизни.

Е. ПАНФИЛОВА

Художественный редактор В. Недогонов

Технический редактор Н. Строева

Сдано в набор 5/IX 1978 г. Подп. к печ. 19/X 1978 г. А06223.
Формат 84×108 1/32. Печ. л. 10 (усл. 16,8). Уч.-изд. л. 21,4.
Тираж 600 000 экз. Заказ 1596. Цена 60 коп.
Типография ордена Трудового Красного Знамени
изд-ва ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия».
103030, Москва, К-30, Сущевская, 21.

Олимпийский огонь



«ПРИРОДА И ФАНТАЗИЯ — так называлась выставка работ, выполненных художниками-любителями. Рассказ о ней читайте на стр. 188.

Данко



Композиция



«ХАЗАР-403» —

переносный транзисторный радиоприемник четвертого класса на трех транзисторах и одной интегральной схеме, обеспечивает уверенный прием радиопередач в диапазонах ДВ и СВ. От модели «Хазар-402» он отличается внешним оформлением, применением интегральной схемы, повышенной выходной мощностью. Предусмотрена возможность подключения внешней антенны.

Технические характеристики

Чувствительность с внутренней магнитной антенной в диапазонах:
ДВ — 2,5 мВ/м
СВ — 1,5 мВ/м
Полоса воспроизводимых звуковых частот: 315 — 3550 Гц
Выходная мощность: максимальная — 0,6 Вт
минимальная — 0,3 Вт
Напряжение питания — 9 В
Масса — 1,1 кг
Габаритные размеры — 255×186×77 мм
Розничная цена — 27 руб.

Футляр радиоприемника изготовлен из ударопрочного полистирола с применением отделки из декоративной пластмассы с металлизацией. Он выполнен с учетом современных эстетических требований.

ДКРО «РАДИОТЕХНИКА»

Цена 60 коп.

Индекс 70544